

УИЛЪЯМ ТЕККЕРЕЙ  
ЗАПИСКИ  
**БАРРИ**  
ЛИНДОНА,  
ЭСКВАЙРА



## Annotation

"Записки Барри Линдона, Эсквайра" - первый роман Уильяма Теккерея. В нем стремительно развивающийся, лаконичный, даже суховатый рассказ очевидца, где изображены события полувека, - рассказ, как две капли воды похожий на подлинные документы XVIII столетия.

---

- [Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим](#)

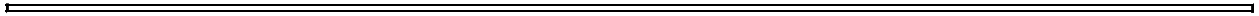
- [Глава I](#)
- 
- [Глава II,](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV,](#)
- [Глава V,](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI,](#)
- [Глава XII,](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII,](#)
- [Глава XIX](#)
- [Комментарии](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)



**Записки Барри Линдона, эсквайра,  
писанные им самим**

## Глава I

# Мое родословие и моя фамильная хроника. Я одурманен нежной страстью

Так уж повелось с адамовых времен, что, где бы какая ни приключилась напасть, корень зла всегда в женщине. С тех пор как существует наш род (а это и есть почитай что с адамовых веков, столь древен, и знатен, и славен дом Барри, как всякий знает), женщины оказывали на его судьбу поистине огромное влияние.

Мне думается, в Европе не сыскать дворянина, который не был бы наслышан о доме Барри из Барриога в Ирландском королевстве, а уж более прославленного имени не найти ни у Гвиллима, ни у д'Озье; и хотя как человек света я знаю цену притязаниям иных выскочек, чье родословье подошло бы лакею, начищающему мне сапоги, и первым готов посмеяться над самохвальством многих моих соотечественников, кои объявляют себя потомками ирландских королей и о вотчине, где впору прокормиться свинье, толкуют, словно это княжеское поместье, — а все же из уважения к истине долгом почитаю сказать, что род мой был самым знатным на всем острове, если не в целом мире, и что владения его, ныне столь ничтожные, ибо львиную долю их отторгли войны, предательство, мешкотность и расточительство предков, а также их приверженность старой вере и династии, — были некогда необозримы и охватывали многие графства во времена, когда Ирландия была еще благоденствующей страной. И я по праву увенчал бы свой фамильный герб ирландской короной, когда бы множество пустоголовых выскочек не унизили это высокое отличие, присвоив его себе.

Кабы не женщина, вполне возможно, я ныне бы сам носил эту корону. Вы, кажется, удивлены? А ведь что может быть проще! Найдись отважный военачальник, который возглавил бы рать моих соотечественников, вместо скулящих трусов, склонивших выю перед Ричардом II, ирландцы, пожалуй, были бы сейчас свободными людьми; найдись решительный полководец, который дал бы отпор кровавому насильнику Оливеру Кромвелю, мы бы навек избавились от ига англичан. Но ни один Барри не встретил захватчика на поле брани; напротив, мой предок Саймон де Барри передался первому из названных монархов и взял в жены дочь мюнстерского короля, сыновей которого он безжалостно зарубил в бою.

Во времена же Оливера звезда наша закатилась, и ни одному Барри не пришлось уже кликнуть клич против кровавого пивовара. Мы больше не были владетельными князьями, наш злосчастный род уже за век до того утратил фамильное достояние вследствие гнусной измены. Я доподлинно это знаю, так как не раз слышал от матушки, она даже увековечила это событие в шитой цветными шерстями родословной, коей украсила одну из стен нашей желтой Барривильской гостиной.

То самое ирландское поместье, где ныне хозяйничают англичане Линдоны, было некогда нашей родовой вотчиной. Рори Барри из Барриога владел им при Елизавете, а также доброй половиной Мюнстера в придачу. Род Барри и род О'Мэхони исстари враждовали, и вот случилось, что некий английский полковник проходил через владения Барри с вооруженным отрядом в тот самый день, когда О'Мэхони вторглись в наши земли и захватили богатую добычу, угнав наши отары и стада.

Сей молодой англичанин по имени Роджер Линдон, Линден, или Линдейн, был принят семейством Барри со всем радушием, а так как те как раз собирались вторгнуться в земли О'Мэхони, он охотно пришел им на помощь со своими копейщиками и выказал себя испытанным воякой, ибо О'Мэхони были разбиты на голову, тогда как Барри не только вернули свое достояние, но, по свидетельству старой хроники, захватили у неприятеля вдвое больше добра и скота.

Наступали холода, и гостеприимные хозяева уговорили молодого воина у них перезимовать, людей же его расквартировали по хижинам вместе со своими висельниками — по солдату на каждого холопа. Англичане, как им свойственно, по-свински обращались с ирландцами, вследствие чего драки и убийства не утихали, и местные жители поклялись разделаться с чужаками.

Барри-сын (от коего я веду свой род) не меньше ненавидел англичан, чем любой смерд в его поместье, и, когда на предложение обратиться восвосяи англичане ответили отказом, он сговорился с друзьями вырезать их всех до одного.

И надо же было заговорщикам посвятить в свои планы женщину, наследницу Родерика Барри! Она же, питая склонность к англичанину Линдону, выдала ему сию тайну; проклятый англичанин, упреждая заслуженное возмездие, сам напал на ирландцев, и в этой свалке был убит Фодриг Барри, мой предок, а также сотни его людей. Крест, воздвигнутый на перекрестке Баррикросс у Карригнадихиоула еще и ныне указывает, где происходила эта чудовищная бойня.

Линдон взял в жены дочь Родерика Барри и стал подбираться к его

поместью; и хотя живы были потомки Фодрига, чему я непреложное доказательство [\[1\]](#), английский суд присудил поместье англичанину, как это всегда бывает, когда тягаются англичане и ирландцы.

Итак, если б не женская слабость, я по праву рожденья владел бы поместьями, кои достались мне потом единственно в силу моих заслуг, как вы со временем услышите. Но вернемся к моей фамильной хронике.

Батюшка был хорошо известен в избранных кругах как Англии, так и Ирландии под прозванием Лихой Гарри Барри. Как и многие младшие отпрыски благородных семейств, он готовился к профессии адвоката и был приписан к конторе видного стряпчего на Сэквилл-стрит, в Дублине; при своем уме и способностях он, несомненно, преуспел бы на этом поприще, когда бы его светские таланты, пристрастие к мужским потехам, а также исключительные личные достоинства не предназначали ему более славное призвание. Еще будучи писцом у стряпчего, он содержал семь скаковых лошадей, и ни одна охота в поместьях Килдеров и Уиклоу не обходилась без него; это он на своем сером жеребце Эндимионе оспаривал первенство у капитана Пантера на знаменитых скачках, о коих любители вспоминают и по сей день; я заказал картину, увековечивающую это событие, и повесил ее над камином в столовой замка Линдон. Год спустя отец на том же Эндимионе скакал в присутствии его величества блаженной памяти Георга II и был удостоен кубка, а также августейшей похвалы.

Хоть батюшка и был вторым сыном, он без больших хлопот унаследовал фамильное достояние (ныне сведенное к жалкой ренте в четыреста фунтов); ибо старший сын деда Корнелий Барри (прозванный шевалье Борнь [\[2\]](#), вследствие полученного в Германии увечья) остался верен старой религии, которую от века исповедывало наше семейство, и с честью сражался не только под чужими знаменами, но и против его святейшего величества Георга II, участвуя в злополучном Шотландском восстании 45-го года. В дальнейшем мы не раз встретимся с помянутым шевалье.

Что до батюшкина обращения, то этим счастливым событием я обязан моей дорогой матушке мисс Белл Брейди, дочери Юлайсеса Брейди из замка Брейди в графстве Керри, эсквайра и мирового судьи. Мисс Белл слыла в Дублине первой красавицей и щеголихой. Увидев ее в собрании, батюшка влюбился без памяти, но она и слышать не хотела о католике да вдобавок — писце стряпчего; и вот, побуждаемый любовью, драгоценный батюшка, воспользовавшись законами доброго старого времени, присвоил себе права дяди Корнелия и отнял у него родовое имение. Впрочем, не



только ясные девичьи глаза совершили это чудо; несколько джентльменов из лучшего общества также способствовали сей благотворной перемене, — я не раз слышал, как матушка рассказывала, смеясь, о торжественном отречении в трактире за доброй выпивкой в присутствии сэра Дика Рингвуда, лорда Бэгуига, капитана Пантера и двух-трех юных городских повес. Лихой Гарри выиграл в тот вечер в фараон триста гиней, а наутро дал требуемые показания против брата; жаль только, что батюшкино обращение посеяло холодок между кровными родственниками и побудило дядюшку Корни примкнуть к бунтовщикам.

Как только досадное препятствие было устранено, милорд Бэгуиг предоставил батюшке свою яхту, стоявшую на приколе в Пиджен-хаусе; и красотка Белл Брейди, сдавшись на уговоры, бежала с ним в Англию, обманув надежды стариков родителей и многочисленных обожателей, — а были это все богач к богачу (как я тысячу раз слышал от самой матушки). Свадьбу сыграли в "Савое". Дед вскоре умер, и, войдя в права наследства, Гарри Барри, эсквайр, с честью поддерживал в Лондоне славу нашего имени. Это он продырявил шпагой знаменитого графа Тирселина на пустоши позади Монтегью-хауса. Он был завсегдаем "Уайта" и всех шоколадных лавок столицы; матушка, надо отдать ей должное, была ему достойной парой. И вот наконец, после славной Ньюмаркетской победы, одержанной на глазах у его святейшего величества, счастье улыбнулось Гарри Барри: милостивый монарх обещал о нем позаботиться. Но — увы! — его предупредил другой монарх, чья воля не терпит отлагательства: смерть настигла батюшку на Честерских скачках. Он умер в одночасье, оставив меня беспомощным сиротой. Мир праху его! Были у него свои недостатки: это батюшка промотал наше княжеское достояние, зато в храбрости он не уступал ни одному человеку, когда-либо поднимавшему заздравную чашу или объявлявшему число очков, бросая кости, и выезжал он цугом, как светский кавалер, ни в чем не отступающий от моды.

Не знаю, оплакал ли милостивый монарх внезапную кончину моего отца, по словам матушки, он все же уронил королевскую слезинку, — но нам это мало помогло. Единственное, что осталось в доме во утешение вдове и кредиторам, был кошель с девяноста гинейми, и матушка, разумеется, прибрала его к сторонке вместе с фамильным серебром, а также своим и мужниным гардеробом. Погрузив эти пожитки в наш рыдван, она отправилась в Холихед, где и села на судно, отплывающее в Ирландию. Останки батюшки сопровождали нас в самом пышном катафалке с самыми пышными перьями, какие можно было достать за деньги; ибо хоть супруги частенько ссорились, смерть батюшки все

искупила для этой женщины с пылким и благородным сердцем; она устроила ему невиданно пышные похороны и воздвигла над его прахом памятник (спустя много лет мне пришлось за него уплатить), на коем он был назван самым мудрым, беспорочным и любящим из супругов.

Отдавая усопшему сей печальный долг, вдова истратила чуть ли не последнюю гинею, но истратила бы несравненно больше, если б выполнила хотя бы треть обязательств, налагаемых подобной церемонией. Соседи по Барриогу усадьбе, где стоял наш старый дом, — хоть и гневались на отца за отступничество, не отвернулись от него в эту годину скорби, и плакальщики, посланные мистером Плюмажем, лондонским гробовщиком, сопровождать драгоценные останки, в сущности, оказались не у дел. Итак, памятник и склеп в церковном подвале — вот и все, что осталось от моих обширных владений; ибо мебель нашу до последнего стула отец продал некоему стряпчему Нотли, и в покосившемся мрачном доме ожидали нас голые стены <sup>[3]</sup>.

Столь пышные похороны завоевали матушке репутацию женщины независимой и светской, и когда она написала своему брату Майклу Брейди, сей достойный джентльмен, нимало не медля, прибыл издалека, чтобы обнять ее и пригласить от имени своей супруги в замок Брейди.

Еще в пору батюшкина жениховства дядюшка Мик и Барри повздорили, как это бывает между мужчинами, и дело у них дошло до крупной размолвки. Когда Барри увез его сестру, Брейди поклялся, что в жизни не простит беглецов; но, приехав в сорок шестом году в Лондон, он снова сдружился с Лихим Гарри, гостил у него в его нарядном доме на Кларджес-стрит, проиграл ему с десяток гиней, разбил при его содействии головы двум-трем ночным сторожам, — эти дорогие воспоминания заронили в сердце добряка особую нежность к Белл и ее сыну, и он принял нас с распростертыми объятиями. Миссис Барри поступила бы, возможно, разумнее, если б сразу открыла родным свои печальные обстоятельства; но, прибыв в раззолоченной коляске, украшенной огромными гербами, она произвела на невестку и на прочих жителей графства впечатление богатой и влиятельной особы.

Некоторое время миссис Барри, как и должно, заправляла всем в замке Брейди. Она командовала слугами и преподавала им не один урок лондонской опрятности, в чем они, кстати, весьма нуждались. Что же до "Редмонда-англичанина", как меня здесь называли, то со мной носились, точно с маленьким лордом; ко мне были приставлены лакей и нянька, и честный Мик исправно платил им жалованье, чем отнюдь не баловал собственных слуг, словом, из кожи лез, чтобы утешить сестру в ее горе. Матушка, со

своей стороны, обещала назначить любезному братцу изрядную сумму на свое и сына содержание, как только ее дела будут приведены в порядок. Она также обещала ему перевезти свои щегольские мебели с Кларджестрит в замок Брейди, чтобы украсить его покои, имевшие весьма заброшенный вид.

Вскоре, однако, выяснилось, что негодяй домохозяин захватил каждый стол и стул, на какие по праву рассчитывала вдова. Имение, которое мне предстояло унаследовать, прибрали к рукам алчные кредиторы, и единственным источником существования вдовы и ребенка была рента в пятьдесят фунтов, выплачиваемая нам лордом Бэгуигом, которого связывали с покойным какие-то дела по скаковым конюшням. Похвальные намерения матушки отблагодарить брата так и пропали втуне.

Едва лишь открылось, как бедна золовка, миссис Брейди из замка Брейди, не к чести ей будь сказано, перестала заискивать в маменьке, как неизменно делала до сей поры, прогнала со двора лакея и няньку и объявила миссис Барри, что та вольна последовать за ними, как только ей будет благоугодно. Миссис Мик была особа низкого рождения, вульгарного и своекорыстного направления мыслей; а посему вдова, по истечении двух-трех лет (за какое время ей удалось сберечь почти весь свой небольшой доход), согласилась выполнить желание миссис Брейди, и заодно поклялась, дав волю справедливому и лишь до поры до времени мудро сдерживаемому гневу, что не переступит порог замка Брейди, доколе жива его хозяйка.

Новое свое жилище матушка обставила с примерной бережливостью и отменным вкусом, и никогда она, невзирая на бедность, не теряла чувства собственного достоинства и уважения всей округи. Да и как можно было не уважать даму, жившую в Лондоне, вхожую в самое изысканное общество столицы и (как она торжественно уверяла) представленную ко двору! Эти преимущества давали ей право, коим, на мой взгляд, злоупотребляют иные уроженцы Ирландии, удостоенные этой чести, — право с презрением глядеть на тех, кто никогда не выезжал за пределы отчизны и не жывал в Англии. Так, стоило миссис Брейди показаться в новом туалете, как ее золовка неизменно говаривала: "Бедняжка! Какое у нее может быть представление о настоящем шике!" И хоть ей и льстило, что ее зовут Хорошенькой вдовушкой, еще больше гордилась она прозвищем Английской вдовы.

Миссис Брейди не оставалась у нее в долгу: она уверяла, будто покойный Барри был нищий и банкрот; высший свет он якобы видел из-за приставного стола в доме лорда Бэгуига, где его терпели на положении

блюдолиза и льстеца. Что же до миссис Барри, то тут госпожа замка Брейди вдавалась в намеки и вовсе оскорбительные. Но стоит ли ворошить старые наветы и повторять сплетни вековой давности? Названные лица жили и враждовали еще в царствование Георга II; добрые или злые, красивые или безобразные, богатые или бедные — все они ныне сравнялись; и разве воскресные газеты и судебная хроника не поставляют нам еженедельно куда более свежую и пряную пищу для пересудов?

Но что бы там ни было раньше, никто не станет отрицать, что, удалившись от света после смерти мужа, миссис Барри жила схимницей и даже тень подозрения не смела ее коснуться. Если Белл Брейди была когда-то самой отчаянной кокеткой во всем Уэксфордском графстве и если добрая половина местных кавалеров лежала у ее ног и каждого она умела обласкать и обнадежить, то Белл Барри вела себя со сдержанным достоинством, граничившим с чопорностью, была сурова и недоступна, что твоя квакерша. Немало женихов, плененных чарами девы, возобновили свои предложения вдове; но миссис Барри отвергла всех искателей, клялась, что намерена жить только ради сына и памяти почившего праведника.

— Нечего сказать, праведник! — негодовала злобная миссис Брейди. Такого греховодника, как Гарри Барри, свет не видывал. Да и кто же не знает, что они с Белл жили как кошка с собакой? Если она отказывается выходить замуж, то, уж верно, у нее другой на примете, она, поди, спит и видит, чтобы лорд Бэгуиг овдовел.

Ну, а хоть бы и так, что в том дурного, скажите! Неужто вдова Барри недостойна руки любого английского лорда? И разве не живет в семье предание, что женщине суждено восстановить богатство рода Барри? Если матушка вообразила себя этой женщиной, думается, у нее были на то веские основания; граф (мой крестный) всегда был необычайно к ней внимателен; я и не подозревал, как крепко засела у нее мысль способствовать таким образом моему преуспеянию в свете, пока в пятьдесят седьмом году его светлость не обвенчался с мисс Голдмор, дочерью богатейшего индийского набоба.

Тем временем мы по-прежнему обитали в Барривилле и при наших скудных средствах жили, можно сказать, на барственном ногу. Из тех пяти-шести семейств, что составляли общество Брейдитауна, никто не одевался приличнее бедной вдовы; и хоть матушка так и не сняла траур по своему почившему супругу, однако она тщательно следила, чтобы наряды как можно лучше оттеняли ее природную красоту, и по меньшей мере шесть часов в сутки отдавала на то, чтобы перекраивать, перешивать и отделявать

их по последней моде. Она носила самые широкие кринолины и самые изящные фалбалы и ежемесячно получала из Лондона донесения (за печатью лорда Бэгуига) о новинках столичной моды. Цвет лица у нее был столь свежий, что она не нуждалась в румянах, бывших тогда в большом потреблении. Пусть белое остается белым, а розовое — розовым, говорила она мадам Брейди, чей желтый цвет лица не поддавался никакой штукатурке, — судите же, читатель, как обе женщины ненавидели друг друга! Словом, она была так хороша, что дамы во всей округе считали ее образцом, а молодые люди приезжали за десять миль в церковь замка Брейди, чтобы только ее увидеть.

Но если (как и всякая женщина, известная мне лично или по книгам) матушка гордилась своей красотой, то, надо отдать ей должное, еще больше гордилась она сыном и тысячу раз повторяла мне, что другого такого красавчика поискать надо. Разумеется, это дело вкуса. Но когда человеку перевалило за шесть десятков, он может без пристрастия говорить о себе, четырнадцати лет, и смею вас уверить, матушка была недалеко от истины в своем лестном мнении. Добрая душа любила наряжать меня: в праздники и по воскресеньям я выходил в бархатном кафтанце, на боку меч с серебряным эфесом, золотая подвязка пониже колена — ни дать ни взять молодой лорд. Матушка расшила для меня несколько изящных камзолов, и не было у меня недостатка ни в кружевах для манжет, ни в свежих лентах для волос, и когда мы в воскресенье приходили в церковь, даже завидующая миссис Брейди признавала, что более красивой пары не найти во всем королевстве.

В этих случаях госпожа замка Брейди вознаграждала себя язвительными замечаниями по адресу некоего Тима, моего так называемого камердинера: он провожал нас с матушкой в церковь, неся пухлый молитвенник и трость, одетый в нарядную ливрею одного из наших выездных лакеев с Кларджес-стрит, в которой, по причине кривых ног, выглядел весьма неавантажно. Но при всей своей бедности мы слишком гордились дворянским званием, чтобы, испугавшись чьих-то колкостей, поступиться преимуществами своего ранга, и, шествуя по среднему проходу к нашей скамье, ступали чинно и величественно, точно сама супруга лорда-наместника с наследником. Усевшись на место, матушка отвечала на обычные вопросы священника так громко и с таким достоинством возглашала "аминь", что любо было слушать, а когда она пела псалмы сильным, звучным голосом, поставленным в Лондоне наимоднейшим учителем, то заглушала пение и тех немногих прихожан, которые решались к ней присоединиться. Да и вообще у матушки было до

пропасти разнообразных талантов — недаром она считала себя самой красивой, самой одаренной и добродетельной женщиной на свете. Часто-часто в разговоре со мной и соседями она толковала нам о своем смирении и благочестии — да так истово, что даже упрямый скептик вынужден был бы с ней согласиться.

Переехав из замка Брейди в местечко Брейдитауы, мы поселились в весьма неказистом домишке. Однако матушка, не смущаясь этим, окрестила его Барривилль, и мы не жалели усилий, чтобы придать ему блеску. Я уже упоминал о родословной, висевшей в гостиной, которую маменька нарекла желтым салоном, тогда как моя комната называлась розовой спальней, а матушкина — палевой (я словно вижу их перед собой!). К обеду Тим звонил в большой колокол, перед каждым из нас ставили по серебряному кубку, и матушка с правом говорила, что рядом с моим прибором стоит кларет, которым не побрезговал бы любой сквайр. Да так оно и было на самом деле, но только по младости лет мне не разрешалось его отведать: вино помаленьку старилось в графинчике и со временем достигло преклонных лет.

Дядюшка Брейди самолично убедился в этом, когда как-то (невзирая на семейную ссору) явился к нам в Барривилль к обеду и неосмотрительно приложился к графину. Надо было видеть, как он плевался и какие корчил гримасы! А ведь этому честному джентльмену было решительно все равно, что пить и в какой компании. Он ни с кем не гнушался выпить до положения риз, будь то пастор или поп, — последнее, к крайнему негодованию матушки: как истая синяя нассауитка, она презирала приверженцев старой веры и считала невместным находиться под одной крышей с темным папистом. Что до сквайра, то

он не знал таких предубеждений; это был самый покладистый, самый добродушный и ленивый человек, когда-либо живший на свете; спасаясь от своей миссис Брейди, он немало часов проводил у одинокой вдовы. Ко мне он, по его словам, привязался как к собственным сыновьям, и маменька, крепившаяся несколько лет, не устояла и разрешила мне воротиться в замок, хотя сама осталась безоговорочно верна клятве, данной в пику невестке.

В первый же день моего возвращения в замок Брейди и начались, собственно, мои невзгоды. Мастер Мик, мой кузен, девятнадцатилетний верзила (ненавидевший меня всей душой, правда, я платил ему тою же монетой), прошелся за столом над бедностью моей матушки, поощряемый хихиканием всей женской части дома. Когда мы удалились на конюшню, где Мик имел обыкновение выкуривать свою послеобеденную трубку, я,

разумеется, не стал ему молчать, и у нас завязалась драка на добрых десять минут; я отчаянно сопротивлялся и даже поставил ему фонарь под левым глазом, а ведь мне было всего-то двенадцать лет. Конечно, Мик вздул меня, но побои в столь нежном возрасте не производят большого впечатления, как я не раз убеждался в многочисленных стычках с оборвышами Брейдитауна, с которыми уже тогда расправлялся весьма успешно. Услышав о моей отваге, дядюшка выразил живейшее удовольствие, а кузина Нора приложила мне к носу оберточную бумагу, смоченную в уксусе. Домой в этот вечер я шел, подкрепившись пинтой кларета и чувствуя себя героем: шутка ли сказать — я десять минут не поддавался Мику.

И хоть любезный братец не изменил своего дурного обращения и не пропускал случая меня отдубасить, это не мешало мне с великим удовольствием проводить время в замке Брейди, пользуясь покровительством моих кузин, — по крайней мере, некоторых, — и добротой дядюшки, всячески меня баловавшего. Он подарил мне жеребенка и стал приучать к верховой езде, брал с собой на охоту с гончими, показывал, как ставить силки и капканы, как бить птицу влет. А со временем я избавился от преследований Мика; из колледжа Святой Троицы воротился мастер Улик, ненавидевший старшего брата, как это нередко бывает в благородных семьях, и взял меня под свое покровительство. И поскольку Улик был выше ростом и сильнее Мика, я, Редмонд-англичанин, как меня называли, чувствовал себя в безопасности, за исключением, впрочем, тех случаев, когда самому Улику приходило в голову меня отодрать, что он и делал всякий раз, как считал нужным.

Не оставалось в небрежении и мое светское воспитание. Обладая от природы разносторонними способностями, я вскоре оставил за флагом большинство окружающих. У меня был верный слух и приятный голос, и матушка не жалела стараний, чтобы развить их; она же учила меня степенно и грациозно выступать в менуэте, заложив этим основу моих будущих успехов в жизни. Более вульгарным танцам я учился (хоть и не стоило бы в том сознаваться) в лакейской, где всегда найдется кто-нибудь умеющий наигрывать на волынке и где никто не превосходил меня в матросском танце и джиге.

Что касается книжных познаний, то я упивался чтением пьес и романов, составляющих важнейшую часть образования изысканного джентльмена, и не пропускал случая купить у книгоноши одну-две баллады, если в кармане у меня имелся пенни. Что же до скучнейшей грамматики, а также греческого, латыни и прочей тарабарщины, то я их

терпеть не мог и уже тогда говорил без колебаний, что эта премудрость мне ни к чему.

И я доказал это самым неопровержимым образом, когда мне исполнилось тринадцать лет. Получив по завещательному распоряжению тетушки Бидди Брейди сто фунтов, матушка решила употребить их на мое образование и устроила меня в знаменитую в то время школу доктора Тобиаса Тиклера в Бэллиуэжете — или Гнилоуэжете, как дядюшка предпочитал его называть. И вот ровно шесть недель спустя после того, как меня отвезли к его преподобию, я неожиданно объявился в замке Брейди, отмахав пешком сорок миль и оставив почтенного доктора в состоянии, близком к удару. Если в беге, прыжках и кулачной драке я вскоре вышел на первое место в школе, то древние языки мне решительно не давались; семь раз меня высекли безо всякой пользы для моей латыни, когда же очередь дошла до новой порки, восьмой по счету, я решительно запротестовал, не видя в ней большого проку. "Попытайте что-нибудь новенькое, сэр!" — предложил я почтенному доктору, когда он пригрозил мне очередной лупцовкой; однако он стоял на своем; защищаясь, я запустил в него грифельной доской, а учителя-шотландца сбил с ног свинцовой чернильницей. Школьники поддержали мой протест дружным "ура", слуги бросились меня вязать; но, вытащив из кармана большой складной нож, подарок кухни Норы, я поклялся вонзить его в жилетку первому, кто осмелится меня задержать, и все без слов расступились, давая мне дорогу. Той ночью я спал в двадцати милях от Бэллиуэжета в хижине бедняка арендатора, угостившего меня картошкой и молоком, — позднее, в дни своего величия, приехав в Ирландию, я подарил этому славному человеку сто гиней. Как бы они мне сейчасгодились! Но что толку в пустых сожалениях! Случалось мне отдыхать и на более жестком ложе, чем то, что ждет меня сегодня, и довольствоваться худшим ужином, нежели тот, каким угостил меня честный Фил Мерфи в вечер моего побега. Итак, вся моя учеба свелась к шести неделям. Говорю об этом в назидание иным родителям: немало встречал я потом книжных червей, не исключая грузного, неуклюжего, пучеглазого старого толстяка, доктора Джонсона, проживавшего в одном из переулков на Флитстрит в Лондоне, которого я шутя переспорил (дело было в кофейне "Боттона"), однако, ни в отношении учености или поэзии, ни в том, что я называю натуральной философией, иначе говоря — житейской мудрости, ни в верховой езде, музыке, прыжках или фехтовании, ни в знании лошадей и бойцовых петухов, ни в манерах безукоризненного джентльмена и светского щеголя, могу поклясться, Редмонд Барри не часто встречал себе равного.



— Сэр, — сказал я доктору Джонсону во время помянутой встречи (его сопровождал некий мистер Босуэлл, родом из Шотландии, тогда как меня ввел в клуб мой соотечественник мистер Гольдсмит), — сэр, — сказал я в ответ на какую-то его громозвучную греческую тираду, — чем кичиться предо мной своими познаниями, цитируя Аристотеля и Платона, не скажете ли вы, какая лошадь на той неделе придет в Эпсومه первой? И беретесь ли вы пробежать шесть миль без передышки? И попадете ли вы в туза пик десять раз кряду без промаха? Если да, я готов весь день слушать вашего Платона и Аристотеля.

— Да знаете ли вы, кто перед вами? — взъелся на меня джентльмен, говоривший с заметным шотландским акцентом.

— Придержите язык, мистер Босуэлл, — остановил его старый учителяшка. Виноват я сам. Мне не следовало щеголять своими знаниями греческого перед этим джентльменом, и он ответил мне как должно.

— Доктор, — сказал я, посмотрев на него лукаво, — подберите мне рифму к слову Аристотель.

— Портвейн, если угодно, — отозвался, смеясь, мистер Гольдсмит.

И до того, как покинуть кофейню в тот вечер, мы употребили шесть рифм к слову Аристотель. Эта шутка, когда я рассказал о своей встрече у "Уайта" и в "Какаовом Дереве", пошла в ход, и потом только и слышалось: "Человек, тащите сюда одну из рифм капитана Барри к Аристотелю!" Однажды, в "Какаовом Дереве", когда я был уже на взводе, молодой Дик Шеридан назвал меня великим Стагиритом — я и по сей день не уразумел, в чем тут соль. Но я отклонился от своего рассказа — пора нам вернуться домой, в добрую старую Ирландию.

С той поры я немало встречал знаменитостей; но, в тонкости изучив светское обращение, со всеми держался как равный. Быть может, вас удивит, где это я, деревенский сорванец, выросший среди ирландских сквайров и подвластных им арендаторов и конюхов, набрался таких изысканных манер, в чем отдавал, мне должное всяк меня знавший? Дело в том, что я обрел первоклассного воспитателя в лице старого лесничего, когда-то служившего французскому королю при Фонтенуа; он-то и обучил меня светским танцам и обычаям, и ему же обязан я умением кое-как изъясняться по-французски, не говоря уже об искусстве владеть рапирой и шпагой. Мальчишкой я исходил с ним немало миль, прилежно слушая его рассказы о французском короле, об Ирландской бригаде, о маршале Саксонском и балетных танцовщицах. Встречал он за границей и моего дядюшку шевалье де Борнь. Словом, это был неисчерпаемый кладезь полезных сведений, коими он втихомолку со мной делился. Я не видел

человека, который так искусно удил бы внахлестку, объезжал, лечил или выбирал коня; он учил меня всем мужским потехам, начиная от охоты за птичьими гнездами, и я навек сохраню благодарность Филу Пурселу, как лучшему моему наставнику. Была у него слабость — он любил заглянуть в чарочку, но я никогда не видел в том порока; и он терпеть не мог моего кузена Мика, каковой недостаток я так же охотно ему прощал.

С таким учителем, как Фил, я в пятнадцать лет был вполне просвещенным юношей и мог заткнуть за пояс любого из моих кузенов; к тому же и природа, насколько я понимаю, оказалась ко мне щедрее. Некоторые девицы семейства Брейди (как вы вскоре увидите) считали меня неотразимым. На ярмарках и бегах я не раз слышал от хорошеньких девушек, что они не отказались бы от такого кавалера, и все же, по правде сказать, я не пользовался расположением окружающих.

Прежде всего каждый знал, что я гол как сокол, но, возможно, благодаря влиянию матушки, я был не менее спесив, чем беден. У меня было обыкновение похвастаться своим знатным родом, а также великолепием моих выездов, садов, погребов и слуг, и это — в присутствии людей, как нельзя лучше знавших наши плачевные обстоятельства. Если это были мальчишки и они поднимали меня на смех, я приходил в исступление и лез драться, — меня не раз приносили домой полумертвым. Когда матушка спрашивала о причинах потасовки, мой ответ неизменно гласил: "Я вступился за честь семьи". — "Защищай наше имя кровью своей, Редди, сынок!" — говорила эта праведница, заливаясь слезами; и сама она грудью стала б на его защиту и не постеснялась бы пустить в дело не только язык, но и зубы и ногти.

Когда мне минуло пятнадцать, в округности на десять миль не было двадцатилетнего парня, с которым я не подрался бы по той или другой причине. Среди прочих двое сынков нашего священника, — мне ли якшаться с этим нищим отродьем! — и между нами разыгралось немало сражений за первенство в Брейдитауне; вспоминается мне и Пат Лурган, сын кузнеца, одержавший надо мной верх в четырех битвах, до того как мы вступили в решающий бой, из которого я вышел победителем; я мог бы назвать и много других доблестных подвигов, но лучше воздержусь: кулачные расправы не слишком достойный предмет для обсуждения в кругу благородных джентльменов и дам.

Однако есть предмет, сударыни, о коем речь пойдет ниже, — он уместен в любом обществе. Вы же день и ночь готовы о нем слушать. Стар и млад, все ваши мечты и думы о нем; красавицы и дурнушки (хотя, сказать по чести, я до пятидесяти лет ни одну женщину не находил уродиной), все

вы молитесь этому кумиру; не правда ли, вы разгадали мою загадку? Любовь! Поистине, это слово состоит из сладчайших гласных и согласных нашего языка, и тот или та, что воротит нос от такого чтения, не заслуживает, по-моему, названия человека.

У дядюшки было десятеро детей, которые, как это часто бывает в больших семьях, делились на два лагеря или две партии: одни всегда брали сторону своей мамы, а другие — дядюшки — в бесконечных стычках между почтенным джентльменом и его дражайшей половиной. Фракцию миссис Брейди возглавлял Мик, старший сын, всячески меня изводивший и видевший в своем папеньке досадную помеху на пути к правам владения; зато Улик, второй по счету, был отцовский любимец, и мастер Мик боялся его как огня. Здесь не стоит перечислять имена всех девиц, в дальнейшем, видит бог, я достаточно от них натерпелся, однако старшая была причиной всех моих ранних злоключений; то была мисс Гонория Брейди, самая хорошенькая в семье (что сестры ее, разумеется, единодушно отрицали).

Она говорила тогда, что ей девятнадцать, хотя на заглавном листке фамильной библии, который я мог прочитать наравне со всяким (эта книга вместе с двумя другими и доскою для триктрака составляла всю дядюшкину библиотеку), значилось, что она родилась в тридцать седьмом году и была крещена доктором Свифтом, настоятелем собора св. Патрика в Дублине; и, следственно, в пору, когда мы много бывали вместе, ей исполнилось двадцать три года.

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ее нельзя было назвать красавицей; для этого у нее были чересчур пышные формы и слишком большой рот; к тому же она пестрела веснушками, как яйцо куропатки, а волосы ее в лучшем случае напоминали цветом небезызвестный овощ, который подается к отварной говядине. Я часто слышал эти соображения из уст матушки, но не давал им веры, предпочитая видеть в Гонории высшее существо, превосходящее всех других ангелов ее пола.

Всякий знает, что дама, изумляющая нас искусными танцами и пением, достигла такого совершенства благодаря долгой практике в тиши уединения и что романс или менуэт, исполняемый с грациозной легкостью в блестящем собрании, стоил ей немало трудов и усердия где-нибудь вдали от людских глаз; но то же самое можно сказать и о прелестных созданиях, изощренных в искусстве кокетства. Что до Гонории, то она практиковалась в нем неустанно; ей довольно было даже моей малости для проверки своих чар, или сборщика налогов, совершающего очередной обход, или нищего церковного служки, или юного аптекарского ученика из Брейдитауна, я помнится даже отколотил его по этой причине. Если он еще жив, приношу

ему свои извинения. Бедняга! Разве он виноват, что запутался в сетях той, кого можно было назвать величайшей кокеткой в мире, если бы не ее скромное положение и сельское воспитание.

Сказать по правде — а ведь каждое слово этого жизнеописания непреложная истина, — моя страсть к Норе родилась самым непритязательным образом и не заключала сперва ничего романтического. Я не спас ей жизнь; наоборот, я чуть не убил ее, как вы сейчас услышите. Я не узрел ее при лунном свете играющей на гитаре и не вызволил из рук отпетых негодяев, как Альфонсо Линдамиру в известном романе; но однажды летом после обеда в Брейдитауне, забравшись в сад, чтобы нарвать себе крыжовника на сладкое, и думая только о крыжовнике, клянусь честью, я застал среди кустов Нору с одной из сестер, к которой она в тот день благоволила, — застал за тем же развлечением, какое привлекло сюда и меня.

— Редмонд, как "крыжовник" по-латыни? — спросила Нора, любившая позубоскалить.

— Я знаю, как по-латыни "дура", — увернулся я.

— Как, скажи! — подхватила бойкая мисс Майзи.

— Брысь, хохлатки! — отозвался я с обычной своей находчивостью.

И мы принялись обирать куст, смеясь и болтая в самом беззаботном расположении духа. Но, развлекаясь таким образом, Нора умудрилась поцарапать руку; выступила кровь, Нора вскрикнула, а рука у нее была на диво круглая и белая, я перевязал ее и, кажется, получил разрешение поцеловать; и, хотя это была нескладная здоровенная ручища, я счел оказанную мне милость восхитительной и отправился домой в полном упоении.

В ту пору я был слишком наивен, чтобы скрывать свои чувства; вскоре весь выводок сестер Брейди знал о моей страсти, поздравлял Нору и подшучивал над ее новым вздыхателем.

Трудно вообразить, какие муки ревности я терпел по вине жестокой кокетки. То она обращалась со мной как с ребенком, то как с заправским мужчиною. Стоило в доме объявиться новому гостю, и она меня бросала.

— Рассуди сам, голубчик Редмонд, — внушала она мне, — ведь тебе всего пятнадцать лет и у тебя ни пенни за душой.

Я клялся, что стану героем, какого еще не видали в Ирландии, и еще до того, как мне минет двадцать, так разбогатею, что смогу купить поместье в десять раз большее, чем замок Брейди. Ни одного из этих обещаний я, конечно, не сдержал, но думаю, что они оказали свое действие на мою юную душу и немало способствовали свершению тех великих

деяний, коими я прославился и о коих вы услышите в свое время.

Об одном из них расскажу не откладывая, дабы мои читательницы уразумели, что за человек был юный Редмонд Барри, сколько горячности и неукротимого мужества в нем крылось. Вряд ли у кого из нынешних похвальбишек хватит духу совершить подобное, даже для собственного спасения.

В то время все Соединенное Королевство было объято тревогой, опасались французского вторжения. Говорили, что Версаль держит руку Претендента, что неприятель скорее всего высадится в Ирландии, и вся знать, все влиятельные люди как в этой, так и в других частях королевства, желая доказать свою преданность, собирали ратников, пеших и конных, дабы должным образом встретить вторгнувшегося врага. Брейдитаун тоже отправил роту для присоединения к Килвангенскому полку, коим командовал мастер Мик. Мастер Улик, со своей стороны, писал нам из колледжа Святой Троицы, что в университете тоже сформирован полк и он удостоен чести служить в нем капралом. До чего же я завидовал обоим, а в особенности ненавистному Мику, глядя, как, затянутый в алый, сверкающий галуном мундир, с лентой на шляпе, он шагает во главе своих молодцов. Этот слабодушный сморчок — капитан, а я ничто, это я-то, чувствовавший в себе отвагу по меньшей мере герцога Кэмберлендского и знавший, как пойдет ко мне алый мундир! Матушка уверяла, что я слишком молод для военной службы, на самом же деле это она была слишком бедна — стоимость нового обмундирования поглотила бы чуть ли не половину нашего годового дохода, ибо она считала, что сын ее должен явиться в полк, как подобает его рождению, — на кровном скакуне, в безукоризненном мундире, и что дружбу он должен водить с самыми избранными.

Итак, страну лихорадило войной, военная музыка оглашала все три королевства, каждый уважающий себя мужчина спешил явиться ко двору Беллоны, и только я был обречен сидеть дома в своей фризовой куртке и тайком вздыхать о славе. Мастер Мик, то уезжая в полк, то приезжая из полка, привозил с собой все новых сослуживцев. Их щегольские мундиры и бравая выправка ввергали меня в грусть, а замечая, как льнет к ним Нора, я сходил с ума от бешенства. Никому, однако, и в голову не приходило отнести мою печаль за счет молодой леди; все думали, что я тоскую оттого, что мне нельзя идти в солдаты.

Как-то офицеры ополчения давали в Килвангене грандиозный бал; приглашены были, разумеется, все дамы из замка Брейди (надо было видеть этот рой образин, еле умещавшийся в старом рыдване). Я

догадывался, какие муки готовит мне Нора, как она всю ночь будет кокетничать с офицерами, и долго отказывался ехать. Однако Нора знала, как меня уломать. Она клялась, что ее укачивает в карете.

— Как же, — плакалась она, — я попаду на бал, если ты не отвезешь меня на Дейзи?

Дейзи была дядюшкина породистая кобыла, и от такого предложения я был не в силах отказаться. Итак, мы благополучно доскакали до Килвангена, и я был горд, как принц, оттого что Нора обещала мне контрданс.

Но только когда танец пришел к концу, неблагодарная кокетка спохватилась, что начисто забыла свое обещание, — она протанцевала все фигуры с англичанином! Бывали у меня в жизни огорчения, но таких мук я еще не испытывал. Нора старалась загладить обиду, но моя гордость встала на дыбы. Немало красоток пыталось меня утешить, — ведь я был лучший танцор в зале. Одна из них даже меня уговорила, но, не выдержав этой пытки, я махнул рукой на танцы и всю ночь проскучал один. Я охотно присоединился бы к игрокам, но у меня не было денег, кроме неразменного золотого, — матушка наказывала, чтобы я, как истый джентльмен, всегда носил его с собой в кошельке. К вину я был равнодушен, я еще не знал, какой это пагубный бальзам для души, и думал лишь о том, как убью себя и Нору, но сперва разделаюсь с капитаном Квином.

Наконец к утру бал кончился. Наши дамы отбыли в своем неуклюжем тархтящем рыдване; вот и Дейзи вывели из конюшни, и мисс Нора взобралась на седельную подушку за моей спиной. Я хранил молчание. Но мы и полмили не отъехали от города, как она начала приставать ко мне с утешениями и уговорами, пытаясь рассеять мою угрюмость.

— Ах, Редмонд, голубчик, ночь-то какая холодная, ты наверняка простудишься без шейного платка.

На это сочувственное замечание седельной подушки седло отвечало упорной молчанкой.

— Хорошо ли ты провел время с мисс Кланси, Редмонд? Вы, кажется, всю ночь не расставались?

На что седло только скрипнуло зубами и изо всех сил хлестнуло Дейзи.

— Что ты делаешь, глупенький! Хочешь, чтобы Дейзи стала брыкаться и сбросила меня? Разве ты не знаешь, какая я трусиха?

Говоря это, подушка тихонько обняла седло за талию и даже, может быть, чуть-чуть привлекла к себе.

— Я ненавижу мисс Кланси, и ты это знаешь! — не выдержало седло. — Я только потому пошел с ней танцевать, что у той, на кого я

рассчитывал, за всю ночь не нашлось ни минуты свободной!

— Надо было приглашать моих сестер! — ответствовала подушка, разражаясь смехом, в горделивом сознании своего превосходства. — У меня, голубчик, в первые же пять минут схватили все танцы.

— Так неужто надо было пять раз танцевать с капитаном Квином? воскликнул я. И вот до чего доводит кокетство! Мне кажется, что у Норы Брейди в ее двадцать три года радостно забилось сердце при мысли, как велика ее власть над простодушным пятнадцатилетним подростком.

Разумеется, она заявила, что капитан Квин несколько ее не интересуется; просто с ним легко танцевать, он занятный собеседник, и притом такой душка в своем военном мундире; и если человек ее приглашает, неужто ему отказать?

— Мне же ты отказала, Нора?

— Вот еще! С тобой я могу танцевать хоть каждый день, — ответила мисс Нора, презрительно вскидывая головку, — да и неудобно танцевать на балу с кузенком, подумают, у меня другого кавалера не нашлось. А кроме того, продолжала Нора, и это был жестокий, безжалостный выпад, показывавший, как велика ее власть надо мной и как беспощадно она ею пользуется, — а кроме того, Редмонд, капитан Квин — мужчина, а ты — ребенок!

— погоди, вот я встречу с ним, — вскричал я, разражаясь проклятием, тогда увидишь, кто из нас мужчина! Я намерен драться с ним на шпагах или пистолетах, будь он сто раз капитан! Подумаешь, мужчина! Да я готов биться с любым мужчиной, кто бы он ни был! Разве я не взгрел Мика Брейди — и это одиннадцати лет! И разве не поколотил Тома Сулливана, хоть это страх какой верзила и ему все девятнадцать минуло? А помнишь, как попало от меня учителю-шотландцу? О Нора, зачем ты надо мной издеваешься?

Но такой уж стих нашел в ту ночь на Нору, она так и сыпала насмешками: говорила, что капитан Квин показал себя храбрым солдатом, что в Лондоне его знают как человека светского и что сколько бы я, Редмонд, не хвалился своими победами над учителями и деревенским сбродом, что ни говори, капитан Квин англичанин, а с англичанином шутки плохи!

Тут она пустилась рассуждать о вторжении и о прочих военных материях: о короле Фридрихе (в те дни он ходил в протестантских героях), о мосье Тюре и его флоте, о мосье Конфлане и его эскадроне, о Менорке, недавно подвергшейся нападению, и о том, где она, собственно, находится; оба мы сошлись на том, что в Америке, и оба надеялись, что

французов там как следует взгреют!

Я вздохнул (я уже начинал оттаивать) и заговорил о том, как мне хочется быть солдатом, на что Нора, как всегда, возразила:

— Этого еще не хватало! Значит, ты собираешься меня покинуть? И куда ты годишься, скажи на милость? Разве что в недомерки-барабанщики!

На что я поклялся, что все равно буду солдатом, а со временем и генералом.

Так, болтая о том, о сем, подъехали мы к мосту, который с этого дня получил название "Прыжок Редмонда". То был старый высокий мост, перекинутый через глубокий ручей, бежавший по каменистому ложу. И когда Дейзи с двойным грузом на него ступила, мисс Нора, дав волю своему воображению и все еще импровизируя на военные темы (голову даю на отсечение, что она думала о капитане Квине), — мисс Нора сказала:

— Редмонд, если ты такой герой, скажи, что бы ты стал делать, когда бы, въехав на мост, увидел на том берегу неприятеля?

— Я выхватил бы саблю и проложил бы себе дорогу.

— Как? Со мной за седлом? Ты, видно, задумал убить меня, бедняжку? Молодая леди при всяком удобном и неудобном случае называла себя бедняжкой.

— Ладно, я скажу тебе, что бы я сделал. Бросился бы вместе с Дейзи в реку и переправил вас обеих туда, где вам не грозила бы опасность.

— Да ведь тут футов двадцать глубины! Никогда б ты этого не сделал верхом на Дейзи. Вот у капитана лошадь Черный Джордж! Мне рассказывали, что капитан Кви...

Она так и не кончила: взбешенный назойливым повторением ненавистого имени, я крикнул: "Держись за меня крепче!" — и, пришпорив Дейзи, в мгновение ока махнул с Норой через перила и в глубокий ручей. Почему я это сделал, я и сам не сумел бы сказать, — то ли хотел погибнуть вместе с Норой, то ли совершить поступок, перед которым дрогнул бы даже капитан Квин; а может, я и правда вообразил, что перед нами неприятель, — не знаю; во всяком случае я прыгнул. Лошадь ушла в воду с головой, Нора безостановочно визжала, и когда мы погрузились в воду, и когда вынырнули на поверхность; я высадил ее на берег в полуобмороке, и здесь нас подобрала дядюшкины люди, прискакавшие на Норины крики. Вернувшись домой, я вскорости слег в горячке, приковавшей меня к постели месяца на полтора. Встал я с одра болезни выросший чуть ли не на голову и еще более, чем когда-либо, влюбленный.

В первые дни моей болезни Нора, предав забвению семейные распри, усердно за мной ухаживала, да и матушка склонна была по-христиански



все забыть и простить. Со стороны женщины такого надменного нрава, никогда не прощавшей обиды, было нещучной жертвой презреть давнюю вражду и оказать мисс Брейди ласковый прием. Шалый мальчишка, я бредил Норой и беспрестанно о ней спрашивал; лекарства принимал лишь из ее рук и угрюмо, исподлобья поглядывал на матушку, которой я был дороже всего на свете и которая ради меня отказалась от справедливых притязаний и подавила в себе естественную ревность.

По мере моей поправки я с грустью замечал, что Норины посещения становятся все реже. "Почему она не приходит?" — спрашивал я сварливо десять раз на дню. Миссис Барри придумывала тысячи благовидных причин, чтобы объяснить это невнимание: то Нора подвернула ногу, то рассердилась на матушку или еще что-нибудь, — лишь бы меня успокоить. А часто добрая душа, не выдержав притворства, убегала к себе выплакаться на свободе, а потом возвращалась с улыбкой на лице, ничем не выдавая своей обиды. Боюсь, я и в самом деле ничего не замечал, а если б и заметил, не придал бы этому значения. Начало возмужания, насколько я могу судить, пора отъявленного себялюбия. Мы охвачены неодолимым желанием расправить крылья и выпорхнуть из родного гнезда, и никакие слезы и мольбы, никакие привязанности не в силах укротить в нас стремление к независимости. В ту пору моей жизни бедной матушке — да вознаградит ее небо — приходилось тяжело страдать, и потом она рассказывала мне, как мучительно ей было видеть, что ее многолетняя забота и преданность забыты ради ничтожной, бессердечной кокетки, которая лишь играла мной, за отсутствием достойнейших поклонников. Ибо, как вскоре выяснилось, не кто иной, как капитан Квин, приехал погостить в замок Брейди за месяц до моего выздоровления и стал ухаживать за Норой по всей форме. Матушка не решалась сообщить мне эту новость, Нора же и подавно от меня таилась; и я только случайно раскрыл их невольный заговор.

Рассказать, каким образом? Плутовка навестила меня как-то, когда я был уже на пути к выздоровлению и мне позволяли сидеть в постели; она была так весела, так милостива и ласкова со мной, что я был на седьмом небе и даже бедную матушку в то блаженное утро осчастливил приветливым словом и нежным поцелуем. Я чувствовал себя отлично и уписал целую курицу, а дядюшке, пришедшему меня проведать, обещал совсем поправиться к тому дню, когда начнется охота на куропаток, и сопровождать его, как обычно.

Приближалось воскресенье, и у меня были на этот день планы, которые я твердо намеревался привести в исполнение, несмотря на запреты

врача и матушки, уверявших, что мне ни под каким видом нельзя выходить из дому, так как свежий воздух меня убьет.

Я лежал, блаженно-умиротворенный, и впервые в жизни слагал стихи. Привожу их здесь такими, как написал их юный недоросль, со всеми присущими ему орфографическими ошибками. И хоть эти строки не так изысканны и безупречны, как "Арделия, драгая, я стражду от любви" или "Чуть солнце озарило цветущие луга" и другие лирические излияния моего пера, получившие впоследствии столь широкое признание, однако мне кажется, для скромного пятнадцатилетнего поэта они написаны весьма изрядно.

### *Роза флоры*

*Послание, обращенное юным высокородным  
джентльменом к мисс Бр-ди, из замка Бр-ди*

У Брейдской башни, средь всех невзрачных  
Один завидный мне мил цвiток,  
Есть в замке Брейди красотка леди,  
(Но как люблю я — вам невдомек);  
Ей имя Нора. Богиня Флора  
Дарит ей розу, любви залог.  
И молвит Флора: "О леди Нора,  
У Брейдской башни цвiточков тьма,  
Семь дев я знаю, но ты, восьмая,  
Мужчин в округе свела с ума.  
Ирландский остров, на зависть сестрам,  
Твою взлилеял красу весьма!  
Сравню ль с цвiточком? Столь алым щечкам,  
Должно быть, роза ссудила свой  
Румянец нежный и безмятежный,  
А взор — фиалки синей с лехвой!  
И нету спора, что эта Нора  
Затмит лилею красой живой!  
"Пойдем-ка, Нора, — взывает Флора,  
Туда, где бедный грустит юнец,  
То некий местный поэт безвестный,  
Но вам известный молодой певец;

То Редмонд Барри, с ним, юным, в паре,  
Пойти б вам стоило под винец!" [4]

В воскресенье, едва матушка ушла в церковь, я кликнул камердинера Филя, со всей строгостью велел принести мое лучшее платье, в каковое и облачился (убедившись при этом, что все стало мне за время болезни до смешного коротко и узко), и, прихватив заветный листок со стихами, понесся во всю прыть в замок Брейди, мечтая увидеть мою богиню. Воздух был свеж и чист, птицы звонко распевали в зеленых ветвях, я испытывал давно незнакомую мне радость и бежал по широкой просеке (дядюшка, конечно, постарался свести весь лес в своих владениях) вприпрыжку, точно проворный молодой фавн. Сердце мое отчаянно колотилось, когда я поднимался по заросшим травой ступеням и распахнул покосившуюся дверь сеней. Господа ушли в церковь, сообщил мне мистер Скру, дворецкий (с удивлением разглядывая мое осунувшееся лицо и тощую долговязую фигуру), и с ними шесть барышень.

— И мисс Нора в том числе? — осведомился я.

— Нет, мисс Нора не с ними, — ответил мистер Скру с непроницаемым, загадочным видом.

— Где же она?

На этот вопрос он ответил — или сделал вид, что ответил, — с обычной для ирландца уклончивостью, предоставив мне гадать, поехала ли Нора с братом в Килванген, пристроившись за его седлом, отправилась ли на прогулку с одной из сестер или лежит в своей комнате больная. А пока я пытался решить этот вопрос, мистер Скру незаметно скрылся.

Я бросился на задний двор, к конюшням, и здесь увидел драгуна, насвистывавшего на мотив "Да здравствует английский ростбиф!" и чистившего скребницей кавалерийского коня.

— Чья это лошадь, малый? — спросил я.

— Какой я тебе малый! — заворчал англичанин. — Это капитапова лошадь, он тебе покажет малого!

Я не стал задерживаться, дабы намять ему шею, что непременно сделал бы во всякое другое время, — у меня мелькнуло ужасное подозрение, и я со всех ног кинулся в сад.

То, что я увидел, почему-то несколько меня не удивило. По аллее прогуливалась Нора с капитаном Квином. Негодяй вел Нору под руку, поглаживая и нежно сжимая ей пальчики, доверчиво прильнувшие к его распроткнутой жилетке. За первой парой, немного отступя, шествовала

вторая, — капитан Килвангенского полка Фэган, по-видимому, усердно волочился за Нориной сестрицей Майзи.

Вообще-то я не робкого десятка, но это зрелище меня подкосило; колени у меня дрожали и такая вдруг нашла слабость, что я чуть не рухнул в траву под дерево, к которому прислонился, и минуты две почти ничего не сознавал; однако, взяв себя в руки, я шагнул навстречу милой парочке и выхватил из ножен серебряный кортик, бывший при мне неотлучно, ибо собирался расправиться с вероломными злодеями, насадив их на клинок, словно двух голубей. Умолчу о том, какие чувства, помимо гнева, раздирали мою душу, какое горькое разочарование, какое безрассудное, неистовое отчаяние, ощущение, будто подо мною проваливается земля; не сомневаюсь, что и ты, читатель, не раз бывал обманут женским коварством, вспомни же, что ты чувствовал под тяжестью первого удара.

— О нет, Норилия, — говорил капитан, — (в то время в обычае у любовников было награждать друг друга выспренними именами из романов), клянусь богами, в сердце моем только вы да еще четверо других зажгли божественный огонь.

— О мужчины, мужчины, все вы таковы, Евгенио! — проворковала Нора (негодяя звали, кстати, Джон). — Вашу любовь не сравнить с нашей. Мы подобно... гм... одному растению, о котором я читала, цветом лишь однажды и умираем!

— Так, значит, вы ни к кому до меня не испытывали сердечной склонности? — осведомился капитан Квин.

— Ни к кому, кроме тебя, мой Евгенио! Как можешь ты смущать стыдливую нимфу таким вопросом?

— Голубка моя, Норилия! — просюсюкал он, поднося ее пальцы к губам.

Я хранил на груди пунцовый бант, — Нора как-то подарила его мне, отколов от лифа, — и я с ним не расставался. И вот, достав из-за пазухи бант, я швырнул его в лицо капитану и бросился вперед с занесенным клинком, восклицая:

— Не верьте ей, она обманщица, капитан Квин! Обнажите меч, сэр, и защищайтесь как мужчина! — С этими словами я подскочил к нему и схватил негодяя за шиворот, меж тем как Нора оглашала воздух пронзительными воплями. Услышав их, к нам поспешила Майзи с другим капитаном.

Хоть за время болезни я вытянулся, как сорная трава, и почти достиг полного своего роста в шесть футов, однако по сравнению с огромным капитаном казался хрупкой тростинкой, ибо он обладал икрами и плечами,

которым позавидовал бы носильщик портшезов в Бате. Когда я напал на него, он сначала побагровел, а потом сделался мертвенно-бледен; отпрянув, он схватился за эфес шпаги, но тут Нора в ужасе повисла на нем с криком:

— Нет, нет, Евгенио! Ради бога, пощадите его, капитан Квин! Ведь он еще ребенок!

— И заслуживает порки за свою наглость, — отпарировал капитан. — Но успокойтесь, мисс Брейди, я его пальцем не трону. Вашему любимцу ничто не угрожает. — Говоря это, он наклонился, поднял ленту, упавшую к Нориным ногам, подал ей и добавил язвительно: — Когда молодые леди дарят джентльменам такие сувениры, другим джентльменам остается только убраться восвояси.

— Господи, Квин! — вскричала девушка. — Да ведь он еще мальчик!

— Не мальчик, а мужчина! — взревел я. — И я докажу это.

— Все равно что ручной попугай или комнатная собачка. Неужто нельзя подарить кузену несчастный клочок ленты?

— Сколько угодно, мисс, хоть целый аршин! — продолжал язвить капитан.

— Чудовище! — возопила эта славная девушка. — Вот и видно, что папенька у вас аршинник, вы мерите все на аршин. Но не думайте, что ваша низость сойдет вам с рук! И ты потерпишь, Редди, чтобы меня оскорбляли?

— Не сомневайтесь, мисс Нора! — вскричал я. — Он за все заплатит кровью. Это так же верно, как то, что меня зовут Редмонд!

— Я прикажу конюху высесть тебя, мальчишка! — пригрозил капитан, к которому вернулось самообладание. — А что до вас, мисс, честь имею кланяться!

Он церемонно снял шляпу и, помахав ею у самых ног, хотел уже ретироваться, но тут подоспел мой кузен Мик, очевидно, тоже привлеченный криками Норы.

— Вот так так! Что случилось, Джек Квин? Что здесь происходит? спросил Мик. — Я вижу Нору в слезах, дух Редмонда грозитя обнаженным мечом, а вы куда-то спешите?

— Я скажу вам, что здесь происходит, мистер Брейди, — ответил англичанин. — Я сыт по горло вашей мисс Норой и вашими ирландскими порядками. Я иначе воспитан, сэр!

— Ну, ну, ничего не значит, — добродушно заметил Мик (как выяснилось, он задолжал Квину много денег), — либо мы вас приучим к ирландским порядкам, либо у вас перейдем английские.

— У нас, англичан, не положено, чтобы дамы заводили себе по двое

обожателей. Вы меня крайне обяжете, мистер Брейди, уплатив должок, а я отказываюсь от притязаний на эту молодую особу. Если она предпочитает школьников, я ей не помеха.

— Полно вам, Квин, вы, кажется, шутить изволите? — спросил Мик.

— Я никогда не был настроен серьезнее, — возразил Квин.

— А тогда берегитесь, сэр, черт возьми! — вскипел Мик. — Бессовестный обманщик, подлый обольститель! Вы завлекли в сети этого ангела, эту страдалицу, вы завладели ее сердцем, а теперь намерены ее покинуть? Уж не думаете ли вы, что некому за нее заступиться? Обнажите вашу шпагу, лакей, холоп! Или я вырежу из тела ваше подлое сердце.

— Да это форменное убийство! — воскликнул Квин, пятась назад. — Двое против одного! Надеюсь, Фэган, вы не допустите, чтобы меня зарезали!

— Вот еще! — сказал Фэган, которого, видимо, забавляла эта сцена. Заварили кашу, капитан Квин, сами и расхлебывайте! — И, подойдя ко мне, шепнул: — Сыпь ему как следует, малыш!

— Раз мистер Квин отказывается от своих притязаний, — возразил я, — мое дело сторона.

— А я и отказываюсь, — подхватил Квин, все более теряясь.

— Защищайтесь же как мужчина, черт бы вас побрал! — снова взревел Мик. — Майзи, уведи несчастную жертву! Редмонд и Фэган последят, чтоб это был честный поединок.

— Да я... дайте мне подумать... я еще сам не решил, — запутался тут между вами.

— Как осел между двумя вязанками сена, — сухо заметил мистер Фэган. Не знает, куда и кинуться.

## Глава II, в которой я выказываю незаурядную отвагу

Во время этих споров кузина Нора поспешила сделать то, что сделала бы на ее месте всякая молодая особа, а именно — хлопнулась по всем правилам в обморок. Я пререкался с Миком, что и помешало мне броситься к ней на помощь, к тому же капитан Фэган (удивительно черствая натура этот Фэган!) удержал меня, говоря:

— Оставьте молодую леди в покое, мастер Редмонд, тем скорее она очнется.

Так оно и случилось — вернейшее доказательство того, что Фэган был дока в житейских делах; с тех пор я не раз видел, как быстро приходят в себя дамы в подобных обстоятельствах. Квин тоже, конечно, не кинулся ее спасать, бесчестный хвастунишка воспользовался переполохом, чтобы обратиться в бегство.

— Кто же из нас вызовет капитана Квина? — спросил я Мика, ибо это было мое первое дело на поле чести, и я радовался ему, как радовался бы новой бархатной паре, обшитой позументом. — Кто из нас — я или ты, кузен Мик, удостоится чести проучить наглеца англичанина? — Говоря это, я протянул кузену руку, ибо растаял под впечатлением победы и уже готов был его обнять.

Однако он отверг столь искреннее предложение дружбы.

— Ты, ты, — повторял он, задыхаясь от бешенства, — повесить тебя мало, негодный мальчишка! Вечно ты не в свое дело суешься! Болван, молокосос, а туда же лезет! Да как ты посмел завести ссору с человеком, у которого тысяча пятьсот фунтов годового дохода?

— Ох! — простионала Нора, лежавшая пластом на каменной скамье. — Я умру! Я знаю, что умру! Мне уже не подняться с этого места!

— Капитан здесь, никуда он не делся, — шепнул ей Фэган, и Нора, смерив его негодующим взглядом, вскочила и убежала в дом.

— И что тебе взбрело, ублюдок, волочиться за девушкой из порядочного дома? — продолжал Мик меня отчитывать.

— Сам ты ублюдок! — вскинулся я. — Посмей еще раз, Мик Брейди, так меня назвать, и я всажу тебе в горло этот клинок! Вспомни, как ты не справился с одиннадцатилетним мальчишкой! А теперь я ни в чем тебе не

уступаю и, богом клянусь, так измолочу тебя, как — как всегда колачивал твой младший брат.

Удар пришелся по больному месту, и Мик позеленел от злости.

— Не слишком удачное начало, чтобы понравиться семье невесты, примирительно пошутил Фэган.

— Девушка в матери ему годится, — буркнул Мик.

— Годится или не годится, — отрезал я, — но вот что я тебе скажу, Мик Брейди (и я разразился чудовищным проклятием, которое не стану здесь повторять): человек, который женится на Норе Брейди, должен сперва убить меня, — заруби себе на носу!

— Вздор, сударь, — бросил мне Мик, отворотясь, — не убить, а высечь, хочешь ты сказать. Я поручу это егерю Нику. — С этими словами он удалился.

Тут ко мне подошел капитан Фэган и, ласково взяв за руку, сказал, что я храбрый малый и что он уважает мою отвагу.

— Но Брейди прав, — продолжал он, — конечно, трудно советовать человеку, который так далеко зашел в своих чувствах, однако поверьте, я кое-что повидал в жизни, и, если вы меня послушаете, вам не придется об этом пожалеть. За Норой Брейди нет ни пенни приданого, да и вы ничуть не богаче. К тому же вам всего пятнадцать, а ей все двадцать четыре. Лет через десять, когда вам придет пора жениться, она уже будет старухой. А главное, бедный мой мальчик, разве вы не видите, как это ни тяжело и больно, что она бездушная кокетка и так же мало интересуется вами, как и капитаном Квином?

Но какой же влюбленный (да и не только влюбленный, если на то пошло) станет слушать мудрых советов? Я, по крайней мере, никогда их не слушал. И я сказал Фэгану, что любит меня Нора или нет, на то ее святая воля, но, прежде чем на ней жениться, клянусь честью, Квин будет иметь дело со мной!

— Верю, верю, — сказал Фэган, — с вас, пожалуй, станется, мой мальчик. — Поглядев на меня пристально секунды две, он повернулся и пошел, насвистывая себе что-то под нос, но прежде чем выйти в старую садовую калитку, снова на меня оглянулся. Когда он ушел, оставив меня одного, я бросился на скамью, где только что лежала в притворном обмороке Нора и где она забыла свой платок, и, зарывшись в него лицом, оросил его обильными слезами, которых в ту пору моей жизни стыдился до крайности и которых никто не должен был видеть.

Лента, брошенная мной в лицо капитану Квину, лежала смятая у моих ног, я сидел много, много часов, глядя на нее, чувствуя себя несчастнейшим



человеком во всей Ирландии. Но до чего же непостоянен мир! Ведь, кажется, как велики наши печали, а сколь они ничтожны на деле! Нам представляется, будто мы умираем с горя, а до чего же мы, в сущности, легко забываем! Как же нам не стыдиться такого непостоянства! И почему у Времени ищем мы утешения! Но, очевидно, мне, среди многообразных моих испытаний и мытарств, так и не пришлось напасть на единственно желанную: вот почему через короткое время я забывал каждое существо, которому поклонялся; доведись мне встретить ту, единственно желанную, я, надо думать, любил бы ее вечно.

Должно быть, я не один час просидел на садовой скамье, оплакивая себя; рано поутру явился я в замок Брейди, и только колокольчик, как всегда в три часа зазвонивший к обеду, вывел меня из задумчивости. Я взял платок и подобрал с земли ленту. Проходя мимо служб, я заметил, что капитаново седло по-прежнему висит у дверей конюшни, и увидел его нахала денщика: щеголяя красным мундиром, он зубоскалил с судомойками и прочей кухонной челядью.

— Англичанин еще здесь, мастер Редмонд! — шепнула мне одна из горничных (восторженная душа, черноглазая девушка, она прислуживала молодым хозяйкам). — Он в столовой, с нашей прелестной Девой долины; не давайте себя в обиду, мастер Редмонд!

Я решительно вошел в столовую и занял свое место в конце стола; мой друг дворецкий тут же поставил мне прибор.

— Алло, Редди, малыш! — приветствовал меня дядюшка. — Поправился и уже на ногах? Вот и отлично!

— Сидел бы лучше дома с маменькой, — проворчала тетка.

— Не слушай ее, — вступился за меня дядюшка. — Это она за завтраком объелась холодной гусятины, и теперь ей свет не мил. Выпей-ка лучше стаканчик горячительного, миссис Брейди, за здоровье Редмонда!

Видно, от него держали в секрете, что здесь произошло; зато Мик, Улик и девицы глядели тучей, а у капитана Квина был преглупый вид. Нора, сидевшая с ним рядом, казалось, вот-вот разревется. Капитан Фэган улыбался, а я наблюдал всех с каменным лицом. Каждый кусок застревал у меня в горле, но я и виду не подавал, а когда убрали скатерть, наполнил свой кубок вместе с другими. Мы выпили, как и положено джентльменам, за Короля и Церковь. Дядюшка был в наилучшем расположении духа и все время подшучивал над Норой и капитаном. Шутки его были примерно такого свойства: "Спроси-ка, Нора, мистера Квина, у кого из вас первого мы будем пировать на свадьбе?" Или: "Джек Квин, мой мальчик, не ждите чистого бокала для кларета, в замке Брейди не хватает хрусталя. Возьмите

Норин бокал, вино от этого не покажется вам хуже". Сегодня он был особенно в ударе, — я не мог понять почему. Уж не состоялось ли примирение между вероломной красоткой и ее вздыхателем, с тех пор как они вернулись в дом?

Впрочем, я недолго оставался в неведении. В доме дядюшки третью чару выпивали уже обычно без дам; но на сей раз дядюшка задержал их, невзирая на протесты Норы, взывавшей:

— Папочка, пожалуйста, дозвожь нам уйти!

— Нет, нет, миссис Брейди и прочие дамы, — воскликнул он, — прошу вас! Я собираюсь провозгласить тост, который мы, к сожалению, слишком редко слышим в этом доме, и прошу поддержать его как можно дружнее. Итак, пью здоровье капитана и миссис Джон Квин и желаю им счастья на многие лета! Поцелуй ее, Джек, шельма ты этакая, у тебя будет не жена, а чистый клад!

— Он уже сегодня заработал... — взвизгнул я, вскакивая с места.

— Придержи язык, болван, придержи язык! — остановил меня Улик, сидевший рядом. Но я уже ничего не соображал.

— Он уже сегодня заработал оплеуху, ваш капитан Джон Квин! — надрывался я. — Он уже сегодня съел "труса". Вот как я согласен выпить за его здоровье! Ваше здоровье, капитан Джон Квин! — И я швырнул ему в лицо полный бокал кларета. Не знаю, как он это принял, ибо в следующую секунду я уже лежал под столом, сбитый с ног Уликом, который еще вдобавок дал мне подзатыльника. Я только смутно слышал визг, суматоху и беготню над головой, так как все мое внимание было поглощено тумакими, зуботычинами и проклятьями, которыми продолжал угощать меня Улик.

— Дуралей, — честил он меня, — этакый балбес и дубина, путается у всех под ногами, нищее отродье (каждый лестный эпитет сопровождался новым подзатыльником), придержи язык!

Я, разумеется, не сердился на такое обращение, так как Улик всегда стоял за меня — и постоянно избивал без пощады.

Когда я вылез из-под стола, дам уже не было, и я с удовольствием увидел, что у капитана Квина, как и у меня, идет носом кровь, у него вдобавок была рассечена переносица, отчего красота его пострадала безвозвратно. Улик между тем встряхнулся, сел поудобнее, налил себе бокал и передал бутылку мне.

— Пей, не жалея, молодой осел, — сказал он, — и чтобы нам больше не слышать ослиного рева!

— Господи боже, что за свалка, — недоумевал дядюшка. — Уж не горячка ли опять у малыша?

— Это ваших рук дело, — сумрачно отозвался Мик. — Ваших да тех, кто его приваживает.

— Не скули, Мик, — остановил его Улик. — Выражайся осторожнее, когда говоришь обо мне и об отце, а то как бы не пришлось поучить тебя вежливости.

— Ты-то и виноват во всем, — не унимался Мик. — Что этому прощельеге здесь нужно? Моя бы воля, я бы давно его вздул и выгнал.

— Самое милое дело, — отозвался капитан Квин.

— Не советую вам и пробовать, Квин, — пригрозил мой заступник и, повернувшись к отцу, пояснил: — Дело в том, сэр, что наш молодой повеса втрескался в Нору; сегодня он застал их с капитаном в саду за нежным объяснением и теперь жаждет крови!

— Черт возьми, рано же он начинает! — умилился дядя. — Ей-богу, Фэган, этот мальчик настоящий Брейди, со всеми потрохами.

— А я вот что вам скажу, мистер Брейди, — вскричал Квин, обозлившись, меня оскорбили в этом доме! И вообще не нравятся мне здешние порядки! Я англичанин и человек состоятельный... я... я...

— Если вам нанесли оскорбление, Квин, требуйте сатисфакции, — оборвал его Улик. — И помните, что нас с малышом здесь двое.

В ответ на что Квин промолчал и стал усердно промывать себе нос.

— Мистер Квин может во всякое время получить удовлетворение, — заявил я со всем возможным достоинством. — Редмонд Барри, эсквайр, из Барривилля, в любое время к вашим услугам, сэр!

Услышав это, дядюшка разразился громким смехом (что он делал при всяком удобном случае), и капитан Фэган, к великому моему огорчению, к нему присоединился. Повернувшись к Фэгану, я заносчиво попросил его помнить, что если от моего кузена Улика, который всегда был моим лучшим другом, я и терпел такое обхождение, то впредь терпеть не намерен; что же касается других лиц, которые позволяют себе в отношении меня малейшее неуважение, пусть пеняют на себя.

— Мистер Квин, — добавил я, — узнал на собственном опыте, чем это грозит, и если он считает себя мужчиной, ему известно, где меня искать.

Дядюшка спохватился, что час поздний и матушка, должно быть, обо мне тревожится.

— Пусть кто-нибудь доставит его домой, — обратился он к сыновьям, — не то он еще что-нибудь выкинет! На что Улик, переглянувшись с братом, сказал:

— Мы оба едем провожать Квина.

— Мне не страшны никакие бандиты, — возразил Квин с кривой

усмешкой, мой денщик вооружен, как и я.

— Вы отлично владеете оружием, — сказал Улик, — и никто не сомневается в вашей храбрости. Тем не менее мы с Миком вас проводим.

— Этак вы и к утру не вернетесь, — возразил дядюшка. — До Килвангена, поди, миль десять.

— А мы заночуем у Квина. Да и вообще поживем у него с недельку.

— Премного благодарен, — слабым голосом отозвался Квин. — Очень любезно с вашей стороны.

— Вы без нас соскучитесь, Квин, сами понимаете!

— Ясно, соскучусь, — поддакнул Квин.

— А через недельку, мой мальчик, — продолжал наседать Улик и, пригнувшись к капитану, что-то зашептал ему на ухо, — мне слышались слова "свадьба" и "пастор", и я почувствовал, что кровь опять вскипает в моих жилах.

— Как вам угодно, — промямлил капитан.

Тем временем к крыльцу подвели лошадей, и трое джентльменов ускакали.

Мистер Фэган никуда не уезжал и по дядюшкиной просьбе пошел проводить меня через старый вырубленный парк. Он высказал предположение, что после давешнего скандала я вряд ли захочу встретиться с девицами, с чем я полностью согласился, и мы ушли, ни с кем не простясь.

— Ну и натворили же вы бед, мастер Редмонд, — сказал мне Фэган по дороге. — Вы считаете себя другом семейства Брейди и, зная, как ваш дядюшка стеснен в средствах, стараетесь расстроить брак, который принесет его семейству полторы тысячи годового дохода! Не говоря уж о том, что Квин обещал выплатить долг в четыре тысячи фунтов, особенно беспокоящий вашего дядю. Он берет бесприданницу, да еще с наружностью не лучше, чем вон у той коровы, — ну-ну, не сердитесь, я готов признать ее красавицей, на вкус и цвет товарищей нет, — девицу, известную тем, что за последние десять лет она кому только не вешалась на шею и никого не сумела подцепить. И вы, такой же бедняк, как она, да притом еще пятнадцать... ладно-ладно, раз вы настаиваете, — пусть шестнадцатилетний мальчик, — вы, который должны любить дядюшку, как родного отца...

— А я и люблю его, — буркнул я.

— ...вот как вы благодарите его за доброту! Разве он не приютил вас, когда вы остались сиротой, и разве не отдал вам без, всякой арендной платы ваш превосходный особняк Барривилль? А теперь, чуть дела его

пошли в гору и он может под старость вздохнуть от забот, вы становитесь между ним и его благополучием! И это вы, который особенно ему обязан! Такая черствость и неблагодарность поистине противоречат естеству. От юноши вашей отваги я ожидал больше настоящего мужества.

— Я не боюсь никого на свете, — воскликнул я (сосредоточивая огонь на последнем доводе и выбивая его из капитановых рук, как мы всегда делаем, чувствуя превосходство противника). — И не забывайте, что я здесь пострадавшее лицо. С тех пор как существует мир, не было человека, так обманутого. Видите вы эту ленту? Шесть месяцев я носил ее на сердце, не расставался с ней даже во время болезни. Ибо разве Нора не сняла ее с груди и не отдала мне?! И разве не запечатлела она на моих губах поцелуй и не назвала меня своим милым, милым Редмондом!

— Да она же практиковалась на вас, — отвечал мистер Фэган с сардонической усмешкой. — Я знаю женщин, сэр! Подержите женщину под запором, не пускайте к ней никого, и она заведет роман с трубочистом. В Фермойе я знал молодую особу...

— Молодую особу в любовной горячке, — перебил я (на самом деле я употребил более крепкое выражение). — Попомните мое слово, капитан: к чему бы это ни привело, клянусь, я буду драться с каждым искателем руки Норы Брейди, кто бы он ни был. Я схвачусь с ним в церкви, если придется! Либо я упьюсь его кровью, либо он упьется моей, и тогда эта лента обагрится кровью. Если же я убью его, я приколю этот бант к его груди, и пусть Нора заберет свой талисман. — Я говорил это, не помня себя от волнения, а кроме того, не зря я начитался романов и любовных пьес.

— Что ж, — сказал Фэган, помолчав, — видно, чему быть, того не миновать. Для вашего возраста вы, молодой человек, на редкость кровожадны. Но и Квин шутить с собой не позволит.

— Так вы согласны отправиться к нему от моего имени? — загорелся я.

— Тише! — остановил меня Фэган. — Ваша матушка, верно, все глаза проглядела, высматривая вас. Вот мы и у цели — у Барривилля.

— Ради бога, ни слова матушке, — предупредил я и вошел в дом, распираемый гордостью и возбуждением, в надежде скоро переведаться с ненавистным англичанином.

Вернувшись из церкви, матушка послала за мной слугу Тима; добрая женщина была крайне обеспокоена моим уходом и с нетерпением ждала меня домой. Тим видел, как я направился в столовую по приглашению восторженной горничной; и когда он угостился на кухне всякими разносолами, каких и не видывал у нас дома, то тут же поспешил в

Барривилль доложить госпоже, где я нахожусь, и, конечно, поведал ей по-своему о новейших происшествиях в замке Брейди. Напрасно я намеревался сохранить все в тайне; уже по тому, как матушка обняла меня при моем возвращении и как приняла нашего гостя капитана Фэгана, можно было предположить, что ей все известно.

У бедняжки был крайне взволнованный и встревоженный вид; она испытующе поглядывала на капитана, но ни словом не помянула про размолвку, так как в груди ее билось благородное сердце и она скорее предпочла бы увидеть своего кровного на виселице, нежели бегущим с поля чести. Увы, что стало ныне с этими возвышенными чувствами! Шестдесят лет назад мужчина в старой Ирландии был мужчиной, и шпага, которую он носил на боку, при первом же возникшем недоразумении угрожала жизни любого подвернувшегося ему джентльмена. Но старые добрые времена миновали, а с ними забыты и добрые обычаи. Вы уже не услышите о честном поединке: трусливые пистолеты, сменившие более достойное и мужественное оружие джентльменов, внесли жульничество в благородное искусство дуэли, о каковом падении нравов можно только сокрушаться.

Домой я воротился с сознанием, что я настоящий мужчина; приветствуя капитана Фэгана с прибытием в Барривилль и представляя его матушке с подобающим достоинством и величием, я заметил, что капитан, должно быть, не прочь выпить с дороги, и приказал Тиму не медля принести бутылку бордо с желтой печатью и подать печенье и бокалы.

Тим с удивлением взглянул на свою госпожу; за несколько часов до этого я скорее решил бы поджечь родительский дом, чем потребовать бутылку кларета; я внезапно почувствовал себя взрослым мужчиной, имеющим право распоряжаться; да и матушка почувствовала это; обернувшись к лакею, она сказала грозно:

— Ты что же, бездельник, не слышишь, что велит тебе твой господин? Сейчас же беги за вином, печеньем и бокалами! — И тут же сама (она, конечно, не доверила Тиму ключей от нашего маленького погреба) пошла и достала бутылку, а уж Тим, как полагается, подал нам все на серебряном подносе. Моя дорогая матушка разлила вино и сама выпила за капитаново здоровье; но я видел, как дрожит у ней рука, отдавая эту дань вежливости, и как бутылка дзинь-дзинь! — дребезжит о стекло. Едва пригубив, она выразила желание удалиться к себе, сославшись на головную боль; я испросил у нее благословения, как и подобает послушному сыну (ныне многие хлыщи презрели эти благолепные церемонии, в мое время отличавшие джентльменов), и матушка оставила нас с капитаном Фэганом

вдвоем, чтобы не мешать нам толковать о нашем важном деле.

— Признаться, — начал капитан, — я не вижу другого выхода из этой передраги, как поединок. Собственно, в замке Брейди уже заходил об этом разговор после вашего утреннего нападения на Квина; он клялся, что сделает из вас бифштекс, и, только уступая слезам и просьбам мисс Гонории, скрепя сердце отказался от своего намерения. Сейчас, однако, дело зашло чересчур далеко. Ни один джентльмен на службе его величества не допустит, чтобы ему швыряли в лицо бокалами вина (кстати, у вас отличное вино, Редмонд, с вашего разрешения, мы позвоним, чтобы нам принесли еще бутылку), а получив такой афронт, он обязан смыть его кровью. Словом, вам не избежать драки, а Квин, как вам известно, огромный детина и здоров как бык.

— Тем легче взять его на мушку, — не сдавался я. — Не боюсь я его!

— Охотно вам верю, — ответил капитан. — Для ваших лет — вы забияка хоть куда.

— Взгляните сюда, — сказал я, указывая на шпагу с серебряным эфесом необыкновенно тонкой работы, в ножнах шагреновой кожи, висевшую над камином под миниатюрой, изображающей Гарри Барри, моего отца. — Этим мечом отец сразил Мохока О'Дрискола в Дублине в тысяча семьсот сороковом году; этим же оружием, сэр, он заколол сэра Хаддлстона Фаддлстона, хемпширского баронета, пробив ему шею. Встреча состоялась на пустоши Хаун-слоу, как вы, должно быть, слышали; противники дрались верхами, на шпагах и пистолетах, кстати, вот они (пистолеты висели по обе стороны миниатюры), они верно послужили Лихому Барри. Виноват был отец; после обильных возлияний он оскорбил леди Хаддлстон в Brentfordском собрании, отказался как истый джентльмен принести извинения и, прежде чем взяться за шпагу, прострелил мистеру Хаддлстону тулью шляпы. Я — сын Гарри Барри и намерен поступить, как подобает моему имени и достоинству.

— Поцелуй меня, мой мальчик, — сказал Фэган со слезами на глазах, — ты мне пришелся по сердцу. Пока Джек Фэган жив, ты не будешь нуждаться ни в друге, ни в секунданте!

Бедняга! Спустя полгода, исполняя боевое поручение лорда Сэквилла, он пал под Минденом, сраженный пулей, а я потерял верного друга, — но, так как будущее от нас скрыто, мы провели этот вечер как нельзя лучше. Опорожнив вторую бутылку, а потом и третью (я слышал, как матушка спускалась за каждой в погреб, но не вносила в гостиную и все тот же дворецкий Тим ставил их нам на стол), мы наконец расстались; Фэган обещал еще этим вечером переговорить с секундантом Квина, а утром мне

сообщить, где назначена встреча. Впоследствии я не раз задумывался над тем, как сложилась бы моя судьба, не влюбись я в столь нежном возрасте в Нору и не запусти бокалом в Квина, сделав дуэль неизбежной! Я, может быть, всю жизнь прозябал бы в Ирландии (ибо разве не была мисс Квинлен, жившая в двадцати милях, богатой наследницей, да и дочка Питера Берка в Килвангене разве не унаследовала отцовскую ренту в семьсот фунтов, а ведь я спустя несколько лет мог бы заполучить любую из них). Но, видно, мне было на роду написано стать бездомным странником, — мой поединок с Квином, как вы вскоре услышите, вынудил меня еще в ранней юности оставить родной дом.

Никогда я не спал крепче, чем в эту ночь, что не помешало мне проснуться утром чуть раньше обычного; и, как нетрудно догадаться, прежде всего мелькнула у меня мысль о предстоящем поединке, к которому я чувствовал себя вполне готовым. По счастью, в спальне у меня нашлись чернила и бумага, ибо разве я, одержимый любовью глупец, не кропал вчера чувствительные стишки в честь Норы? Сейчас я снова взялся за перо и настроил две записки, невольно думая, что это, может быть, последние письма, какие мне суждено писать. В первом я обращался к матушке.

"Досточтимая госпожа! — гласило мое письмо. — Сие Вам вручат лишь в том случае, если мне суждено пасть от руки капитана Квина, с коим я сегодня встречаюсь на поле чести, чтобы драться на шпагах и пистолетах. Если я умру, то как образцовый христианин и джентльмен, да и могло ли быть иначе, принимая в разумение, какая мать меня воспитала! Прощаю всех моих врагов и как послушный сын испрашиваю вашего благословения. А также изъявляю желание, чтобы кобыла Нора, подаренная мне дядюшкой и названная в честь самой вероломной представительницы ее пола, была возвращена в замок Брейди, а еще прошу отдать мой кортик с серебряной рукояткою лесничему Филу Пурселу. Передайте мой привет дядюшке и Улику, а также тем из девиц, кто на моей стороне. Остаюсь Ваш послушай сын — Редмонд Барри".

Норе я написал:

"Эта записка будет найдена у меня на груди вместе с подарком, коим Вы меня осчастливили. Он будет обгарен моей кровью (разве что мне удастся спровадить на тот свет капитана



Квина, которого я ненавижу, но прощаю) и послужит для Вас лучшим украшением в день Вашей свадьбы. Носите же его и думайте о бедном юноше, которому Вы его подарили и который умер за Вас (как готов был умереть ежечасно). — Редмонд".

Написав эти послания и запечатав большой отцовской серебряной печатью с гербом дома Барри, я спустился вниз к завтраку, где матушка, разумеется, меня ожидала. Мы не обменялись ни словом о предстоящей мне встрече, напротив, болтали о том, о сем, тщательно обходя предмет, главным образом занимавший наши мысли; говорили о тех, кого она видела вчера в церкви, и что пора уже мне обзавестись новым платьем — из старого я окончательно вырос. Матушка обещала к будущей зиме сшить мне новое, если... если... это окажется ей по средствам. Я видел, как она запнулась на словечке "если", — да благословит ее бог! — и угадывал, что у нее на душе. И она рассказала мне, что решила заколоть черную свинью и что сегодня попало ей гнездо рябой несушки, яйца которой мне особенно по вкусу, и еще многое другое в том же роде. Несколько таких яиц было сварено к завтраку, я уплетел их с отменным аппетитом. Набирая соли, я нечаянно опрокинул солонку, и у матушки невольно вырвалось с криком: "Слава богу, соль просыпалась в мою сторону!" После чего, не справившись с душившим ее волнением, она бросилась вон из комнаты. Бедные матери! У каждой из них свои слабости, и все же ни одна женщина с ними не сравнится!

Как только она вышла, я снял с гвоздя шпагу, ту самую, которой батюшка сразил хемпширского баронета, — и, поверите ли! — увидел, что отважная женщина привязала к ее эфесу новую ленту: поистине, бесстрашие львицы сочеталось в ней с храбростью Брейди. Затем достал пистолеты, как всегда хорошо вычищенные и смазанные, и только сменил в них кремни да приготовил пули и порох. На буфете ждала капитана холодная курица и бутылка кларета, а также оплетенная бутылка старого коньяка с двумя бокальчиками на серебряном подносе, украшенном нашим гербом. Впоследствии, когда я достиг вершин благополучия и купался в богатстве и роскоши, лондонский ювелир, в свое время продавший поднос батюшке в долг, сорвал с меня тридцать пять гиней да почти столько же в счет выросших процентов. Негодяй же закладчик дал мне за него шестнадцать гиней: у этих канальских торговцев нет ни совести, ни чести!

В одиннадцать прискакал капитан Фэган в сопровождении драгуна. Отдав должное матушкину угощению, капитан принялся меня уговаривать:

— Послушай, Редмонд, мой мальчик! Пустое ты затеял. Эта девушка

все равно выйдет за Квина, попомни мое слово! И ты столь же быстро ее забудешь, ведь ты еще цыпленок. Квин согласился посчитать тебя за мальчишку. Дублин чудесный город, и, если ты не прочь туда прокатиться и провести там месяцок, вот тебе двадцать гиней в полное твое распоряжение. Извинись перед Квином и поезжай с богом!

— Человек чести, — возразил я, — скорее умрет, чем попросит прощения! Я извинюсь перед Квином, когда он будет болтаться на виселице.

— Тогда вам ничего не остается, как стать к барьеру!

— Лошадь моя оседлана, — отозвался я, — все готово. Скажите, капитан, где назначена встреча и кто секундант противной стороны?

— С Квином поедут твои кузены, — отвечал Фэган.

— Я позвоню груму и прикажу подать мне лошадь, как только вы малость передохнете, капитан.

Я послал Тима за Норой и тут же ускакал, так и не простившись с миссис Барри. Занавески в ее спальне были приспущены, и ни одна из них не дрогнула, пока мы садились на коней и выезжали со двора... Зато два часа спустя надо было видеть, как она, еле держась на ногах, скатилась с лестницы; надо было слышать, с каким криком она прижала к сердцу ненаглядного сыночка, который воротился к ней без единой царапины, цел и невредим.

Но расскажу по порядку. Когда мы прискакали на условное место, Улик, Мик и капитан уже дожидались нас. Квин в своем пламенеющем гренадерском мундире показался мне исполином. Вся компания хохотала над чьей-то шуткой, и смех моих кузенов резнул меня по сердцу: вот вам и родственники! Ведь им, возможно, предстояло стать свидетелями моей смерти.

— Надеюсь вскорости испортить им настроение, — сказал я капитану Фэгану, едва сдерживая ярость. — Посмотрим, что они запоют, когда я своей шпагой проткну эту мерзкую тушу!

— Ну уж нет, драться будете на пистолетах, — ответил мистер Фэган. Куда тебе со шпагой против Квина!

— Я против кого угодно выйду со шпагой! — отвечал я.

— Нет, нет, ни о какой шпаге и речи не может быть. Квин захромал, он вчера вечером зашиб ногу. Ударился коленом о ворота парка, когда в темноте возвращался домой. Он и сейчас ее волочит.

— Тогда он зашиб ее не в воротах замка Брейди, — не сдавался я. — Их уже лет десять, как сняли с петель.

На что Фэган сказал, что, значит, он зашиб ее в других воротах, и все

сказанное мне повторил затем мистеру Квину и моим кузенам, когда мы спешили и, присоединившись к этим господам, приветствовали их.

— Как же, нога у него что твоя колода, — подтвердил Улик, пожимая мне руку, меж тем как капитан Квин снял кивер и густо покраснел. — Тебе еще повезло, Редмонд, мой мальчик, — продолжал Улик. — Плохи были бы твои дела; ведь это же сущий дьявол, верно, Фэган?

— Форменный турок, секим-башка, — отвечал Фэган. — Я еще не видел человека, который устоял бы против капитана Квина.

— Кончайте волынку! — сказал Улик. — Мне это осточертело. Стыдно, господа! Скажи, что сожалеешь, Редмонд, ну что тебе стоит?

— Если молодой человек согласен отправиться в Дублин, как предполагалось... — вставил Квин.

— Черта с два я сожалею! Черта с два стану просить прощения! А уж что до Дублина, то скорей я отправлюсь в...! — воскликнул я, топнув ногой.

— Ничего не попишешь! — сказал, смеясь, Улик. — Давайте, Фэган, приступим. Я полагаю, двенадцати шагов хватит?

— Десять, и самых маленьких, — гаркнул мистер Квин, — вы слышите меня, капитан Фэган?

— Не хорохорьтесь, мистер Квин, — сердито огрызнулся на него Улик. — А вот и пистолеты! — И, обратившись ко мне, чуть дрогнувшим голосом добавил: Да благословит тебя бог, малыш! Стреляй сразу, как только я скамандую "три!".

Мистер Фэган вручил мне пистолет, но не из моих, — мои остались в запасе, — на случай повторного обмена выстрелами, эти же принадлежали Улику.

— Они в порядке, — сказал он. — Смотри же, Редмонд, не робей, да целься ему в шею, пониже кадыка. Видишь, как болван раскрылся!

Мик, за все время не сказавший ни слова, Улик и капитан перешли на другую сторону, и Улик подал сигнал. Он считал медленно, и у меня вполне достало времени навести пистолет. Я заметил, что лицо Квина покрылось бледностью и что он дрожит, слушая команду. На счете "три" оба пистолета выстрелили. Что-то прожужжало мимо моего уха, и я увидел, как мой противник со страшным стоном зашатался и рухнул навзничь.

— Упал, упал! — вскричали оба секунданта, бросившись к нему. Улик поднял его с земли, Мик сзади поддерживал голову.

— Ранен в шею! — констатировал Мик. Расстегнув воротник мундира, он обнаружил то место пониже адамова яблока, куда я целился и откуда теперь, булькая, вытекала кровь.

— Что с вами? — допытывался Улик. — Неужто в самом деле ранен? растерянно пробормотал он, словно глазам своим не веря.

Несчастный не откликнулся, но чуть Улик отвел руку, как он опять с глухим стоном повалился навзничь.

— Недурное начало для малыша! — проворчал Мик, грозно на меня пялясь. Тебе бы лучше убраться, юный сэръ, пока не всполошилась полиция. Когда мы уезжали из Килвангена, там уже что-то пронюхали.

— Он в самом деле умер? — спросил я.

— Можешь не сомневаться, — ответил Мик.

— Что ж, одним трусом на свете меньше, — сказал капитан Фэган, презрительно пиная сапогом простертое на земле грузное тело. — Его песенка спета, Редди, он не шевелится.

— Кто бы он ни был, мы не трусы, Фэган! — резко отозвался Улик. Давайте спровадим мальчишку как можно скорее. Пошлите вестового за телегой, надо увезти труп несчастного джентльмена. Для нашего семейства, Редмонд Барри, это поистине черный день: ты отнял у нас тысячу пятисот годовых.

— Спрашивайте их не с меня, а с Норы! — отрезал я. И, достав из жилетного кармана ленту — ее подарок, а также письмо, я и то и другое швырнул на труп капитана Квина. — Вот! — сказал я. — Отдайте ей эту ленту. Она поймет. Это все, что осталось ей от двух возлюбленных, которых она сгубила.

Несмотря на мою молодость, бездыханное тело врага не внушало мне ни ужаса, ни отвращения. Ведь я знал, что сразил его в честном бою, как и подобает человеку моего имени и происхождения.

— А теперь, ради бога, уберите мальчишку! — взмолился Мик.

Улик вызвался меня проводить, и мы понеслись во весь опор, ни разу не дав коням повода, пока не доскакали до дому. Как только мы спешились, Улик приказал Тиму хорошенько покормить мою кобылу, так как мне еще предстоит дальний путь, — а уже в следующее мгновение бедная матушка сжимала меня в своих объятиях.

Надо ли описывать, с какой гордостью и ликованием слушала она рассказ Улика о том, как мужественно я вел себя на поединке. Однако Улик настаивал, что мне следует на время скрыться. Было решено, что я на ближайшее будущее откажусь от имени Барри и, назвавшись Редмондом, отправлюсь в Дублин, чтобы там переждать, пока все это не порастет быльем. Матушка сначала противилась такому решению. Почему в Барривилле я в меньшей безопасности, чем мои кузены — да тот же Улик — в замке Брейди? Ведь ни один судебный пристав, ни один кредитор к

ним и близко не подступится! Но с таким же успехом могу и я отсидеться от констеблей в нашем Барривилле! Однако Улик настаивал на моем немедленном отъезде; я поддерживал его, сознаюсь, главным образом потому, что мне не терпелось увидеть свет; в конце концов матушка вынуждена была признать, что в нашем домишке, стоящем в самом центре деревни и охраняемом всего лишь двумя слугами, укрыться невозможно, и добрая душа уступила настояниям моего кузена, после того как он уверил ее, что дело это можно будет скоро замять и я вновь к ней вернусь. Увы! Он понятия не имел, какие каверзы готовит мне судьба!

Чуяло, видно, материнское сердце, что нам предстоит долгая разлука; матушка рассказала мне, что всю эту ночь гадала на картах, чем грозит мне дуэль, и все предвещало близкую разлуку. Достав из секретера заветный чулок, добрая душа сунула в мой кошель двадцать гиней (у нее всего-то их было двадцать пять) и собрала мне дорожную сумку, которая прикреплялась сзади к седлу. Туда она сложила мое платье, белье и батюшкин серебряный несессер. Она также велела мне оставить у себя шпагу и пистолеты, которыми я сумел распорядиться как мужчина. Теперь уже она торопила меня с отъездом (хотя сердце ее, я знаю, разрывалось от горя), и чуть ли не через полчаса после возвращения домой я снова тронулся в путь, и передо мною и в самом деле открылся широкий мир. Стоит ли описывать, как Тим и преданная кухарка рыдали, провожая меня в дорогу, — боюсь, что и у меня навернулись слезы; но какой же юноша шестнадцати лет станет долго горевать, вырвавшись впервые на свободу и зная, что в кармане у него позвякивают двадцать гиней; я ускакал, размышляя, признаться, не столько о любезной матушке, которую оставлял в полном одиночестве, и не о родном доме, где прошла моя юность, сколько о чудесах, которые мне принесет неведомое завтра.

## Глава III

# Я неудачно начинаю знакомство с высшим светом

В тот же вечер добрался я до Карлоу и заехал в лучшую гостиницу. На вопрос хозяина, кто я и куда держу путь, я отвечал, следуя наставлениям кузена, что я из уотерфордских Редмондов, а направляюсь в колледж Святой Троицы в Дублине, где намерен пройти курс наук. Увидев по моей наружности, шпаге с серебряным эфесом и плотно набитой сумке, с кем он имеет дело, хозяин сам, без спросу, прислал мне наверх кувшин кларета и, разумеется, не обидел себя, составляя счет. В те благословенные дни ни один порядочный джентльмен не ложился в постель без доброй порции подобного снотворного, а так как в день своего первого выхода в свет я решил разыграть бывалого джентльмена, то, уж будьте уверены, в совершенстве исполнил эту роль. Волнующие события истекшего дня, мой отъезд из дому и поединок с Квином и без того затуманили мне голову, а винные пары довершили дело. Но не думайте, что во сне мерещилась мне смерть капитана Квина, как это наверняка было бы с каким-нибудь слабонервным мозгляком! Нет, я не таков! Никогда после честного поединка не знал я дурацких угрызений совести, но прежде всего принимал в соображение, что, раз человек в отважном бою рискует головой, он должен быть последним дураком, чтобы стыдиться своей победы. Итак, в Карлоу я спал сном праведника; выпил за завтраком порядочную кружку легкого пивца и закусил его тостом, а разменяв свой первый золотой, дабы заплатить по счету, не забыл раздать слугам щедрые чаевые, как оно и полагается истинному джентльмену. Так начал я первый день своей самостоятельной жизни и в таком же духе продолжал и дальше. Ни один человек не попадал в такие переделки, как я, ни один не испытал такой щемящей бедности и тяжких лишений; но всякий вам скажет, что, покуда имелся у меня золотой, я тратил его с щедростью лорда. В будущем своем я нимало не сомневался, уверенный, что человек такой внешности, таких дарований и такой храбрости везде пробьет себе дорогу. К тому же в кармане у меня звенели двадцать гиней, — этих денег, по моим расчетам (весьма ошибочным, как оказалось), должно было хватить месяца на четыре, а тем временем судьба позаботится о моем благосостоянии. Итак, я продолжал свой путь, напевая про себя или беседуя со случайными

прохожими, и встречные девушки, завидев меня, ахали от восторга — что за душка джентльмен! Что до Норы из замка Брейди, все это отодвинулось куда-то вдаль, точно между вчера и позавчера пролегло по меньшей мере десятилетие. Я поклялся, что, только достигнув величия, вернусь в родные края, и, как вы увидите из дальнейшего сдержал слово.

Б ту пору на королевской столбовой дороге царило куда большее оживление, чем наблюдается сейчас, во времена почтовых карет, которые за несколько десятков часов доставляют вас из одного конца королевства в другой. Дворяне путешествовали на собственных конях или в собственных экипажах и проводили по три дня в пути, который нынче занимает не больше десяти часов. Таким образом, у путника, направляющегося в Дублин, не было недостатка в приятном обществе. Часть дороги из Карлоу в Наас я проделал в обществе вооруженного джентльмена в зеленом с позументом кафтане и с нашлапкой на глазу, скакавшего из Килкенни на кряжистой кобыле. Мой попутчик задал мне обычные вопросы: куда я еду и как мамаша не побоялась отпустить свое дитяtko без призора, — ведь на дорогах, слышно, пошаливают. На что я, выхватив из кобуры пистолет, ответил, что у меня с собой надежное оружие, оно уже сослужило мне верную службу и при случае опять меня выручит; но тут показался какой-то конопатый малый, и, пришпорив гнедую кобылу, мой попутчик пустился вскачь. Догонять его я не стал, моя лошадь была слабее, и я щадил ее, мне хотелось еще этим вечером добраться до Дублина и, по возможности, в пристойном виде.

Подъезжая к Килкуллену, я увидел толпу поселян, окруживших одноконный портшез, а в полумиле от нее, взбираясь на косогор, улепетывал как будто мой давешний приятель в зеленом кафтане. Выездной лакей, надсаживаясь, орал: "Держи вора!" Но никто не трогался с места: стоявшее кругом мужичье только смеялось его испугу и наперебой подшучивало над забавным дорожным приключением.

— Что же ты не шугнул его своей хлопушкой? — говорил один.

— Эх ты, трус! — корил лакея другой. — Сплоховал перед капитаном! Даром что он одноглазый!

— Вперед, как твоя миледи соберется куда ехать, пусть лучше тебя дома оставит, — советовал третий.

— Эй, любезные, что здесь за шум? — поинтересовался я, въезжая в толпу, но, увидев, что дама, сидящая в портшезе, смертельно бледна и напугана, хорошенько щелкнул плетью, заставив грубиянов отойти подальше. — Что случилось, сударыня, отчего вы в таком расстройстве? — спросил я, сорвав с головы шляпу и осадив кобылу у самого окошка

портшеза.

Дама сообщила мне, что она жена капитана Фицсаймонса и направляется в Дублин к мужу. На ее портшез напал грабитель, и хоть этот дубина, ее слуга, вооружен до зубов, он сразу же запросил пардону; когда грабитель их остановил, в поле рядом работало человек тридцать поселян, но ни один не бросился на помощь, — мало того, эти изверги называли его "капитаном" и желали ему удачи.

— Что ж, это свой брат, бедняк, — сказал один из крестьян, — мы и желаем ему удачи!

— Наше дело сторона, — сказал другой. А третий пояснил, ухмыляясь, что это небезызвестный капитан Френи. Два дня назад он в Килкенни откупился от выездного суда присяжных, тут же у ворот тюрьмы сел на свою лошадь и уже на другой день ограбил двух судейских, объезжавших округу.

Я приказал этим канальям вернуться к своей работе, если они не хотят познакомиться с плетью, и принялся, как только мог, утешать миссис Фицсаймонс в постигшем ее несчастье. Много ли она потеряла? Все решительно! Злодей взял у нее кошелек, где лежало больше сотни гиней, а также драгоценности, табакерки, часы, и две алмазные пряжки от башмаков капитана, ее мужа. Я от души посочувствовал ей и, заключив по выговору, что передо мной англичанка, посетовал на огромное различие между обеими странами, заметив, что у нас дома (имея в виду Англию) такие ужасы просто невозможны.

— Как, стало быть, и вы англичанин? — воскликнула она в крайнем удивлении. На что я ответил, что да, я англичанин и горжусь этим — я и вправду гордился; и я не встречал ни одного добропорядочного ирландского тори, который не желал бы сказать того же о себе.

Я сопровождал портшез миссис Фицсаймонс до самого Нааса и, поскольку грабитель забрал у нее кошелек, испросил разрешения ссудить ей несколько золотых, чтобы у нее было чем расплатиться в гостинице. Она милостиво взяла деньги и была так добра, что пригласила меня пообедать. На вопросы миссис Фицсаймонс о моем происхождении и моей родне я сообщил, что я молодой человек со средствами (я говорил неправду, но кто же станет хулить свой товар? Моя добрая матушка обучила меня с младых ногтей этой житейской мудрости), что происхожу я из хорошей семьи в Уотерфордском графстве, а еду в Дублин учиться наукам, на что матушка ассигновала мне пятьсот фунтов в год. Миссис Фицсаймонс тоже оказалась общительной собеседницей. Она дочь генерала Грэнби Сомерсета из Вустершира, чье имя мне, конечно, знакомо (оно было мне незнакомо, но у



меня хватило учтивости об этом умолчать); замуж она вышла, признаться, против воли отца, ее муж, капитан Фицджеральд Фицсаймонс тайно увез ее. Бывал ли я когда-нибудь в Донеголе? Нет? Какая жалость! У капитанова отца там сто тысяч акров земли, а такого замка, как Фицсаймонсбург, не найдешь во всей Ирландии. Капитан Фицсаймонс — старший сын, и хоть он и в ссоре с отцом, со временем унаследует огромное состояние. Она без конца описывала дублинские балы, банкеты в Замке, скачки в Феникс-парке, а также светские собрания и рауты — не мудрено, что я развесил уши и только и думал, как бы и мне приобщиться к этой веселой жизни; но с грустью говорил себе, что мои щекотливые обстоятельства требуют особой осторожности и возбраняют мне представляться ко двору, коего чета Фицсаймонсов была лучшим украшением. Я невольно восхищался этими непринужденными излияниями, сравнивая их с глупейшей трескотней вульгарных захолустных девчонок в Килвангенских собраниях. Моя спутница чуть ли не на каждом слове поминала какого-нибудь лорда или другую почтенную особу и, видимо, свободно говорила по-французски и итальянски, — тут и я не преминул ввернуть, что немного изъясняюсь по-французски. Что до ее английского произношения, то я, по правде сказать, был плохим судьей, ведь это была первая настоящая англичанка, какую мне довелось встретить. Она советовала мне остерегаться случайных знакомств в Дублине, где, по ее словам, до пропасти жуликов и проходимцев, понаехавших из разных стран; когда же мы познакомились короче (а это произошло за десертом), она даже, к великой моей радости и благодарности, предложила мне поселиться у них на квартире, где Фицсаймонс, по ее словам, с распростертыми объятиями примет ее храброго юного спасителя.

— Полноте, сударыня, — пытался я возразить. — Что ж я, собственно, спас? — И это была чистейшая правда, я появился слишком поздно и не мог помешать грабителю распорядиться ее деньгами и жемчугами.

— А ведь сказать по чести, не так уж он много и взял, — вмешался ее обормот слуга, который испугался грабителя, а теперь исправно прислуживал нам за столом. — Разве он не вернул вам тринадцать пенсов медью, да и часы сказал, что они томпаковые?

В ответ госпожа назвала его дерзким мошенником и приказала сию же минуту убираться вон. Когда же он повиновался, объяснила мне: этому дуралею, мол, и невдомек, что такое ассигнация в сто фунтов, которую Френи забрал у нее вместе с кошельком,

Будь я богаче житейским опытом, я, пожалуй, догадался бы, что мадам Фицсаймонс отнюдь не дама из общества, за каковую она себя выдает;

желторотый новичок, я верил каждому ее слову и, когда хозяин явился со счетом, с видом лорда уплатил за обед. Она, кстати, и попытки не сделала достать один из золотых, которые я ей одолжил. Итак, мы не спеша проследовали дальше в Дублин, куда и прибыли с наступлением вечера. Грохот нарядных экипажей, сияние факельных огней, великолепие многочисленных зданий ошеломили меня, хоть я и старался ничем этого не выдать, памятуя уроки милой матушки, учившей меня, что светский человек не должен ничему удивляться, будь то дом, экипаж или эlegantное общество, дабы показать, что он и не то еще видал у себя дома.

Мы остановились у неприглядного строения и вступили в прихожую, которая опрятностью не могла сравниться с нашими сенями в Барривилле и где густо носились запахи ужина и пунша. Багровый с лица толстяк, без парика, в изрядно заношенной ночной рубаше и колпаке выбежал к нам из гостиной и обнял супругу (ибо это был капитан Фицсаймонс) с величайшей нежностью. Увидев же, что она явилась в сопровождении молодого человека, он обнял ее с еще большим жаром. Представляя меня супругу, миссис Фицсаймонс опять назвала меня своим спасителем и так расхвалила мое мужество, как будто я по меньшей мере прикончил Френи, а не поспел к шапочному разбору. Капитан сказал, что прекрасно знает уотерфордских Редмондов. Услышав это, я малость струхнул, так как понятия не имел, что это за семья. Однако не растерялся и тут же огорошил его вопросом, каких, собственно, Редмондов он имеет в виду, ибо мне лично ни разу не довелось слышать от домашних его имя. На что он ответил, что знает Редмондов из Редмондстауна. "Тогда все понятно, успокоился я. — Я происхожу от Редмондов из замка Редмонд". Таким образом, я успешно сбил его со следа. Затем я сдал свою кобылу на ближайшую конюшню вместе с портшезом и лошадью капитана, после чего вернулся к моему гостеприимному хозяину.

Хотя на столе стояла разбитая тарелка с остатками бараньих отбивных и жареного лука, капитан сказал супруге:

— Душа моя, как жаль, я не ждал тебя сегодня, и мы с Бобом Мориерти только что прикончили изумительный олений паштет, — лорд-наместник прислал мне его вместе с бутылкой шампанского из собственных погребов. Тебе, конечно, знакомо его шампанское, дорогая? Но что было, то сплыло, не стоит горевать! А что бы ты сказала насчет порядочного омара и бутылки кларета, самого лучшего, какой найдется в Ирландии? Бетти, уберите со стола, мы как следует угостим вашу госпожу и нашего юного друга.

За отсутствием разменных денег, мистер Фицсаймонс вознамерился занять у меня десять пенсов на покупку означенного блюда омаров, но тут

его супруга, выложив одну из моих гиней, приказала служанке разменять ее и закупить все необходимое для ужина, что та и сделала, однако сдачи принесла самую малость, заявив, что остальное рыботорговец удержал в счет старого долга.

— Экая дурища, прости господи! — заорал на нее мистер Фицсаймонс. Ведь придет же в голову — сует торговцу золотой!

Я уж не припомню, сколько сотен фунтов мистер Фицсаймонс, по его словам, за последний год переплатил этому мошеннику.

Наш ужин был сдобрен не столько изысканными манерами, сколько обильными рассказами о высоких особах, с коими капитан, по его словам, был на короткой дружеской ноге. Я тоже не остался в долгу и с уверенностью владетельного герцога поведал о моих имениях и прочем состоянии. Я изложил все анекдоты из жизни высшего общества, известные мне по рассказам матушки, присочинив немало от себя. Уже то, что мой хозяин не уличил меня во множестве ошибок и противоречий, должно было сказать мне, что он такой же обманщик, как и я. Но такова чистосердечная юность. Прошло немало времени, прежде чем я разобрался, что в лице капитана Фицсаймонса и его супруги я обрел не слишком лестное знакомство, — напротив, укладываясь спать, я поздравил себя с великой удачей — в самом начале моих приключений встретиться с такой достойной четой!

Правда, отведенная мне комната ясно говорила, что наследник замка Фицсаймонсбург в графстве Донегол все еще в немилости у своих богатых родичей; окажись на моем месте юноша-англичанин, он бы сразу заподозрил неладное. Как читателю известно, люди у нас, в Ирландии, более терпимы к беспорядку, чем жители этой педантичной страны, вот почему запущенность моей спальни не слишком меня поразила. Ибо разве в замке Брейди, в великолепных апартаментах моего дядюшки, имелось хотя бы одно окно, не заткнутое тряпьем? И разве хотя бы одна дверь там запиралась? Где не хватало замка, где щеколды или засова, а где утерян был ключ. И пусть моя новая спальня могла похвалиться всеми этими неудобствами, да и многими другими в придачу; пусть покрывалом на моей постели служило засаленное парчовое платье самой хозяйки, а туалетное зеркало дало трещину и не превышало размерами полукроны, это меня ничуть не смутило. Я привык к таким порядкам в ирландских домах и по-прежнему воображал себя в гостях у людей светских. Ящики комода не запирались, когда же мне удалось их открыть, они оказались доверху забиты личными вещами моей хозяйки, такими, как банки с румянами, стоптанные башмаки, корсеты и всевозможные женские тряпки, вследствие

чего я не стал разбирать свою сумку и только водрузил на рваную скатерть комода батюшкин серебряный несессер, где он и засверкал на диво.

Утром ко мне явился Сулливен и на мой вопрос, как там моя лошадь, доложил, что она в полном порядке. Тогда я громко и решительно распорядился насчет горячей воды для бритья.

— Это вам-то горячей воды для бритья? — переспросил он, раздражаясь смехом (и, признаться, не без оснований). — Уж не вы ли затеяли бриться? А может, принести вам заодно и кошку, как раз ее и побреете?

В ответ на такую наглость я запустил сапогом в голову болвана и вскоре уже сидел с моими друзьями за завтраком в гостиной. Здесь меня ждал сердечный прием и вчерашняя скатерть: я узнал ее по жирному пятну от блюда с тушеной бараниной и по отпечатку кувшина с портером, оставшимся от вчерашнего ужина.

Хозяин дома встретил меня весьма сердечно, а миссис Фицсаймонс уверяла, что такому франту не стыдно показаться и в Феникс-парке; и действительно, могу сказать, не хвалясь, в Дублине той поры немало молодых людей глядело рядом со мной замухрышками. Правда, не было еще у меня той мужественной осанки и атлетического сложения, коими я гордился впоследствии (кто бы сказал это сейчас, глядя на мои искривленные подагрой ноги и узловатые пальцы, — впрочем, такова наша общая участь!); но я уже в ту пору достиг своего нынешнего роста в шесть футов, а мои убранные под пряжку волосы, рубашка с жабо из тончайших кружев и такими же манжетами и красный плисовый камзол придавали мне вид настоящего джентльмена, каким я и был по рождению. Слов нет, мой светло-коричневый кафтан с пуговицами из накладного серебра тянул в плечах, и я обрадовался предложению капитана Фицсаймонса заказать у его портного новый, более отвечающий моему росту и сложению.

— Не стану спрашивать, показалась ли вам удобной кровать, — заметил сей джентльмен мимоходом. — Юный Фред Пимплтон (второй сын лорда Пимплтона) спал на ней семь месяцев, пока у меня гостил, а уж если он остался доволен, я думаю, она каждому должна понравиться.

После завтрака отправились мы осматривать город, и мистер Фицсаймонс представлял меня друзьям, коих немало попадалось нам навстречу, как мистера Редмонда из Уотерфордского графства, своего лучшего молодого друга, он также познакомил меня со своим шапочником и портным, отнесясь обо мне как о состоятельном молодом человеке с блестящим будущим; и хоть я предупредил последнего, что я не при деньгах и мне требуется всего один кафтан, да только бы сидел как влитой,

он обещал изготовить несколько, и я не решился его огорчить отказом. Капитан, чей гардероб тоже нуждался в освежении, выбрал себе из готового платья щегольской военной мундир и приказал доставить его на дом.

Потом мы воротились к миссис Фицсаймонс и последовали за ее портшезом в Феникс-парк, где в этот день был военный смотр и где вокруг нее все время толпилась золотая молодежь. Она рекомендовала меня каждому как своего вчерашнего спасителя. Да и во всем прочем миссис Фицсаймонс расточала мне такие комплименты, что спустя полчаса меня уже считали отпрыском самой могущественной фамилии в Ирландии, связанным родственными узами со знатнейшими домами страны, кузеном капитана Фицсаймонса и наследником ренты в десять тысяч фунтов. Фицсаймонс заверял, что исколесил каждый дюйм моих владений. Поскольку это говорилось от чистого сердца, я не стал ему перечить и был даже польщен (таковы заблуждения юности), что мне уделяют столько внимания и принимают меня за важную персону. В то время я над подозревал, что связался с шайкой обманщиков, что капитан Фицсаймонс — откровенный искатель приключений, а его супруга — женщина сомнительной репутации, но таковы опасности, угрожающие юности: пусть же мой пример послужит остережением для других молодых людей.

Я умышленно не задерживаюсь на описании этой поры моей жизни; события ее малоприятны и представляют интерес разве лишь для моей злополучной особы, так как люди, среди которых я вращался, были отнюдь не подходящей для меня компанией. Молодому человеку трудно было попасть в худшее общество, нежели то, в каком оказался я. С тех пор мне пришлось побывать в Донеголе, но я так и не видел там знаменитого замка Фицсаймонсбурга, и даже старожилы этих мест никогда о таком не слышали; равным образом, в Хемпширском графстве никто не знал семейства Грэнби Сомерсетов. Парочка, в чьи руки я угодил, представляла в то время куда более распространенное явление, нежели сейчас, так как последовавшие вскорости непрерывные войны затруднили покупку офицерских патентов лакеям и всякого рода прихлебателям знати; ибо именно таково было общественное положение, с которого капитан Фицсаймонс начал свое продвижение в свете. Знай я это, я бы скорее умер, чем стал с ним якшаться. Но в ту пору легковерной юности я принимал его рассказы за чистую монету и считал себя счастливым оттого, что с первых же шагов попал в такое почтенное семейство. Увы! Все мы лишь игрушки рока! Стоит мне вспомнить, на каких ничтожных случайностях зиждутся важнейшие события моей жизни, как я прихожу к заключению,

что был лишь пешкою в руках судьбы, которая сыграла со мной не одну диковинную шутку.

Капитан вышел из лакеев, да и подруга его принадлежала к тому же племени. Общество, где вращалась достойная чета, состояло из весьма разношерстной братии, так как супруги держали стол для приходящей публики, для всех, кто был готов у них пообедать за достаточно умеренную плату. Закусив, садились, разумеется, за карты, причем игра велась не из любви к искусству. Кто только не бывал здесь: юные гуляки из расквартированных в Дублине частей; молодые чиновники из Замка; любители скачек и<sup>^</sup> ночных пирушек; буяны и скандалисты — гроза ночной стражи, словом, всякого рода праздношатающиеся из числа городских шалопаев, которых особенно много водилось в то время в Дублине, несравненно больше, чем в любом другом европейском городе, куда заносила меня судьба. Я нигде больше не встречал повес, которые жили бы так широко на столь скудные средства. Я нигде больше не встречал молодых джентльменов с таким, я бы сказал, призванием к праздной жизни; если англичанин, имея ежегодный доход в пятьдесят гиней, живет как бедняк и трудится в поте лица, то молодой ирландский щеголь при таком же капитале держит собственных лошадей, кутит; напропалую и откровенно бьет баклуши что твой лорд. Здесь вы увидите врача, который в жизни не пользовался ни одного больного, и под пару ему адвоката, не имеющего ни одного клиента: у обоих ни гроша за душою, но и тот и другой гарцует по парку на отличнейшей лошади и щеголяет в платье от лучшего портного. Прибавьте к этому весельчака священника без прихода, нескольких владельцев винных погребков, потребляющих больше вина, чем доводится им продавать или хранить в своих подвалах, и других подобных прожигателей жизни, и вы получите! представление о том, какие люди вращались в доме, куда я имел несчастье попасть. Знакомство с подобным обществом не сулило ничего хорошего (я умалчиваю о женщинах, они были в своем роде не лучше мужчин), и я в самом коротком времени испытал это на себе.

Что до моих несчастных двадцати гиней, не прошло и трех дней, как я с ужасом увидел, что они куда-то испарились: осталось только восемь — театры и таверны порядком облегчили мой кошелек. Сколько-то гиней я еще, правда, продул в карты; но, видя, что все вокруг играют на мелок и только обмениваются векселями, я, разумеется, чем платить наличными, предпочел этот удобный способ расчета и неизменно придерживался его при проигрыше.

Так же поступал я с портными, шорниками и прочими поставщиками.

Рекомендация мистера Фицсаймонса пришлась мне как нельзя более кстати; приняв на веру его утверждение, будто у меня денег куры не клюют (впоследствии я слышал, что негодяй обобрал не одного состоятельного юношу), они некоторое время отпускали мне в долг все, чего бы я ни пожелал. Когда мой кошелек истощился, пришлось заложить кое-что из платья, которым снабдил меня портной: не расставаться же, в самом деле с лошадыю, — я ежедневно ездил на ней в парк, к тому же она была мне дорога как память о моем почтенном дядюшке. Я также выручил немало денег за безделушки, купленные у ювелира, — он прямо-таки навязал мне кредит; все это дало мне возможность еще какое-то время играть роль богатого и независимого шалопаю.

Я то и дело спрашивал на почте писем для мистера Редмонда, но таковых не оказывалось, и каждый раз, услышав "нет", вздыхал свободнее. Мне вовсе не хотелось признаваться матушке, какую расточительную жизнь я веду в Дублине. Но долго это не могло продолжаться; вконец издержавшись, я опять зашел к портному дать ему новый заказ, но мошенник все что-то мямлил и мялся и наконец самым наглým образом потребовал уплаты по старому счету, на что я ответил, что отныне ноги моей не будет в его мастерской, и в сердцах хлопнул дверью. Ювелир (живодер-еврей) тоже отказался продать приглянувшуюся мне золотую цепочку, и это впервые привело меня в смущенье. А тут еще молодой джентльмен, завсегда́тай Фицсаймонсов, ко́ему я выдал долговую расписку на восемнадцать фунтов (проиграв их ему в пикет), сплавил ее содержателю конюшен мистеру Курбину в счет уплаты долга. Вообразите же мое негодование, когда этот маклак отказался выпустить из конюшни мою лошадь до тех пор, пока я не очищу долг. Напрасно я предлагал ему четыре векселя на выбор, благо они были у меня с собой, один Фицсаймонса — на двадцать фунтов, другой адвоката Мюллигена и так далее; старый йоркширец только качал головой и смеялся, на них глядя, и наконец сказал:

— Послушайте, мастер Редмонд, вы, кажется, молодой человек из почтенной, состоятельной семьи, дозвоьте же шепнуть вам на ушко, что вы попали в дурное общество, проще сказать — в шайку жуликов. Молодому джентльмену вашего положения негоже якшаться с этой бандой. Возвращайтесь восвояси! Соберите свои вещички, уплатите мне эту мелочь, садитесь на свою лошадь, да и поезжайте домой к папаше и мамаше, — это самый лучший для вас выход.

Нечего сказать, в хорошенькую компанию я угодил! Да это же разбойничий вертеп! А тут еще все несчастья, казалось, сговорились

обрушиться на меня сразу; ибо, воротившись домой и поднявшись наверх в крайнем унынии, я увидел перед собой капитана и его супругу: оба они стояли перед моей порожней сумкой, все мои пожитки валялись на полу, и этот гадина Фицсаймонс размахивал моими ключами.

— Кого я приютил в своем доме? — заорал он, увидев меня на пороге. Кто же ты таков, бродяга?

— Бродяга? Ошибаетесь, сэр! — отвечал я, не теряясь. — Я дворянин порядочнее и честнее не найдется во всей Ирландии.

— Вы подлый обманщик, молодой человек! Вы мошенник и плут! — орал капитан.

— Повторите еще раз, и я проткну вас этой шпагой, — пригрозил я.

— Видали мы таких! Я фехтую не хуже вашего, мистер Редмонд Барри! Ага, вы бледнеете! Как видите, ваш обман раскрыт! Вы змеей вкрались в лоно невинного семейства; вы назвались наследником моих друзей — Редмондов из замка Редмонд; я ввел вас в избранное аристократическое общество этой метрополии (капитан выбирал по возможности звучные многосложные слова); я поручился за вас перед моими поставщиками, они открыли вам кредит, и что же? Вы отнесли в заклад те самые товары, которыми они вас снабдили!

— Я выдал им долговые обязательства, сэр! — возразил я с достоинством.

— Да, но от чьего имени, несчастный вы мальчик, — от чьего имени? взвизгнула миссис Фицсаймонс.

И только тут я спохватился, что подписывал векселя именем Барри Редмонд вместо Редмонда Барри. Но как я мог поступить иначе? Ведь это матушка потребовала, чтоб я так назвался.

Разразившись громовой тирадой — о том, как он узнал мое имя по меткам на белье, и как я обманул его надежды и доверие, и как он заранее сгорает от стыда при мысли о необходимости открыть своим светским друзьям, что он пригрел на груди мошенника, — мистер Фицсаймонс подобрал с полу мое белье, платье, серебряные туалетные принадлежности и все прочие пожитки и заявил, что сию же минуту пошлет за полицией и отдаст меня в руки правосудия.

Во время первой половины его речи покаянные мысли о моей опрометчивости и о трудном положении, в какое я себя поставил, так смутили и ошеломили меня, что я не отвечал на его оскорбления и стоял как оглушенный, не раскрывая рта. Однако сознание опасности заставило меня очнуться.

— Послушайте, вы, мистер Фицсаймонс! — ответил я ему. — Так и



быть: я открою вам, что принудило меня назваться другим именем — ибо меня и в самом деле зовут Барри, и более славного имени не найдется во всей Ирландии. Я оставил его, сэра, потому, что за день до приезда в Дублин убил человека в смертном поединке, англичанина, сэра, капитана на службе его величества, — и, если вы посмеете меня задержать, та же рука, что сразила его, покарает вас! Клянусь небом, вам или мне не выйти отсюда живым!

Сказав это, я с быстротой молнии выхватил из ножен шпагу, воскликнул "ха-ха!", притопнул ногой и сделал выпад, коснувшись острием его груди против самого сердца. Капитан побледнел и отпрянул в страхе, меж тем как жена его бросилась нас разнимать.

— Милый Редмонд, — вскричала она, — успокойтесь! Фицсаймонс, неужто тебе нужна кровь этого младенца? Отпусти его на все четыре стороны, пусть уходит!

— По мне, пускай хоть повесится, — насупившись, проворчал Фицсаймонс, да только поскорей. Ювелир и портной уже заходили, того и гляди, опять зайдут; это Моисей-закладчик его разоблачил, я от него первого услышал.

Из чего я заключил, что мистер Фицсаймонс носил в заклад свой новенький мундир, тот самый, которым он раздобылся у портного, когда последний открыл мне кредит.

К чему же в итоге привела наша беседа? Куда мог обратиться потомок Барри в поисках крова? Мой родной дом был для меня закрыт вследствие злополучной дуэли. В Дублине я по юношескому легкомыслию навлек на себя судебное преследование. У меня не было ни минуты для раздумий и колебаний. Не было уголка, где искать спасения. Фицсаймонс после своей отповеди оставил мою комнату, все еще огрызаясь, но уже не питая ко мне злобы. Его жена потребовала, чтобы мы подали друг другу руки, и он обещал ничего против меня не предпринимать. Да и в самом деле, уж этому-то субъекту я ничего не был должен; напротив, за ним оставался карточный долг, и у меня в кармане лежала его расписка. Что же касается моего друга, миссис Фицсаймонс, то она села на мою кровать и ударилась в слезы. У этой леди имелись свои недостатки, но сердце у нее было предоброе; и хоть все ее достояние составляли три шиллинга четыре пенса медью, бедняжка уговорила меня взять их на дорогу. На дорогу но куда? Однако решение мое было принято: в городе находилось десятка два отрядов, набиравших солдат в наши доблестные полки, стоявшие в Америке и Германии; я знал, где найти такого вербовщика, — как-то я очутился с ним рядом в Феникс-парке на параде, и словоохотливый

сержант указал мне главных лицедеев этого спектакля, за что я потом угостил его кружкой эля.

И отдал шиллинг Сулливену, дворецкому Фицсаймонсов, и, выбежав на улицу, поспешил в маленькую харчевню, где стоял на квартире мой знакомый; не прошло и десяти минут, как он вручил мне шиллинг его величества. Я рассказал ему, не таясь, что я молодой дворянин, попавший в безвыходное положение, что я убил офицера на дуэли и хочу покинуть страну. Но я мог бы обойтись без этих объяснений. Король Георг в ту пору чересчур нуждался в солдатах, чтобы допытываться у каждого, что и почему, и человек стольких дюймов росту, по словам сержанта, сгодился бы ему при любых условиях. Вербовщик сказал, что и время я выбрал удачное. В Данлири, в ожидании попутного ветра, стояло транспортное судно, и на борту этого судна, к которому я в тот же вечер и направился, ожидал меня величайший сюрприз, — а какой, о том речь пойдет в следующей главе.

## **Глава IV, в которой Барри близко знакомится с военной славой**

Благородное общество всегда привлекало меня, и описание низменной жизни мне не по вкусу. А посему рассказ мой о среде, куда я теперь попал, будет краток; по правде сказать, меня в дрожь кидает от этих воспоминаний. Тьфу, пропасть! Как представлю себе ад кромешный, куда нас, солдат, загнали, и это жалкое отребье, моих товарищей и собратьев — пахарей, браконьеров, карманников, которые бежали сюда, гонимые нуждой или законом, как это было, впрочем, и со мной, — краска стыда еще и сейчас заливает мои увядшие щеки; страшно подумать, что мне пришлось унизиться до такого общества. И я, конечно, впал бы в отчаяние, если бы не произошли события, отчасти поднявшие мой дух и утешившие меня в моих горестях.

Первое утешение я почерпнул в доброй драке, состоявшейся на второй же день после моего прибытия на судно между мной и рыжеволосым детиной, носильщиком портшезов, — форменным чудовищем, который попал в армию, ища избавления от жены-мегеры; несмотря на свои мускулы кулачного бойца, он был бессилен с нею справиться. Однако стоило этому детине, — помнится, его звали Тул, — бежать из объятий своей благоверной, как к нему вернулась обычная храбрость и свирепость, и он стал грозой окружающих. В особенности доставалось от него нашему брату — рекрутам.

Как я уже сказал, в кармане у меня гулял ветер, и я уныло сидел над своим обедом из прогорклого бекона и заплесневелых сухарей, когда дошла моя очередь угоститься положенной порцией рома с водой, которая подавалась в неаппетитной жестяной кружке вместимостью в полпинты. Этот кубок так зарос ржавчиной и грязью, что я невольно обратился к дневному со словами:

— Эй, мальй, подай сюда стакан!

Тут все эти подонки так и покатались со смеху, и особенно надсаживался, конечно, мистер Тул.

— Эй, подайте джентльмену полотенце для рук да принесите ему в ушате черепахового супу — гаркнуло чудовище, сидевшее против меня на палубе, или, вернее, примостившееся на корточках. Сказав это, великан

схватил мою кружку грога и осушил ее под новый взрыв ликования.

— Если хочешь досадить ему, спроси про его жену-прачку, она его колотит, — шепнул мне на ухо сосед, тоже весьма почтенная личность, бывший факельщик, разочаровавшийся в своей профессии и сменивший ее на военную карьеру.

— Уж не то ли полотенце, что стирала ваша жена, мистер Тул? — спросил я. — Она, говорят, частенько утирала им ваши сопли.

— Спроси, почему он вчера к ней не вышел, когда она приехала его навестить? — снова подзадорил меня бывший факельщик.

Я отпустил по адресу Тула еще несколько плоских шуточек, пройдясь насчет мыльной пены, супружеских свар и утюгов, чем привел его в полное исступление, и между нами завязалась нешуточная перепалка.

Мы бы, конечно, тут же схватились, когда бы не ухмыляющиеся матросы, поставленные у дверей на случай, если кто-нибудь, пожалев о заключенной сделке, вздумает удрать. Они разняли нас, угрожая примкнутыми штыками; однако сержант, спускавшийся по трапу и слышавший нашу перебранку, сказал, снизойдя к нашей малости, что, если мы хотим разрешить наш спор, как подобает мужчинам, в кулачном бою, фордек будет очищен и отдан в наше распоряжение. Однако же бокс, о котором говорил англичанин, был еще неизвестен в Ирландии, и мы условились драться на дубинках, каковым оружием я и расправился со своим противником ровно в пять минут, огрев его по глупой башке так, что он без признаков жизни растянулся на палубе, тогда как сам я отделался сравнительно легко.

Эта победа над бойцовым петухом с навозной кучи снискала мне уважение подонков, к числу которых принадлежал и я, и несколько подняла мое упавшее настроение; а тут дела мои еще поправились с прибытием на борт старого друга. Это был не кто иной, как мой секундант в роковой дуэли, по милости которой я оказался преждевременно выброшен в широкий мир, — капитан Фэган. Некий юный дворянчик, командовавший в нашем полку ротой, решил сменить опасности суровой кампании на приятности Молл и клубов и предложил Фэгану с ним поменяться, на что последний, чьей единственной опорой в жизни была его сабля, охотно согласился. Сержант проводил с нами учение на палубе (на потеху матросам и офицерам корабля, наблюдавшим нас со стороны), когда катер доставил с берега нашего капитана, и, хоть я и вздрогнул, и залился краской, нечаянно встретясь с ним глазами, — шутка ли, я, наследник дома Барри, в таком унижительном положении! — я чрезвычайно обрадовался, увидев родное лицо Фэгана, обещавшее мне поддержку и дружбу. До этого

я пребывал в таком унынии, что непременно удрал бы с корабля, если бы представилась малейшая возможность и если бы нас не сторожили неусыпно, чтобы помешать таким попыткам. Фэган украдкой дал мне понять, что узнал меня, но остерегся выдать окружающим наше давнишнее знакомство; и только на третьи сутки, когда мы простились с Ирландией и взяли курс в открытое море, он позвал меня к себе в каюту и, сердечно со мной поздоровавшись, сообщил долгожданные новости о моих родных.

— Слышал я о твоих дублинских похождениях, — сказал он. — Ты начинаешь рано, совсем как твой отец, но, в общем, ты с честью вышел из трудного положения. Но почему ты не ответил твоей бедной матушке? Она без конца писала тебе в Дублин.

Я сказал, что не раз заходил на почту, но там не было писем на имя мистера Редмонда. Мне не хотелось говорить, что после первой недели в Дублине я совестился писать домой.

— Давай пошлем письмо с лоцманом, — предложил Фэган, — ему через два часа возвращаться на берег. Напиши, что ты жив-здоров и женат на блондинке Бесс. — Когда он заговорил о женитьбе, я не удержался от вздоха. — Вижу, вижу, ты все еще думаешь о некоей леди из Брейдитауна, — продолжал он, смеясь.

— Здорова ли мисс Брейди? — осведомился я. Сознаюсь, мне стоило труда выговорить это имя. Я действительно все еще думал о Норе. Если я и забыл ее среди дублинских развлечений, то несчастье, как я заметил, располагает человека к чувствительности.

— На свете осталось только семь барышень Брейди, — сказал Фэган с оттенком торжественности в голосе. — Бедная Нора...

— Господи боже! Что с нею? — Я подумал, уж не горе ли ее убило?

— Ее крайне огорчил твой отъезд, и она в замужестве искала утешения. Теперь она миссис Джон Квин.

— Миссис Джон Квин? Значит, есть еще и другой Джон Квин? — спросил я остолбенев.

— Нет, все тот же, мой мальчик. Он исцелился от своей раны. Пуля, которой ты его сразил, не причинила ему большого вреда. Она была из пакли. Неужто семейство Брейди позволило бы тебе вытащить у них из кармана полторы тысячи годовых? — И Фэган пояснил мне, что, желая убрать меня с дороги, так как трус-англичанин ни за что бы не женился из страха передо мной, семейство Брейди придумало этот фортель с дуэлью.

— Но ты и вправду попал в него, Редмонд, таким основательным патроном из пакли; поверишь ли, болван так перепугался, что целый час лежал заперто. Мы уж потом рассказали все твоей матушке, — ну и

взбучку она задала нам! Она с десяток писем отправила тебе в Дублин, но, видимо, на твое настоящее имя, а тебе и в голову не пришло им назваться.

— Подлый трус! — воскликнул я (хотя, не скрою, почувствовал большое облегчение при мысли, что я не убил Квина). — Неужто Брейди из замка Брейди согласились принять такого труса в одну из самых старых и почтенных фамилий, какие только есть на свете?

— Он выплатил долг твоего дяди по закладной, — отвечал Фэган, — и завел Норе карету шестериком, а теперь продает свой патент, и лейтенант ополчения Улик Брейди метит на его роту. В общем, семейство твоего дядюшки сумело взять к ногтю этого труса. Обработали на славу. — И, смеясь, он рассказал мне, как это было сделано. Квин собрался было сбежать в Англию, но Мик и Улик глаз с него не спускали, пока честь честью не сыграли свадьбу и счастливая парочка не укатила в Дублин.

— Кстати, как у тебя с деньгами, малыш? — спросил добродушный капитан. — Можешь смело брать у меня. Я тоже выудил у мистера Квина несколько сотен на свою долю, и, пока они не кончились, нуждаться ты не будешь.

Он усадил меня писать матушке, что я и сделал, покаявшись ей в самых искренних и смиренных выражениях в том, что промотал ее деньги, и пояснив, что я все это время был во власти рокового заблуждения, а теперь записался волонтером и еду в Германию. Едва я кончил письмо, как лоцман объявил, что возвращается на берег; и он уплыл на своем катере, забрав вместе с моим прощальные приветы и других тоскующих душ, обращенные к друзьям в старой Ирландии.

Хоть я много лет именовался капитаном Барри и был в этом качестве известен первым лицам Европы, сейчас уже можно признаться, что у меня не больше прав на это звание, чем у многих джентльменов, кои им щеголяют, и что из всех воинских знаков различия мне были присвоены только шерстяные капральские нашивки. Я был произведен в капралы Фэганом во время нашего плавания к устью Эльбы, и производство мое подтверждено на terra firma <sup>[5]</sup>. Мне, правда, обещали чин сержанта, а со временем, быть может, и прапорщика, при условии, что я сумею отличиться; но, как вы вскоре увидите, судьбе неугодно было, чтоб я долго оставался английским солдатом.

Тем временем наше плавание протекало вполне благополучно; Фэган рассказал о моих приключениях своим братьям офицерам, и они меня не обижали, а победа над дюжим носильщиком обеспечила мне уважение товарищей по фордеку. Побуждаемый поощрениями и строгими разносами Фэгана, я выполнял свои обязанности как должно; но, при всем моем

дружелюбии и снисходительности в обращении с простыми рядовыми, на первых порах держался на расстоянии, считая их общество для себя унижительным, и даже заслужил у них кличку "милорд". Сильно подозреваю, что это бывший факельщик, зубоскал и продувная бестия, наградил меня таким прозвищем; впрочем, я ни минуты не сомневался, что меня еще будут так называть — наравне с любимым пэром Англии.

Я недостаточно философ и историк, чтобы судить о причинах пресловутой Семилетней войны, в которую ввергнута была в ту пору Европа; обстоятельства, ее вызвавшие, всегда казались мне чрезвычайно сложными, а книги, ей посвященные, написаны столь невнятно, что я редко чувствовал себя умнее, кончая главу, нежели к ней приступая, а потому и не собираюсь обременять читателя личными соображениями о сем предмете. Единственное, что мне известно, — это что привязанность его величества к своим ганноверским владениям сделала его непопулярным в Английском королевстве и что антигерманскую партию возглавлял мистер Питт; и вдруг, с приходом Питта на пост министра, вся страна приветствовала войну с таким жаром, с каким раньше ее осуждала. Победы при Деттингене и Крефельде были у всех на устах, и "протестантский герой", как величали у нас безбожника Фридриха Прусского, был провозглашен "святым" невольные после того, как мы чуть было не объявили ему войну в союзе с австрийской императрицей. Неисповедимыми судьбами мы оказались на стороне Фридриха, в то время как императрица австрийская, французы и русские заключили против нас союз; помню, когда вести о битве при Лиссе достигли нашего богоспасаемого уголка в Ирландии, мы сочли это великой победой протестантской веры: жгли потешные огни, разводили костры и отслужили в церкви молебен, а потом из года в год отмечали дни рождения прусского короля; дядюшка в этот день обязательно напивался, как, впрочем, и при всяком удобном случае. Большинство рядовых, зачисленных вместе со мной, были, конечно, католики (да и вообще английская армия кишит ими, их безотказно поставляет наша страна), и вот католикам приходилось защищать протестантскую веру вместе с Фридрихом, а он, в свою очередь, бил протестантов-шведов и протестантов-саксонцев, не говоря уж о русских, исповедующих православие, и о католических войсках императора и французского короля. Именно против последних и действовал английский корпус, ибо, как известно, в чем бы ни заключались нелады между англичанином и французом, дело у них быстро доходит до драки.

Мы высадились в Куксгагене. Я и месяца не пробыл в курфюршестве, как превратился в высокого ладного солдата и, будучи от природы склонен

к воинским экзерцициям, вскоре так понаторел в солдатской муштре, что разве только старейший сержант в полку мог со мной тягаться. Однако мечтать о военной славе хорошо, отдыхая у себя дома в покойных креслах или будучи офицером в нарядном мундире, джентльменом среди джентльменов, с надеждами на производство. Бедные же парни в шерстяных нашивках не знали этих окрыляющих надежд. Когда мимо проходил офицер, я до слез стыдился своего грубого красного кафтана; сердце у меня сжималось, когда во время обхода я слышал веселые голоса, доносившиеся из офицерского буфета; гордость моя страдала оттого, что, вместо помады, приличествующей джентльмену, мы вынуждены были склеивать волосы свечным салом и мукой. Да, я всегда тянулся к возвышенному и изящному, и то ужасное общество, куда я попал, внушало мне отвращение. Мбг ли я рассчитывать на повышение в чине? Ведь у меня не было богатых родственников, которые купили бы мне патент. Вскоре я так пал духом, что мечтал о решительном сражении, призывал спасительную пулю и только дожидался удобного случая дезертировать.

Подумать только, что мне, потомку ирландских королей, какой-то негодяй мальчишка, едва со школьной скамьи в Итоне, грозил палочным караулом, и он же звал меня в лакеи, а я ни в тот, ни в другой раз его не убил. В первом случае (не стыжусь в том признаться) я разразился слезами и самым серьезным образом подумывал о самоубийстве, так нестерпимо было мне подобное унижение. Хорошо еще, что мой добрый друг Фэган вовремя меня утешил, поделившись со мной следующими соображениями.

— Не принимай этого близко к сердцу, бедный мой мальчик! — сказал он. Палочные удары не такой уж позор. Все зависит от точки зрения. Прапорщика Фэйкенхема всего лишь месяц назад самого пороли в Итоне. Держу пари, что спина у него еще и сейчас свербит. Выше голову, мой мальчик! Неси честно службу, будь джентльменом, и ничего худого с тобой не случится.

Потом уже я узнал, что мой заступник учинил мистеру Фэйкенхему разнос, предупредив, что, если такое повторится, он, Фэган, сочтет это за личное оскорбление, после чего тот на время унялся. С сержантами я сам поладил, пригрозив, что, если кто меня ударит, я убью его на месте, я не посмотрю, ни кто он таков, ни какое мне за это будет наказание. И было в моих словах нечто столь убедительное, что вся свора приняла их во внимание, и пока я находился на английской службе, ни одна трость не коснулась плеч Редмонда Барри. Я и в самом деле был в таком бешеном, мрачном состоянии духа, что, клянусь, только и мечтал услышать, как над моим гробом играют траурный марш. С производством в капралы



положение мое кое в чем улучшилось: в виде особой милости мне было позволено столоваться с сержантами. Я угощал этих каналий вином и проигрывал им деньги, которыми бесперечь снабжал меня мистер Фэган, мой добрый друг.

Наш полк, расквартированный под Штаде и Луненбургом, получил приказ срочно двигаться на юг, к Рейну; ибо поступили сообщения, что при Бергене близ Франкфурта-на-Майне наш фельдмаршал принц Фердинанд Брауншвейгский потерпел поражение — или, вернее, встретил отпор — в своей атаке на французов под командою герцога Бролио и вынужден был отойти на новые позиции. Но едва союзники отступили, французы двинулись вперед в неудержимом марше, угрожая занять Ганноверское курфюршество нашего все милостивейшего монарха, как это уже было однажды, когда д'Эстре побил героя Куллоденского, доблестного герцога Кэмберлендского, и принудил его подписать капитуляцию в Зевенском монастыре. Наступление на Ганновер всякий раз вселяло смятение в царственную грудь английского короля: мы получили свежие подкрепления, нам и нашему союзнику прусскому королю были присланы конвойные суда с казной, и если, невзирая на такую подмогу, армия под началом принца Фердинанда была все же значительно слабее, нежели силы вторгнувшегося неприятеля, то зато мы могли похвалиться лучшим снабжением, а также величайшим в мире полководцем, — я мог бы сюда прибавить испытанную британскую храбрость, но чем меньше мы об этом скажем, тем лучше! К сожалению, милорду Джорджу Сэквиллу не удалось увенчать себя лаврами под Минденом; в противном случае, там была бы одержана одна из величайших побед нашего времени.

Выйдя наперерез французам в их продвижении в глубь курфюршества, принц Фердинанд мудро взял в полон вольный город Бремен, сделав его своим цейхгаузом и арсеналом, и стал собирать вокруг него войска, готовясь дать знаменитое Минденское сражение.

Когда бы эти записки не придерживались правды, когда бы я отважился сказать здесь хоть слово, на которое не давали бы мне право мои личные наблюдения, я, уж верно, изобразил бы себя героем какого-нибудь чудесного увлекательного приключения и по примеру наших романистов представил бы читателю великих людей того замечательного времени. Эти борзописцы (я имею в виду сочинителей романов), избрав героем какого-нибудь барабанщика или мусорщика, непременно сведут его с могущественными лордами или другими выдающимися личностями страны; ручаюсь, что ни один из них, описывая битву при Миндене, не упустил бы случая вывести на сцену принца Фердинанда, милорда

Джорджа Сэквилла и милорда Грэнби. Мне ничего не стоило бы сказать, будто я присутствовал при том, как лорд Джордж получил предписание двинуть в бой кавалерию и разгромить французов и как он отказался выполнить этот приказ и таким образом упустил величайшую победу. Дело в том, что я находился в двух милях от кавалерии, когда на лорда нашли роковые сомнения, и никто из нас, простых рядовых, не знал, что случилось, пока мы не разговорились о событиях этого дня, собравшись вечером за котлами, чтобы отдохнуть от кровопролитных трудов. В этот день я не видел никого рангом выше нашего полковника или нескольких полковых адъютантов, промчавшихся мимо в пороховом дыму, — вернее, никого из наших. Ничтожный капрал (каковым я был тогда, к великому моему стыду) обычно не приглашается в общество командиров и великих мира сего; зато, уж будьте покойны, я побывал в отличном обществе, если говорить о французах, так как их полки — Лотарингский и Королевских кроатов — атаковали нас в течение всего дня; а на такие смешанные сборища доступ открыт равно знатным и незнатным. Хоть я и не люблю хвалиться, однако должен упомянуть, что я весьма коротко познакомился с полковником кроатов, ибо проколол его насквозь штыком, а также уложил беднягу прапорщика — он был так молод, так мал и тщедушен, что, кажется, случись мне задеть его косичкой, я из него и то бы вышиб дух. Кроме того, я убил еще четырех офицеров и нижних чинов, а в кармане бедняги прапорщика обнаружил кошелек с четырнадцатью луидорами и серебряную коробочку с леденцами: первый подарок пришелся мне особенно кстати. Сдается мне, если бы люди так попросту рассказывали о битвах, в коих они участвовали, истина только выиграла бы. Все, что мне известно о знаменитом Минденском сражении (не считая книг), сводится к вышесказанному. Серебряная бонбоньерка прапорщика и его кошелек с золотом; восковое лицо бедного малого, когда он упал навзничь; крики "ура" моих товарищей, когда я под сильным огнем подполз к нему, чтобы обшарить его карманы; их вопли и проклятия, когда мы схватились врукопашную с французами, — все это поистине не слишком возвышенные воспоминания, и лучше на них не задерживаться. Когда мой добрый друг Фэган упал, сраженный пулей, другой капитан, его собрат и близкий приятель, повернувшись к лейтенанту Росону, немногословно сказал: "Фэган вышел из строя; Росон, переймите, вы командование ротой!" Вот и вся эпитафия, которой удостоился мой храбрый покровитель. "Я оставил бы тебе сотню гиней, Редмонд, — были его последние слова, — но вчера мне чертовски не повезло в фараон". И он слабо сжал мне руку; но тут раздался приказ: "Вперед!" — и мне пришлось его покинуть. Когда же мы

вскоре вернулись на это место, он все еще был там, но дыхание жизни оставило его. Кто-то из наших успел сорвать с него эполеты и, конечно, побывал в его кошельке. Вот в каких негодяев и головорезов превращает людей война! Хорошо вам, джентльмены, рассуждать о рыцарских временах! А вы вспомните лучше, какое голодное зверье вы за собой ведете — людей, возвращенных в нищете, скотски невежественных, людей, наученных гордиться своими кровавыми подвигами, людей, не знающих иных развлечений, кроме пьянства, разврата, и грабежа. Вот каковы те ужасные орудия, с помощью которых ваши великие воины и короли совершили свои злодеяния в этом мире. И если мы в наши дни восхищаемся "Фридрихом Великим", как его теперь зовут, его философией, либерализмом, его военным гением, то я, который служил ему и видел как бы из-за кулис это явленное миру феерическое зрелище, не могу вспомнить о нем без ужаса. Сколько преступлений, несчастий, сколько насилий над чужой свободой надо сложить, чтобы получить в сумме этот апофеоз славы! Мне вспоминается день, недели три спустя после Минденского сражения, и крестьянская хижина, куда мы забрели; и как старая крестьянка с дочерьми, дрожа всем телом, угощала нас вином; и как мы перепились; и как запылало жилище гостеприимных хозяев: горе несчастному, который спустя какое-то время вернется в родные края, чтобы разыскать свой дом и свою семью!

## **Глава V, в которой Барри пытается как можно дальше бежать от военной славы**

После смерти моего покровителя, капитана Фэгана, я, как ни грустно сознаться, угодил в дурную компанию и впал в распутную жизнь. Фэган, и сам всего лишь грубый наемный солдат, чувствовал себя одиноким среди офицеров полка; англичане всячески подчеркивали свое презрение к ирландцу, — черта присущая многим их соотечественникам, — они высмеивали его произношение и мужиковатые неотесанные манеры. Одному или двум из них мне как-то случилось нагрубить, и только заступничество Фэгана спасло меня от наказания. Особенно недолюбливал меня мистер Росон, сменивший моего друга в командовании ротой; в битве под Минденом выбыл у нас сержант, и Росон взял на вакантное место не меня, а другого. Столь явная несправедливость еще усилила мое отвращение к службе, и вместо того, чтобы рассеять недовольство моих начальников, снискать их милость примерным поведением, я искал утешение в низменных удовольствиях и забавах. В чужой стране, перед лицом неприятеля, среди населения, которое тяжело страдало от поборов и той и другой стороны, наши войска, при молчаливом попустительстве начальства, совершали беззакония, каких им никто б не разрешил в мирное время. Постепенно я опустился до того, что уже не отделял себя от сержантов, был с ними запанибрата и участвовал во всех их дебоширствах. Излюбленным нашим занятием были, стыдно сказать, попойки и карты. Мальчишка, семнадцатилетний недоросль, я, однако, так быстро перенял их дурные повадки, что вскоре стал у них коноводом, даром что были в их среде прожженные негодяи, опытные мастера по части всякого беспутства. Если бы мне пришлось задержаться на английской службе, я бы, конечно, не миновал военной тюрьмы, но тут произошел случай, который самым неожиданным образом помог мне расстаться с английской армией.

В год смерти короля Георга II наш полк удостоился чести принять участие в Варбургской битве, в коей маркиз Грэнби и его конница полностью смыли позор, навлеченный на нашу кавалерию просчетом лорда Джорджа Сэвилла в Миндене и в коей принц Фердинанд вторично наголову разбил французов. Во время этого сражения мой лейтенант мистер Фэйкенхем из Фэйкенхема — тот самый, который, как вы помните,

грозился поставить меня в палки, был ранен пулею в бедро. Молодой лейтенант был не трус и не раз доказал это в многочисленных стычках с французами; но то было его первое ранение, и он страшно испугался. Он обещал пять гиней тому, кто переправит его в город, тут же неподалеку, и я вместе с другим солдатом, положив раненого на плащ, отнесли его в весьма порядочный дом, где его уложили в постель и куда наш молодой лекарь (только и мечтавший убраться подальше от ружейного огня) явился его перевязать.

Чтобы проникнуть в этот дом, нам пришлось, нечего греха таить, маленько пострелять в замочные скважины, в ответ на каковые настойчивые призывы нам отворила его обитательница, прехорошенькая черноглазая молодая особа, проживавшая со своим полуслепым отцом, бывшим ягдмейстером герцога Кассельского, ныне удалившимся на покой. Когда в городе стояли французы, эти люди пострадали не меньше, чем их соседи, и старик был не склонен пускать новых постояльцев; но первый же наш стук в дверь возымел действие, а тут еще и мистер Фэйкенхем, достав из туго набитого кошелька несколько гиней, сумел убедить этих почтенных людей, что они имеют дело с человеком порядочным.

Оставив пациента на попечение врача (который и не желал ничего лучшего) и получив условленную мзду, я вместе с товарищем поспешил обратно в полк, не забыв отпустить на прощание черноглазой варбургской красотке несколько комплиментов на ломаном немецком языке, и только-только завистливо размечтался, до чего приятно было бы очутиться здесь на постое, как мой спутник бесцеремонно прервал мои размышления, предложив поделиться с ним заработанными гинеями.

— Вот твоя доля, получай, — сказал я, протягивая олуху золотой, что было вполне справедливо, так как главою экспедиции был я. Но негодяй, разразившись чудовищным проклятием, потребовал у меня половину. Когда же я послал его в одно место, коего не стану здесь называть, разбойник так двинул меня по голове прикладом, что я как подкошенный рухнул наземь. Очнувшись, я увидел, что валяюсь в луже крови, натекшей из большой раны на голове. У меня только и хватило сил добраться до дома, где мы оставили лейтенанта, и я замертво свалился у порога.

Здесь, по-видимому, и нашел меня лекарь, уходя от больного. Очнулся я уже в верхнем этаже дома, черноглазая девушка поддерживала меня сзади, между тем как доктор отворял мне кровь из руки. В комнате, где лежал лейтенант, стояла запасная кровать, на которой обычно спала горничная Гретель; теперь на нее уложили меня, тогда как раненому офицеру Лизхен, ибо так звали нашу прелестную хозяйку, уступила свою.

— Кого это вы кладете на вторую постель? — спросил Фэйкенхем по-немецки слабым голосом, ибо у него только что извлекли пулю из бедра и он еще не пришел в себя от боли и потери крови.

Ему сказали, что это капрал, доставивший его сюда.

— Капрал? — переспросил он уже по-английски. — Гоните его в шею!

Можете себе представить, как польстили мне его слова. Но обоим нам было не до комплиментов и препирательств. Меня бережно уложили в постель; а пока меня раздевали, я имел возможность убедиться, что солдат-англичанин, сбивший меня с ног, не преминул очистить мои карманы. Отрадно было, по крайней мере, сознавать, что я в надежных руках. Молодая девушка, приютившая меня, вскоре принесла мне освежающее питье. Принимая его из рук моей хозяйки, я не мог удержаться, чтобы не пожать ее пальчики, и этот порыв благодарности был, видимо, встречен милостиво.

Установившаяся между нами короткость только росла с дальнейшим знакомством. Лизхен оказалась нежнейшей из сиделок. Какое бы лакомство ни готовилось для раненого лейтенанта, его сосед по койке непременно получал свою долю, к великой досаде этого сквалыги. Болезнь лейтенанта изрядно затянулась. На второй день у него открылась горячка, и несколько ночей он пролежал в беспамятстве. Помню, заглянул к нам офицер из высшего командования, под видом инспекторского смотра, а на самом деле, как я догадываюсь, чтобы устроиться здесь на квартире, но больной встретил его сверху такими воплями и бешеной бранью, что начальство поспешило ретироваться. Я в это время уютно посиживал внизу, так как рана моя заживала, и только когда начальник сердито спросил, почему я не возвращаюсь в полк, раздумался я над тем, как хорошо мне, в сущности, здесь живется и насколько это лучше, чем вместе с пьяной солдатней заползать в постылую палатку, или шататься в ночных караулах, или вставать чуть свет, торопясь на ученье.

Горячечный бред мистера Фэйкенхема навел меня на мысль прикинуться сумасшедшим. Был у нас в Брейдитауне убогий человечешко, по прозвищу "Бесноватый Билли", мальчишкой я ловко представлял его безумные ужимки, и теперь они мнегодились. В тот вечер я испробовал их на Лизхен и напугал ее до смерти своим криком и идиотской ухмылкой; отныне, кто бы ни явился в дом, я начинал беситься. Контузия в голову, очевидно, подействовала на мой рассудок — наш лекарь готов был в этом поклясться. Как-то вечером я стал уверять его шепотом, будто я Юлий Цезарь и узнаю в нем мою нареченную, царицу Клеопатру, чем окончательно убедил его в том, что я повредился в рассудке. Да и то

сказать, если бы ее величество походила на моего эскулапа, у нее была бы борода морковного цвета, а такую не часто встретишь в Египте.

Какая-то переброска войск на французской стороне заставила нас продвинуться вперед. Город был эвакуирован, за исключением небольшого отряда пруссаков, врачам которого был поручен присмотр за всеми остающимися здесь ранеными и отправка их по мере выздоровления в полк. Однако я решил не возвращаться. У меня был план добраться до Голландии, почти единственной в то время нейтральной страны в Европе, а там на каком-нибудь судне махнуть в Англию и оттуда в родной Брейдитаун.

Если мистер Фэйкенхем еще жив, приношу ему свои извинения: я поступил с ним не слишком деликатно. Но он был очень богат, со мной же обращался по-свински. Я нагнал на его слугу, который после Варбургского дела приехал ухаживать за ним, такого страха, что бедный простофиля пустился наутек. С тех пор я иногда оказывал больному кое-какие услуги, за что он неизменно платил мне презрением. Мне, однако, важно было не подпускать к нему никого другого, и я отвечал на его грубости величайшей учтивостью и смирением, а между тем обдумывал про себя, как бы лучше отплатить ему за господскую ласку. Впрочем, не я один страдал от грубости достойного джентльмена. Он помыкал и очаровательной Лизхен, донимал ее бесцеремонными ухаживаниями, придирался к ее супам и хаял ее омлеты, попрекал каждым грошом, который выдавал на свое пропитание, так что хозяйка наша ненавидела его в такой же мере, в какой, могу сказать, не хвалясь, благоволила ко мне.

Собственно, говоря на прямопу, я не шутя приударивал за моей хозяйшкой, ибо таково мое обыкновение со всеми представительницами прекрасного пола, независимо от возраста и степени их миловидности. Человеку, который сам пробивает себе дорогу, эти милые создания всегда могут пригодиться так или иначе; пусть они даже не отвечают на вашу страсть — неважно: они нисколько на вас не рассердятся и лишь станут еще участливее во внимание к вашему разбитому сердцу. Что касается Лизхен, то я сочинил для нее слезную повесть о моих приключениях (повесть, несравненно более романтическую, чем рассказанная здесь, поскольку я не связывал себя уважением к истине, каковой неуклонно придерживаюсь на этих страницах) и покорила ее сердце бедняжки, а кроме того, значительно усовершенствовался под ее руководством в немецком языке. Милые леди! Не называйте меня жестокосердным обманщиком: сердце Лизхен, до того, как я подверг его осаде, было уже не раз взято приступом и не однажды меняло хозяев; оно выкидывало то французский, то зелено-желтый

саксонский, то черно-белый прусский флаг, смотря по обстоятельствам, — да и какая прекрасная молодая леди, отдав свое сердце военному мундиру, не должна быть готова к быстрой смене возлюбленных, а иначе сколь незавиден будет ее удел!

Лекарь-немец, приставленный к нам после ухода англичан, только раза два удосужился нас навестить; и я, к великой досаде мистера Фэйкенхема, но имея в виду свои особые цели, постарался встретиться с ним в полутьме, с завешенными окнами, ссылаясь на то, что после контузии в голову не выношу света. Чтобы сойти за сумасшедшего, я закутывался в простыни с головой и объявлял доктору, что я египетская мумия или что-нибудь другое в этом роде.

— Что за чушь вы городите, будто вы египетская мумия? — брюзгливо спросил меня мистер Фэйкенхем.

— Скоро узнаете, сэр! — отвечал я.

В следующий приход доктора я не стал его дожидаться, уткнувшись в подушку в темной спальне, а засел внизу в столовой играть в карты с Лизхен. На этот раз я завладел шлафроком моего лейтенанта и другими предметами его гардероба, которые пришлось мне впору и, смею надеяться, придавали мне вид совершеннейшего джентльмена.

— Доброе утро, капрал, — сердито буркнул доктор в ответ на мою приветливую улыбку.

— Капрал? Лейтенант, хотите вы сказать! — вскричал я со смехом, лукаво подмигивая Лизхен, которая еще не была посвящена в мои планы.

— Как так лейтенант? — вскинулся на меня доктор. — Ведь не вы лейтенант, а...

— Полноте, доктор! — воскликнул я, смеясь. — Слишком много чести! Вы, кажется, путаете меня с рехнувшимся капралом наверху. Чудак уже дважды выдавал себя за офицера... Наша любезная хозяйюшка лучше вам скажет, кто из нас кто.

— Вчера он вообразил себя принцем Фердинандом, — подхватила Лизхен, — а в прошлый ваш приход — помните — все представлялся египетской мумией.

— Верно, верно! — подтвердил доктор. — Помню. Но как же это, ха-ха-ха, подумайте, лейтенант, ведь вы у меня в журнале значитесь капралом.

— Не говорите мне о болезни этого несчастного, сейчас он вроде успокоился.

Мы с Лизхен посмеялись ошибке доктора, точно самой забавной шутке на свете, а когда он собрался наверх послушать пациента, я посоветовал ему не говорить с помешанным о его болезни, — сегодня он



показался мне особенно возбужденным.

Читатель уже, разумеется, понял из этого разговора, в чем заключался мой план. Я замыслил бежать, и бежать под именем лейтенанта Фэйкенхема, позаимствовав у него оное, как говорится, нахрапом. Этот отчаянный поступок был продиктован суровой необходимостью. Называйте это подлогом, грабежом, если хотите, ибо, говоря по правде, я забрал у него также деньги и одежду; но, окажись я сегодня в таком же безвыходном положении, я без колебаний сделал бы то же самое; ведь я не мог бежать, не воспользовавшись его кошельком, равно как и его именем, а потому и счел себя вправе присвоить как то, так и другое.

Пользуясь тем, что лейтенант по-прежнему пригвожден к постели, я забрал к себе его форменное платье, предварительно осведомившись у доктора, не задержался ли здесь кто из моих однополчан. Заключив из его ответа, что я не рискую встретить знакомых, я стал беспечно прогуливаться по городу в обществе мадам Лизхен, щеголяя в форме лейтенанта. Попутно я расспрашивал, не продает ли кто лошадь, а также явился с рапортом к коменданту под видом Фэйкенхема, лейтенанта английского пехотного полка, выздоравливающего и был даже приглашен на обед к офицерам прусского полка и остался крайне недоволен их кухней. Воображаю, как взбесился бы Фэйкенхем, знай он, как бесцеремонно я пользуюсь его именем!

Когда этот достойный джентльмен спрашивал, где его платье, — а он частенько осведомлялся о нем, пересыпая свою речь бранью и угрозами, что, вернувшись в полк, прикажет меня выпороть за неисправную службу, — я почтительнейше уверял его, что оно внизу, убрано в сохранное место: оно и в самом деле было аккуратно сложено, однако в ожидании моего отъезда. Свои документы и деньги больной держал под подушкой. Между тем я присмотрел лошадь, и мне надо было расплатиться с ее хозяином.

Итак, я назначил час, когда барышник должен был привести мне моего скакуна и получить причитающиеся ему деньги (не стану описывать здесь мое прощание с любезной хозяйшкой, скажу только, что оно было орошено слезами); собравшись с духом для предстоящего подвига, я поднялся к Фэйкенхему, одетый в его форму и в его кивере, лихо сдвинутом на левую бровь.

— Ах ты пвохвост пвоклятый! — накинулся он на меня, перемежая свои слова еще более отборной бранью. — Подлый бунтовщик! С какой это стати ты вывядился в мою фовму? погоди, вот вевнемся в полк и так же вевно, как то, что меня зовут Фэйкенхем, я с тобой васчитаюсь: живого

места не оставляю!

— Я получил повышение, лейтенант, — ответил я ему с глумливой улыбкой, — и пришел с вами проститься. — И, подойдя к его постели, добавил: — Мне нужны ваши документы и кошелек. — С этими словами я сунул руку ему под подушку.

Но тут он громко завопил, словно хотел созвать весь полк на мою погибель.

— Ни звука, сэръ, — предупредил я его, — не то вам крышка! — И, достав носовой платок, так крепко завязал ему рот, что едва не задушил, а потом стянул ему локти рукавами рубашки, намертво связал их узлом, да так его и оставил, прихватив, разумеется, кошелек и бумаги и учтиво пожелав ему скорого выздоровления.

— Это рехнувшийся капрал рвет и мечет, — пояснил я обитателям дома, которых встревожили крики, доносившиеся сверху. Итак, простясь с полуслепым ягдмейстером, а также (невыразимо нежно) с его дочкой, я вскочил на свою новую лошадь, лихо прогарцевал по городу и милостиво кивнул страже у городских ворот, почтительно отдавшей мне честь. Я снова чувствовал себя в привычной сфере и дал себе слово никогда больше не ронять свое джентльменское достоинство.

Сперва я взял курс на Бремен, где стояла наша армия, повсюду заявляя, что везу в штаб-квартиру рапорты и письма варбургского прусского коменданта; но, едва миновав наши аванпосты, повернул коня и направился в Гессен Кассельские владения, которые, по счастью, находятся недалеко от Варбурга; и как же я обрадовался, увидев на шлагбаумах сине-красные полосы, сказавшие мне, что я нахожусь уже на территории, не занятой моими соотечественниками. Я заехал в Гоф, а оттуда на другой день направился в Кассель, выдавая себя за курьера, везущего депеши принцу Генриху, стоявшему тогда на Нижнем Рейне. Остановился я в лучшей гостинице, где столовались штабные офицеры местного гарнизона. Желая поддержать честь английского джентльмена, я угощал их самыми изысканными винами, какие нашлись в гостинице, и рассказывал им о своих английских поместьях так речисто, что чуть ли не первый верил своим выдумкам. Я даже получил приглашение в Вильгельмсхехе, дворец курфюрста, где танцевал менуэт с прелестной дочкой самого гофмаршала и проиграл несколько золотых его превосходительству обер-егермейстеру его высочества.

В гостинице за общим столом я познакомился с прусским офицером, который обращался ко мне весьма учтиво и без конца расспрашивал об Англии. Я старался отвечать ему с толком, хотя, боюсь, не слишком в этом

преуспел, ибо никогда не бывал в Англии и понятия не имел ни о дворе, ни о тамошних аристократических семействах; но, увлекаемый тщеславием юности (а также склонностью хвалиться и заноситься в ущерб истине, чертой, присущей мне в те годы, хоть я и начисто отделался от нее впоследствии), я сочинил для него тысячу анекдотов, описал ему короля и его министров, объявил, что английский посланник в Берлине — родной мой дядя, и обещал новому знакомцу порадовать о нем в рекомендательном письме к моему родичу. Когда же офицер осведомился об имени этого дяди, я, не долго думая, сказал, что его зовут О'Трейти, считая, что это имя вполне постоит за себя и что жители Килбэллюэна в графстве Корк ни в чем не уступят другим семействам, о каких мне приходилось слышать. Что до случаев из моей полковой жизни, тут я был поистине во всеоружии. Хотелось бы мне, чтобы и другие мои рассказы были хоть вполовину так достоверны.

В то утро, когда я покидал Кассель, мой друг-пруссак подошел ко мне с открытой приветливой улыбкой и сказал, что тоже едет в Дюссельдорф, куда якобы собирался и я. Итак, мы сели на коней и не спеша тронулись в путь. Вся местность кругом являла вид неопишуемого запустения. Здешний государь был известен как самый бесчеловечный торговец людьми во всей Германии. Он продавал их всем, кто ни попросит, и в течение пяти лет, какие уже длилась война (вошедшая потом в историю как Семилетняя), перевел все мужское население в княжестве, так что некому стало обрабатывать землю: даже двенадцатилетних отроков угоняли на войну, и нам встречались целые гурты несчастных мальчуганов, обычно под конвоем нескольких кавалеристов с ганноверским краснокафтаником-сержантом или прусским унтер-офицером во главе. С некоторыми из этих конвоиров мой спутник обменивался приветствиями.

— Вы не представляете, до чего мне претит знаясь с этой братией, пожаловался он. — Но такова печальная необходимость. Война требует все нового притока людей, отсюда и вербовщики, поставляющие человеческое мясо. Они получают от нашей казны по двадцать пять талеров с головы. Конечно, за такого молодца, как, скажем, вы, — добавил он, смеясь, — цена доходит и до сотни. При старом короле за вас дали бы, пожалуй, и всю тысячу — для его полка гренадеров, который ныне правящий король расформировал.

— Я сам знал служивого из вашего гренадерского полка, — откликнулся я. — У нас его так и звали Морган-пруссак.

— В самом деле? Кто же он был, этот Морган-пруссак?

— Верзила гренадер, ваши вербовщики каким-то образом похитили

его в Ганновере.

— Экие каналы! — удивился мой приятель. — И хватило же смелости завербовать англичанина!

— То-то и есть, что он ирландец, да такая расторопная голова, что где им против него! Сами посудите! Моргана, стало быть, схватили и зачислили в гвардию великанов, где он оказался на голову выше всех. Многие из верзил плакались на свою жизнь, на палочье, на бесконечные учения да на нищенскую плату; но Морган не принадлежал к ворчунам. "А по мне, — говорил он, — лучше раздобреть на берлинских харчах, нежели ходить в отрепье и подыхать с голоду в Типперэри!"

— А где это Типперэри? — поинтересовался мой спутник.

— То же самое спросили у Моргана его приятели. Типперэри — это чудесная провинция в Ирландии с главным городом Клонмелем, а это, скажу я вам, такая столица, что уступит только Лондону или Дублину, — не чета вашим континентальным городам! Морган сказал им, что родина его недалеко от этого города и что одно у него огорчение в нынешних счастливых обстоятельствах: братья его дома, поди, голодают, а ведь как славно бы им жилось на харчах его величества!

"Голову даю на отсечение, — сказал Морган сержанту, которому он все это выкладывал, — был бы здесь мой братец Бин, его бы тут же произвели в сержанты".

"А что, он до тебя дотянет?" — поинтересовался сержант.

"До меня? Сказали тоже! Да у нас в семье меня недоростком зовут. Нас шестеро братьев, не считая меня, но Бин выше всех вымахал. В чулках семь футов росту! Это так же верно, как то, что меня зовут Морган".

"А нельзя ли послать за твоими братьями и сманить их к нам?"

"Нет уж, и думать не можете! С тех пор как меня заграбастал один из ваших, они сержантов видеть не могут, — отвечал Морган. — Эх, и жалко же, что они не приедут. Представляю, каким великаном смотрел бы Бин в гренадерской шапке!"

Больше он ни слова не сказал про своих братьев, а только вздохнул, будто сожалея о их горькой участи. Сержант, однако, все доложил офицерам, а там дошло и до самого короля. Его величество такое взяло любопытство, что он согласился отпустить Моргана на родину, только бы тот доставил ему своих братьев-великанов и воротился в полк сам-сеньмой.

— Что ж, они и вправду такие, как он описывал? — поинтересовался мой спутник. Я невольно посмеялся его наивности.

— Уж не думаете ли вы, — вскричал я, — что Морган воротился на службу? Держи карман шире! Ему лишь бы на свободу вырваться! На

деньги, что ему дали для всей оравы, он купил себе в Типперэри славную ферму, да и зажил припеваючи, он на этой истории заработал побольше ваших вербовщиков.

Прусский капитан от души посмеялся рассказу и заметил, что англичане всему свету известны как дошлая нация, однако согласился с моей поправкой, что ирландцы, пожалуй, будут похитрей англичан. Мы продолжали путешествие, весьма довольные друг другом, так как и у него нашлось, что порассказать из событий этой войны, — о храбрости и дальновидности Фридриха, о тысяче случаев, когда король был на волосок от смерти, о его победах и поражениях, не менее почетных, чем победы. Сейчас, на правах джентльмена, я с удовольствием слушал эти басни, а между тем всего три недели назад я был во власти совсем других чувств, описанных в конце предыдущей главы. Тогда я еще помнил, что слава достается генералу, а бедняге солдату выпадают лишь палки да оскорбления.

— Кстати, кому вы везете депеши? — спросил меня офицер.

Опять каверзный вопрос, на который я ответил наобум:

— Генералу Роллсу. — Я видел генерала прошлый год, и это было первое имя, пришедшее мне в голову. Мой друг вполне им удовлетворился; мы продолжали тише путешествие до захода солнца и, так как лошади наши устали, решили сделать привал.

— Вот славная гостиница, — сказал капитан, когда мы подъехали к дому, стоявшему, как мне показалось, в одиноком, глухом месте.

— Она, может быть, хороша для Германии, но вряд ли придется по вкусу старой Ирландии, — возразил я. — В какой-нибудь лиге отсюда Корбах. Доедемте лучше до Корбаха.

— А вам не хочется увидеть первую красавицу в Европе? — спросил офицер. — Ага, вы шалун, как я погляжу, вам не устоять перед этим доводом!

И действительно, этот довод всегда действовал на меня неотразимо, в чем я охотно признаюсь.

— Здешний хозяин богатый фермер, — пояснил мне капитан, — гостиницу он держит так, между прочим.

И в самом деле, это место скорее походило на ферму, чем на странноприимный дом. Мы вошли в большие ворота и попали в обширный двор, обнесенный высокой каменной оградой, в глубине его высилось мрачное покосившееся здание. Во дворе стояло два фургона, лошади были выпряжены и жевали свой корм тут же под навесом; несколько человек слонялось взад и вперед, среди них два сержанта в прусской форме, они

отдали моему капитану честь. Я счел это обычной формальностью, но чем-то жутким и отталкивающим веяло от гостиницы, и я заметил, что люди, открывшие ворота, тотчас же захлопнули их за нами. В этой местности беспокойно, пояснил мне капитан, повсюду рыщут отряды французской конницы, а с этими злодеями держи ухо востро.

Как только сержанты взяли у нас лошадей, мы пошли в дом ужинать. Одному из них капитан поручил отнести ко мне в комнату мой дорожный саквояж, и я обещал молодцу рюмку шнапса за его труды.

Старая карга, прислуживавшая за столом вместо очаровательного создания, которое я ожидал увидеть, принесла нам яичницу с беконом.

— Угощение более чем скудное, — посмеялся капитан, — но солдат и не с таким мирится.

С величайшей обстоятельностью он снял шляпу и перчатки, отстегнул портупею с саблей и уселся за стол. А тогда и я, чтобы не уступить ему в учтивости, снял оружие и сложил его туда же, на старый комод.

Старуха принесла нам прекислого вина, и этот вырви-глаз вместе с ее пакостной рожей сразу испортили мне настроение.

— А где же обещанная красotka? — спросил, я, как только карга скрылась за дверью.

— И-и, пустое! — рассмеялся капитан, пронизывая меня пристальным взглядом. — Считайте это шуткой. Я устал, мне не хотелось ехать дальше. По части прекрасного пола лучше этой женщины тут не найдешь. И ежели она вас не прельщает, придется вам, мой друг, подождать до другого случая.

Эти слова мне и вовсе не понравились.

— Клянусь честью, сударь, — сказал я, напряжившись, — вы поступили весьма неучтиво.

— Я поступил, как считал нужным! — отпарировал капитан.

— Сэр, — вскричал я, — вы забываетесь, я британский офицер!

— Вздор и вранье! — заорал мой спутник. — Вы дезертир! Вы самозванец, сэр! Уже три часа, как я вас разгадал. Вы и вчера были мне подозрительны. Мои люди донесли мне, что из Варбурга сбежал солдат, и я был уверен, что это вы. Ваши враки и все ваши благоглупости окончательно меня убедили. Вы говорите, что везете депеши генералу, которого уже десять месяцев нет в живых. У вас дядя посол, а вы даже имени его не знаете. Согласны вы взять задаток и поступить к нам на службу или предпочитаете быть выданным вашему начальству?

— Ни то, ни другое! — воскликнул я и с проворством тигра бросился на него. Но противник мой был начеку. Он выхватил из карманов пару пистолетов, выпустил заряд в воздух и вскричал, стоя по другую сторону

стола и следя за каждым моим движением:

— Ни с места, или я размозжу тебе череп!

В ту же минуту дверь распахнулась, и в комнату ворвались давешние сержанты, держа наперевес мушкеты с примкнутыми штыками.

Игра была кончена. Я бросил нож, которым было вооружился, так как старая карга, подав нам вина, унесла мою саблю.

— Я вступаю добровольно, — сказал я.

— Ну вот, давно бы так, голубчик! А как прикажете вас записать?

— Пишите Редмонд Барри из Балли Барри, — сказал я надменно, — потомок ирландских королей!

— Случалось мне навещать ирландскую бригаду Роша, — сказал вербовщик с усмешкой, — я подбивал там кое-кого из вашей братии перейти к нам, и чуть ли не все они были потомками ирландских королей.

— Сэр, — сказал я, — потомок или не потомок, но я, как видите, джентльмен!

— Таких джентльменов у нас в войсках хоть пруд пруди, вот увидите, отвечал капитан все с той же язвительной усмешкой. — Тем временем, господин Джентльмен, предъявите свои бумаги, тогда будет ясно, кто вы такой.

У меня в бумажнике вместе с документами Фэйкенхема лежало несколько банкнотов, и мне совсем не улыбалось с ними расстаться. А я подозревал, и совершенно справедливо, что это пустая уловка капитана, чтобы ими завладеть.

— Мои личные бумаги вас не касаются, — заявил я. — А в армию я зачислен как Редмонд Барри.

— Подать сюда, без разговоров! — взревел капитан, хватая трость.

— Не дам! — заупрямился я.

— Собака! Ты бунтовать? — крикнул он и наотмашь ударил меня тростью по лицу, очевидно, чтобы вызвать на сопротивление. Я кинулся к нему, чтобы вцепиться ему в горло, но тут налетели оба сержанта и повалили меня наземь, я ударился головой в то самое место, куда недавно был ранен, и потерял сознание. Когда я опомнился, из раны хлестала кровь, мой нарядный кафтан с меня сорвали, кошелек и бумаги исчезли бесследно, а руки были связаны за спиной.

У великого и преславного Фридриха имелись десятки таких торговцев белыми рабами; они шныряли повсюду вдоль границ его страны, сманивали целые отряды, похищали крестьян и не останавливались ни перед какими преступлениями, чтобы снабдить его блистательные полки пушечным мясом. Я не могу отказать себе в удовольствии поведать здесь,

какая судьба постигла подлого негодяя, который, презрев закон дружбы и товарищества, так успешно обвел меня вокруг пальца. Этот субъект, происходивший из знатной фамилии, человек, не лишенный способностей и мужества, был одержим страстью к игре и мотовству; плата наводчиков в отряде вербовщиков привлекала его больше, нежели жалованье капитана в пехотном полку. Самого короля, должно быть, тоже больше устраивало видеть его в первом качестве. Звали его мосье Гальгенштейн, и он весьма благоуспешно подвизался на своем разбойничьем поприще. Он говорил на всех языках, бывал во всех странах, и ему ничего не стоило раскусить такого простака и хвальбишку, как я.

В 1765 году, однако, его постиг заслуженный конец. В то время он обретался в Келе против Страсбурга и, гуляя по мосту, часто вступал в разговоры с часовыми французских аванпостов, суля им золотые горы на прусской службе. Однажды, углядев на мосту красавца гренадера, он обещал ему по меньшей мере роту, если тот согласится служить Фридриху.

— Поговорите с моим товарищем, вон он там стоит, — сказал гренадер. Без него мне ни на что не решиться. Мы с ним земляки, росли в одной деревне, а теперь служим в одной роте, спим на соседних койках и никогда не разлучаемся. Обещайте ему чин капитана, а уж за мной дело не станет.

— Приходите с товарищем ко мне в Кель, — разливался Гальгенштейн, заранее потирая руки. — Мы с вами отлично пообедаем, и я постараюсь удовлетворить все ваши желания.

— Лучше переговорите с ним здесь, — стоял на своем гренадер, — мне нельзя отлучаться с поста. Пройдите вперед и потолкуйте с ним сами.

Гальгенштейн, еще немного поторговавшись, прошел наконец мимо часового, но вдруг одумался и в страхе бросился назад. Тут гренадер приставил ему к груди штык и приказал не двигаться с места: он-де взят под стражу.

Увидев себя в опасности, пруссак одним прыжком перемахнул через перила и кинулся в воду. Бесстрашный часовой бросил мушкет — и за ним. Француз плавал лучше, он догнал вербовщика, потащил его к страсбургскому берегу и сдал на руки властям.

— Тебя должно расстрелять, — объявил часовому генерал, — за то, что ты кинул свой пост и свое оружие; но ты заслуживаешь и награды — за храбрость и отвагу. Король предпочитает тебя наградить. — И гренадеру дали деньги и чин.

Что касается Гальгенштейна, то он объявил себя дворянином на службе у прусского короля, и в Берлин был послан запрос, чтобы проверить



его показания. Но король, хоть и не стеснялся направлять на эти дела людей такого звания (офицера — сманивать солдат союзных армий), не мог, однако, расписаться в собственном позоре. И вот из Берлина приходит письмо, где говорится, что дворянский род Гальгенштейнов действительно имеется в королевстве, но что человек, выдающий себя за такового, заведомый обманщик и самозванец, ибо все офицеры этого имени неотлучно находятся в своих полках и при исполнении своих обязанностей. Для Гальгенштейна это было смертным приговором, и он был повешен в Страсбурге как шпион.

.....

— В фургон его — к другим, — сказал он, как только я пришел в себя.

## Глава VI

# Фургон вербовщиков. Эпизоды солдатской жизни

Фургон, куда меня препроводили, стоял, как уже сказано, во дворе фермы, рядом с другим таким же неприглядным экипажем. Оба они были набиты рекрутами, которых гнусный вербовщик, заманивший меня в ловушку, привел под знамена преславного Фридриха. Когда часовые бросили меня на солому, я разглядел при свете их фонарей десятка полтора темных фигур, сбившихся в кучу в омерзительной передвижной темнице, куда теперь ввергли и меня. Крики и проклятия, которыми разразился мой сосед насупротив, сказали мне лучше всяких слов, что он ранен, как и я; и всю эту ужасную ночь всхлипывания и стоны бедных узников сливались в неумолчный горестный хор, весьма успешно не дававший мне забыться благодетельным сном и отдохнуть от ужасных страданий. Примерно в полночь (насколько я мог судить) заложили лошадей, и скрипучие громыхающие колымаги пришли в движение. Двое вооруженных до зубов солдат примостились на наружной скамье, и их свирепые, освещенные фонарями лица поминутно заглядывали за холщовые занавески, проверяя, все ли узники налицо. Эти полупьяные скоты то и дело принимались петь любовные или солдатские песни вроде: "O, Gretchen, mein Taubchen, mein Herzens-Trompet, mein Kanon, mein Heerpauk und mein Musket"; "Prinz Eugen, der edle Hitter" <sup>[6]</sup> и т. п., их дикие завывания и Jodler <sup>[7]</sup> звучали каким-то адским аккомпанементом к стонам пленников. Впоследствии я не раз слышал эти песни на марше, в казармах или ночами у бивуачных костров.

И все же я не чувствовал себя таким несчастным, как во время поступления на военную службу в Ирландии. Пусть я унижен до положения ничтожного рядового, думал я, по крайней мере, никто из знакомых не явится свидетелем моего позора, а это всегда заботило меня превыше всего. Никто не скажет: "Смотрите, вот молодой Редмонд Барри, потомок рода Барри, дублинский щеголь и светский денди, вот он стоит руки по швам и ест глазами начальство!" Если бы не мнение света, по которому должен равняться всякий уважающий себя человек, я мирился бы и с самой низкой долей. Здесь же я, в сущности, был отрезан от мира, как

если бы находился где-нибудь в сибирской глуши или на острове Робинзона Крузо. Я рассуждал так: "Попался, так нечего скулить: в каждом положении есть свои хорошие стороны, умей же их находить, бери от жизни все, что можно. У солдат на войне сотни возможностей пограбить или как-нибудь еще поразвлечься; тут можно сочетать приятное с полезным; не теряйся же и будь доволен своей судьбой. Ко всему прочему, ты на удивление храбрый, красивый и ловкий малый; как знать, может, еще и продвинешься на новой службе".

Итак, я смотрел на свои незадачи как истый философ, решивший не поддаваться унынию и переносить все страдания с высоко поднятой, пусть и разбитой, головой. Последнее обстоятельство требовало на ближайшее время огромного терпения, ибо нас отчаянно трясло, и каждый толчок отзывался в мозгу такой ужасной болью, что голова раскалывалась на части. Когда занялось утро, я увидел своего ближайшего соседа: долговязый, белобрысый, в черной паре, он лежал, прислонясь головой к соломенной подушке.

— Ты ранен, камрад? — спросил я.

— Благодарение создателю, я тяжко стражду телом и душой и чувствую разбитость во всех членах; однако я не ранен. А вы, мой бедный юноша?

— Я ранен в голову, — отвечал я, — и мне нужна ваша подушка. Отдайте ее мне... у меня в кармане складной нож!! — При этом я смерил его зверским взглядом, как бы говорившим (впрочем, это самое я и хотел сказать, шутки в сторону — *a la guerre comme a la guerre* [8], а я вам не какой-нибудь слабонервный мозгляк!), что, если он не отдаст мне подушку по доброй воле, придется ему познакомиться с моим клинком.

— Друг мой, к чему угрозы, — кротко сказал белобрысый, — я бы отдал ее вам за спасибо. — И он протянул мне свой набитый соломой мешочек.

Прислонясь головой к стенке фургона и приняв наиболее удобное из возможных положений, он принялся повторять про себя: "Ein fester Burg ist unser Gott" [9], из чего я заключил, что передо мной лицо духовное. Тем временем тряска и прочие дорожные неудобства вызывали в фургоне все новые возгласы и возню, из каковых можно было понять, что за разношерстная компания здесь собралась. То какой-нибудь деревенщина распустит нюни; то кто-нибудь взмолится по-французски: "O mon Dieu, mon Dieu!"; [10] несколько пассажиров этой национальности о чем-то тараторили между собой и так и сыпали проклятиями; какой-то рослый

детина в противоположном углу фургона то и дело поминал черта и ад, и я понял, что в нашу компанию затесался англичанин.

Но вскоре я был избавлен от дорожных тягот и дорожной скуки. Невзирая на подушку, отнятую у духовного лица, голова моя, и без того разламывавшаяся от боли, пришла в резкое соприкосновение со стенкой фургона, у меня снова потекла кровь, и все вокруг заволгло туманом. Помню только, что время от времени кто-то давал мне пить и что в каком-то укрепленном городе мы сделали привал и немецкий офицер пересчитал нас; всю остальную часть пути я провел в сонном оцепенении, от которого очнулся только на больничной койке под наблюдением монашки в белом капоре.

— Они коснеют во тьме духовной, — произнес голос на соседней койке, когда монашка, завершив круг своих милосердных обязанностей, удалилась. Они блуждают в кромешной ночи невежества и заблуждений, — и все же свет веры брезжит в сердцах этих бедных созданий.

Это был мой товарищ по плену, его большое скуластое лицо благодаря белому ночному колпаку и обрамлявшей его подушке казалось огромным.

— Как? Вы ли это, герр пастор? — воскликнул я.

— Покамест всего лишь кандидат, — поправил меня ночной колпак. — Но, благодарение господу, сэръ, вы пришли в себя. Чего только с вами не творилось! Вы говорили по-английски (мне знаком этот язык) — об Ирландии, о какой-то молодой особе и Мике, а также о другой молодой особе и горящем доме и об английских гренадерах, — вы даже пропели два-три куплета из какой-то баллады и поминали еще многое другое, несомненно, касающееся вашей биографии.

— Она у меня незаурядная, — сказал я. — Пожалуй, нет человека равного мне происхождения, чьи бедствия могли бы сравниться с моими.

Признаться, я смерть люблю похвастать своим происхождением и своими дарованиями, ибо не раз убеждался, что, если сам не замолвишь за себя словцо, никакой близкий друг не сделает этого за тебя.

— Что ж, — сказал мой товарищ по несчастью, — охотно верю и готов со временем выслушать повесть вашей жизни, но сейчас вам лучше помолчать, ибо горячка была весьма упорной и вы потеряли много сил.

— Где мы? — спросил я, и кандидат сообщил мне, что мы находимся в епархии и городе Фульда, занятом войсками принца Генриха. В окрестностях города завязалась перестрелка с французским отрядом, отбившимся от своих, и шальная пуля, залетев в фургон, ранила беднягу кандидата.

Читатель уже знаком с моей историей, и я не стану ни повторять ее

здесь, ни приводить те добавления, коими я ее изукрасил во внимание к товарищу по невздам. По правде же сказать, я поведал ему, что принадлежу к самому знатному роду в Ирландии, что мой родовой замок — красивейший в стране, что мы несметно богаты и состоим в родстве со всей знатью; что происходим мы от древних королей и т. д. и т. п.; к моему удивлению, в разговоре выяснилось, что мой собеседник знает об Ирландии куда больше моего. Когда речь зашла о моих предках, он спросил:

— Которую же династию вы имеете в виду?

— О, — сказал я (у меня отвратительная память на даты), — самую древнюю, конечно.

— Что я слышу? Неужто вашу родословную можно проследить до сыновей Яфета?

— А как вы думаете! — ответил я. — Да что там до Яфета — до Навуходоносора, если желаете знать.

— Вижу, вижу, — сказал кандидат, улыбаясь. — Вы, стало быть, тоже не верите этим легендам. Все эти парфолане и немедийцы, которыми бредят ваши авторы, не пользуются признанием в исторической науке. Я думаю, у нас так же мало оснований верить этим басням, как и преданиям о Иосифе Аримафейском и короле Бруте, с которыми лет двести назад носились ваши кузены-англичане.

Тут он прочитал мне целую лекцию о финикийцах, скифах и готах, о Туате де Данане, Таците и короле Мак-Нейле; то было, собственно говоря, первое мое знакомство со всей этой братией. Он говорил по-английски не хуже меня и так же свободно, по его словам, владел еще семью языками; и действительно, когда я процитировал единственный известный мне латинский стих, принадлежащий поэту Гомеру, а именно:

As in praesenti perfectum fumat in avt, [\[11\]](#)

он сразу же перешел на латынь; но я кое-как вышел из положения, сославшись на то, что у нас, в Ирландии, принято другое произношение латыни.

У моего честного друга оказалась прелюбопытная биография, и я, пожалуй, приведу ее здесь — она лучше всего покажет читателю, какую разношерстную компанию составляло наше рекрутское пополнение.

— Я, — начал он, — саксонец по рождению, отец мой служил пастором в селении Пфаннкухен, где я и впитал начатки знаний.

Шестнадцать лет (сейчас мне двадцать три), когда я овладел греческим и латынью, не говоря уж о таких языках, как французский, английский, арабский и древнееврейский, мне перепало наследство в сто рейхсталеров — сумма вполне достаточная, чтобы пройти курс университетских наук, и я отправился в знаменитую Геттингенскую академию, где в течение четырех лет изучал точные науки и богословие. Не пренебрегал я и светской выучкой, в меру своих возможностей, конечно; так, я брал уроки у танцмейстера по грошену за урок, учился владеть рапирой у фехтовальщика-француза; слушал на ипподроме лекции о лошадях и верховой езде, читанные знаменитым профессором-кавалеристом. По моему, человек должен знать все, что он в силах вместить, должен всячески расширять свой жизненный опыт; а поскольку все науки равно необходимы, ему подобает, по возможности, знакомиться со всеми. Увы, во многих областях личного развития (в противность духовному, хоть я и не берусь отстаивать правильность этого разделения) я оказался совершеннейшим тупицей. Пробовал я изучить искусство хождения по канату у цыганского маэстро, гастролировавшего в нашей *alma mater*, но этот мой опыт оказался плачевным: как-то, сорвавшись с проволоки, я разбил себе нос. Учился я также править четверкой у нашего же студента-англичанина герра графа лорда фон Мартингэйла, ездившего в университет на собственной четверке. Но и тут осрамился: напоровшись на калитку у Берлинских ворот, я вывалил из кареты подругу моего учителя фрейлейн мисс Китти Коддлинс. Я давал молодому лорду уроки немецкого, когда же произошел этот прискорбный случай, он отказался от моих услуг. За неимением средств пришлось оставить сей *curriculum* <sup>[12]</sup> (прошу прощения за эту шутку), а иначе я мог бы блистать на любом ипподроме и (по выражению высокородного лорда) в совершенстве правил бы вожжами.

В университете я выступил с тезой о квадратуре круга, которая бы, верно, вас заинтересовала, а также дискутировал с профессором Штрумпфом на арабском языке и, как говорят, одержал над ним верх. Я, разумеется, также овладел южноевропейскими языками — что же до языков северной Европы, то для человека, знающего в совершенстве санскрит, они никакой трудности не представляют. Изучить русский, я уверен, показалось бы вам детской забавой, и я всегда буду сожалеть, что не познакомился (в должной мере) с китайским; если бы не теперешние печальные обстоятельства, я бы непременно поехал в Англию, чтобы на торговом судне добраться до Кантона.

Я никогда не отличался бережливостью: небольшого капитала в сто рейхсталеров, с каковым благоразумный человек лет двадцать не знал бы

горя, едва хватило мне на пять лет учения, и пришлось мне прервать занятия, растерять учеников, да и засесть тачать башмаки, чтобы скопить немного денег, а уж там возобновить учебу. Тем временем заключил я сердечный союз с одной особою (тут кандидат слегка вздохнул), которая, не будучи красавицей и имея уже сорок лет от роду, могла бы тем не менее составить мое счастье; а тут как раз с месяц назад мой друг и покровитель проректор университета доктор Назенбрумм сообщил мне, что румпельвицкий пастор приказал долго жить, — так не угодно ли мне включиться в список кандидатов и прочитать в Румпельвице пробную проповедь. И так как получение такого прихода способствовало бы моему союзу с Амалией, я охотно дал согласие и тут же приступил к сочинению таковой.

Хотите послушать? Нет? Ну что ж, со временем, в походе, я ознакомлю вас с отдельными выдержками. Итак, продолжу мое жизнеописание, которое уже близится к концу или, вернее сказать, вплотную подводит меня к нынешнему времени. Я произнес в Румпельвице проповедь, в коей, смею надеяться, мне удалось удовлетворительно разрешить так называемый Вавилонский вопрос. Я прочитал ее в присутствии самого герр барона и его благородного семейства, а также некоторых высокопоставленных лиц, гостивших в замке. Следующим в вечерней программе выступил герр доктор Мозер из Галле; но хотя его рассуждение блистало ученостью и хотя он успешно расправился с одним параграфом у Игнатия, доказав, что это явная интерполяция, однако не думаю, чтобы его проповедь сделала такое же впечатление, как моя, и чтобы румпельвичане были от нее в большом восторге. По окончании ее все кандидаты высыпали из храма и в добром согласии отужинали в румпельвицском "Синем Олене".

Мы еще сидели за столом, когда вошел слуга и сказал, что какой-то человек желал бы поговорить с одним из их преподобий, а именно с "долговязым". Он, очевидно, имел в виду меня: я был головой и плечами выше самого высокого из преподобных кандидатов. Я вышел наружу посмотреть, кому угодно со мной побеседовать, и без труда узнал в незнакомце последователя иудейского вероучения.

"Сэр, — сказал мне оный иудей, — мне посчастливилось услышать от друга, присутствовавшего сегодня в церкви, рубрики вашей замечательной проповеди. Они произвели на меня глубокое, я бы даже сказал, неизгладимое впечатление. Правда, по одному-двум пунктам у меня возникли сомнения, но если ваша честь не откажется мне их растолковать, я полагаю — да, я полагаю, — что ваше красноречие может обратить Соломона Гирша в истинную веру".

"Что же это за пункты, мой добрый друг?" — спросил я. И я перечислил ему все двадцать четыре подзаголовка моей проповеди, чтобы он сказал, какие из них вызывают у него сомнение.

Мы прогуливались взад-вперед под открытыми окнами гостиницы, и товарищи мои, уже слышавшие все это утром, попросили меня, с некоторым даже раздражением, избавить их от повторного слушания. Поэтому мы с моим учеником проследовали дальше, и по особой его просьбе я начал свою проповедь сначала. Память у меня прекрасная, достаточно мне трижды прочесть книгу, чтобы изложить ее слово в слово.

И вот, под сенью деревьев, в мирном сиянии луны, я излил перед ним слова моего поучения, которое недавно произнес при ярком свете дня. Мой израилит слушал, затаив дыхание, прерывая меня лишь возгласами, выражавшими удивление, безоговорочное согласие, восхищение и все возрастающую убежденность. "Замечательно! Wunderschon!" — восклицал он после каждого особенно красноречивого оборота, перебрав, таким образом, все лестные выражения в нашем языке. Кто же из нас не падок до лести! Так прошли мы мили две, и я уже готовился приступить к изложению главы третьей, когда мой спутник предложил мне зайти к нему в дом, мимо которого мы проходили, и выпить кружку пива, от чего я никогда не отказываюсь.

Этот дом, сэр, был тем самым постоянным двором, где, насколько я понимаю, попались и вы. Не успел я войти, как трое вербовщиков набросились на меня, объявили дезертиром и своим пленником и потребовали мои деньги и бумаги, каковые я в отдал, не преминув указать им в самой торжественной форме на все неприличие их поступка в отношении духовной особы; то была рукопись моей проповеди, рекомендательное письмо проректора Назенбрумма, удостоверяющее мою личность, и три грошена четыре пфеннига разменной монетой: Я уже сутки просидел в фургоне, когда явились вы, а французский офицер, лежавший насупротив, (помните, он еще закричал, когда вы наступили ему на раненую ногу), был доставлен незадолго до вас. Его схватили в полной военной форме, при офицерских эполетах; но напрасно он протестовал, ссылаясь на звание и чин: ничто ему не помогло; дело в том, что он был один, без провожатых (по-видимому, спешил на любовное свидание с какой-то гессенской горожанкой), а так как поимщикам было выгоднее забрать его в рекруты, чем захватить в плен, то беднягу постигла та же участь, что и нас с вами. Впрочем, не он первый, не он последний; вместе с нами был взят один из поваров мосье де Субиза, три актера труппы, находившейся во французском лагере, несколько дезертиров, бежавших из



английских войск (эти дурни поверили, что на прусской службе нет палочных наказаний), да еще три голландца.

— Как же так? — воскликнул я. — Вы, с вашими надеждами на богатый приход, с вашим образованием, как можете вы без возмущения смотреть на такой произвол?!

— Я саксонец, — отвечал кандидат, — и, следовательно никакого возмущение мне не поможет. Наша страна уже пять лет под пятою у Фридриха, а ждать справедливости от Фридриха все равно что от Великого Могола. Да я, по правде сказать, и не слишком печалюсь о своей судьбе, я уже много лет перебиваюсь с хлеба на воду; уверен что солдатский паек покажется мне невиданной роскошью Палочные удары в том или другом количестве меня не пугают: это зло преходящее и, следственно, терпимое. Надеюсь, что с божьей помощью не придется мне убить человека в сражении, — а впрочем, даже любопытно проверить на себе действие военного угара, оказавшего столь сильное влияние на род человеческий. Собственно, те же причины побудили меня просить руки моей Амалии: ведь человек не может считаться человеком в полном смысле слова, доколе он не стал отцом семейства, это — условие его существования, а следственно, и цель его воспитания. Амалии придется потерпеть: голод ей не грозит, она, да будет вам известно, служит кухаркой у фрау проректорши Назенбрум, супруги моего досточтимого патрона. У меня с собой две-три книги, на которые вряд ли кто польстится, самая же лучшая запечатлена в моем сердце. Если господу будет угодно призвать меня к себе еще до того, как я успею завершить свое образование, мне ли о том сокрушаться? Сохрани меня бог впасть в заблуждение, но я уповаю, что никому не причинил зла и не повинен ни в одном из смертных грехов. Ежели же я ошибаюсь, мне ведомо, где искать заступничества и прощения, а ежели, как уже сказано, придется умереть, так и не узнав всего, что хотелось бы узнать, то разве я не окажусь в положении, когда мне будет дана вся полнота знания, а чего еще может возжелать душа человеческая?

— Не судите меня за бесчисленные "я" в моей исповеди, — сказал в заключение кандидат, — когда рассказываешь о себе, этого трудно избежать, так оно и проще и короче.

Тут я, пожалуй, соглашусь с моим приятелем, хоть и ненавижу всякое "ячество". Пусть он изобразил себя полным ничтожеством, помышляющим лишь о том, чтобы узнать содержание нескольких лишних протухших книжек, а все же, думается, в этом человеке добрая была закваска; особенно восхищает меня твердость, с какой он сносил свои злоключения. Немало достойных заслуженных людей пасуют при первой же неудаче,

приходя в отчаяние от таких пустяков, как скверный обед или драные локти. Что до меня, я стою на том, что надо мужественно сносить лишения, довольствоваться стаканом воды, когда нет бургонского, и грубым фризом, за неимением бархата. Но бургонское и бархат все же не в пример лучше, и я назову дураком всякого, кто не постарается урвать что получше в общей драке.

Так мне и не довелось познакомиться с рубриками проповеди моего клерикального друга: по выписке из госпиталя его услали подальше от родных мест в воинскую часть, расквартированную в Померании, тогда как меня зачислили в Бюловский полк, обычно стоящий в Берлине. В прусской армии гарнизоны сменяются не столь часто, как у нас; здесь так боятся побегов, что предпочитают знать в лицо каждого служивого, и в мирное время солдат живет и умирает в одном и том же городе. Жизнь от этого, разумеется, не становится приятнее. Я пишу сие в остережение молодым джентльменам, которые, мечтая, подобно мне, о военной карьере, готовы примириться и с положением рядового. Узнав из моих, надеюсь, поучительных записок, что нам, несчастной солдатне, приходится терпеть, они, быть может, воздержатся от опрометчивого шага.

Не успели мы поправиться, как нас взяли из госпиталя, из-под опеки монашек, и перевели в Фульдинскую тюрьму, где с нами обращались как с рабами и преступниками. У входа во все дворы и в нашу обширную темную, — камеру, где спали вповалку несколько сот человек, стояли наготове орудия и бомбардиры с зажженными фитилями, и это продолжалось, пока нас не разослали кого куда. Строевые занятия вскоре показали, кто из нас старые солдаты, а кто новобранцы. Первые, пока мы находились в тюрьме, пользовались большим досугом, зато караулили нас, если это возможно, еще ревнивее, чем убитых горем деревенских разинь, лишь недавно схваченных с помощью уговоров или насилия. Потребовался бы карандаш мистера Гиллрея, чтобы набросать портреты тех, кто здесь собрался. Представлены были все нации и профессии. Англичане дрались и задирались; французы резались в карты, плясали и фехтовали; неуклюжие немцы курили свои трубки и потягивали пиво, когда удавалось его купить. Те, у кого было что ставить, дулись в азартные игры, и тут, надо сказать, мне везло: если я прибыл без гроша в кармане (так меня обчистили проклятые вербовщики), то в первый же присест обыграл чуть ли не на талер француза, который даже не догадался спросить, есть ли у меня на что играть. Вот какое преимущество дает наружность джентльмена; меня она спасала не однажды, когда мои капиталы приходили в оскудение.

Один из французов был красавец мужчина и бравый солдат; мы так и

не узнали, его имени, но трагическая, судьба его стала широко известна в прусской армии и произвела в свое время огромное впечатление. Если красота и отвага доказывают благородное происхождение (хотя мне приходилось встречать среди знати мерзейших уродов и отъявленных трусов), мой француз должен был принадлежать к одной из лучших французских фамилий, таким благородством дышали его осанка и манеры и так он был хорош собой. Он был чуть меньше меня ростом, белокур, тогда как я жгучий брюнет и, пожалуй, шире в плечах, если это возможно. Из всех, кого я знал, он единственный владел рапирой лучше: ему удавалось коснуться меня четыре раза против моих трех. Что касается сабли, тут я мог бы искрошить его в лапшу; к тому же я прыгал дальше и выжимал большие тяжести. Но я, кажется, опять впадаю в "ячество". Этот француз, с которым я близко сошелся (мы с ним считались первыми заводилами в лагере и притом не знали низменной зависти), был, за полной неизвестностью его настоящего имени, окрещен Le Blondin, поводом к чему послужили его светлые глаза и волосы. Он не был беглый солдат, а попал к нам с Нижнего Рейна, из какого-то тамошнего епископства; быть может, ему изменило счастье в игре, а других средств к существованию он не знал; на родине, пожелай он вернуться, его, надо думать, ждала Бастилия.

У Блондина была страсть к игре и вину, что также нас сближало; но он был неистов во хмелю и в азарте, тогда как я легко переношу и проигрыш, и винный угар; это давало мне большое преимущество, и я постоянно его обыгрывал, что очень скрашивало мне жизнь. На воле у Блондина имелась жена (как я догадываюсь, она-то и была первопричиной его несчастий и разрыва с семьей); два-три раза в неделю ее пропускали на свидания, и она никогда не являлась с пустыми руками; это была небольшая смуглая брюнетка с замечательно живыми глазами, чьи нежные взоры никого не оставляли равнодушным.

Француз был зачислен в полк, квартировавший в Нейссе, в Силезии, неподалеку от австрийской границы. Никогда не изменяющая смелость и находчивость вскоре сделали его признанным главой той тайной республики, которая постоянно существует в полку наряду с официальной иерархией. Это был, как я уже сказал, превосходный солдат, но гордец и беспутный забулдыга. Человек подобного склада, если он не умеет ладить с начальством (как я всегда умел), наверняка наживет себе в нем врага. Капитан до лютости ненавидел Блондина и наказывал исправно и жестоко.

Жена Блондина и другие женщины в полку (дело было уже после заключения мира) понемногу промышляли контрабандой на австрийской

границе при попустительстве обеих сторон, и эта женщина, по особому наказу мужа, из каждого такого похода приносила ему пороху и пуль — прусскому солдату не положен такой припас, — и все это пряталось до поры до времени. Но вскоре время назрело.

Дело в том, что Блондин возглавил заговор, выходящий из ряда вон по своему характеру и размаху. Мы не знаем, как широко он был разветвлен, сколько сотен или тысяч людей было им охвачено. Среди нас, рядовых, о заговоре рассказывали множество историй, одна другой чудесней, ибо новости эти переносились из гарнизона в гарнизон, и вся армия жила ими, несмотря на усилия начальства замять дело: замни попробуй! Я и сам вышел из народа; я видел Ирландское восстание и знаю, что такое масонское братство бедняков!

Итак, Блондин поставил себя во главе мятежа. У заговорщиков и в заводе не было никакой переписки, никаких бумаг. Ни один из них не сносился с другими, и только француз давал указания каждому в отдельности. Он подготовил общее восстание гарнизона, которое должно было вспыхнуть ровно в двенадцать, точно в назначенный день. Предполагалось, что мятежники захватят все городские кордегардии и прирежут часовых, а там — кто знает, чем бы это кончилось? У нас говорили, что заговор распространился по всей Силезии и что Блондина ждал пост генерала австрийской службы.

Итак, в двенадцать часов дня у Богемских ворот в Нейссе, против кордегардии, человек тридцать полуодетых солдат слонялось без дела, а француз, стоя подле караульной будки, оттачивал на камне топор. Как только пробило двенадцать, он выпрямился и рассек топором голову караульному. По этому сигналу тридцать человек ворвались в кордегардию, захватили оружие и бросились к воротам. Часовой попытался заложить железный затвор, но подбежавший француз с размаху отрубил ему руку, держащую цепь. Увидев толпу вооруженных солдат, караульные перед воротами преградили им путь, но заговорщики открыли стрельбу, а потом атаковали стражу в штыки. Многие были перебиты, другие разбежались, и тридцать мятежников вырвались на волю. Грайнца проходит всего милях в пяти от Нейсса, туда-то и бросились беглецы.

В городе поднялась тревога; жителей спасло только то, что часы, которыми руководился француз, шли минут на пятнадцать вперед по сравнению с городскими часами. Ударили сбор, все части были призваны к оружию, и солдатам, которые должны были захватить другие кордегардии, пришлось стать в строй. Так заговор и провалился, и только благодаря этому большинство участников не было раскрыто. Никто не мог выдать

своих товарищей, а самим явиться с повинной охотников, конечно, не нашлось.

В погоню за французом и тридцатью беглецами был послан кавалерийский разъезд, который и настиг их у богемской границы. При приближении конницы беглецы повернули и встретили своих преследователей ружейной пальбой, а потом ударили на них в штыки и обратили в бегство. Австрияки вылезли из-за своих застав и с любопытством наблюдали это зрелище. Женщины несли дозор, они доставляли бесстрашным мятежникам свежие патроны, и те вновь и вновь отражали атаки драгун. Но в этих доблестных, хоть и бесплодных стычках было потеряно много времени; вскоре подоспел батальон, окружил храбрецов, и тем решилась их судьба. Все они бились с неистовством отчаяния, ни один не запросил пощады. Когда вышли патроны, схватились врукопашную, большинство полегло на месте, сраженные кто пулей, кто штыком. Последним был ранен сам француз. Пуля раздробила ему бедро, он упал, но до того, как отдаться в руки врагов, прикончил офицера, который первым подбежал его схватить.

Заговорщики, оставшиеся в живых, были доставлены в Нейсе, и француз, как зачинщик, в тот же час предстал перед военным советом. Он отказался назвать свое настоящее имя и фамилию.

— Какое вам дело, кто я, — заявил он. — Вы схватили меня и расстреляете. Как бы славно ни было мое имя, оно не спасет меня от смерти!

Точно так же отказался он от дачи показаний.

— Все это затеял я, — заявил он. — Каждый заговорщик знал только меня и хоронился даже от ближайших товарищей. Тайна эта заключена в моей груди и умрет со мной.

На вопрос офицеров, что толкнуло его на столь ужасное преступление, француз ответил:

— Ваша зверская грубость и произвол. Все вы гнусные мясники, кровопийцы и звери, — добавил он, — и вас бы давно прикончили, кабы не трусость ваших подчиненных.

Услышав это, капитан со страшными проклятиями бросился на раненого и изо всех сил ударил его кулаком. Но Блондин, хоть и потерял много крови, с быстротой молнии выхватил штык из рук поддерживавшего его солдата и вонзил в грудь офицеру.

— Изверг и каналья! — воскликнул он. — Какое великое утешение, что мне удалось перед кончиной отправить тебя на тот свет.

В этот же день его расстреляли. Перед смертью француз попросил

разрешения написать королю при условии, что письмо в запечатанном виде будет из рук в руки сдано почтмейстеру, но офицеры, опасаясь, как бы он не написал чего такого, что переложило бы частично вину на них, отказали ему в его просьбе.

Говорят, будто на ближайшем параде Фридрих встретил их весьма немилостиво и задал им проборку за то, что не посчитались с просьбою француза. Однако в интересах того же короля было хоронить концы, и дело, как я говорил, замяли так основательно, что сотни тысяч солдат были о нем осведомлены: немало нашего брата выпивали свое вино в память храброго француза, пострадавшего за общее дело всех солдат. Не сомневаюсь, что среди моих читателей найдутся такие, которые поставят мне в вину, что я поддерживаю неповиновение и защищаю убийство. Если бы этим читателям пришлось служить в прусской армии в годы 1760–1765, они проявили бы куда меньшую щекотливость. Человек, чтобы вырваться на свободу, убил двух часовых, а сколько сотен тысяч своих и австрийских подданных убил король Фридрих оттого, что позарился на Силезию? Подлый произвол всей этой проклятой системы отточил топор, раскроивший череп двум нейсским часовым, так пусть же это послужит офицерам наукой и заставит их лишний раз подумать, прежде чем ставить в палки несчастных горемык.

Я мог бы рассказать немало эпизодов армейской жизни; но, поскольку я сам старый солдат и все мои симпатии на стороне рядового, в рассказах моих непременно усмотрят безнравственное направление, а потому буду лучше краток.

Представьте себе мое удивление, когда, еще пребывая на острожном положении, я в один прекрасный день услышал знакомый голос и стал свидетелем того, как некий тщедушный юный джентльмен, только что доставленный к нам парой кавалеристов, которые разок-другой вытянули его по спине хлыстом, разоряется на отменнейшем английском диалекте:

— Пвоклятые разбойники, я вам этого не пвощу! Я напишу своему посланнику, и это так же верно, как то, что меня зовут Фэйкенхем из Фэйкенхема!

Я невольно расхохотался: это был мой старый благо-приятель, напьяливший мой капральский мундир. Оказывается, Лизхен твердо стояла на том, что он и в самом деле солдат, и беднягу забрали и отправили к нам. Но я не злопамятен, а потому, насмешив до колик всю камеру рассказом, как я облапошил бедного малого, я же затем подал ему дельный совет, который и помог ему добиться освобождения.

— Прежде всего жалуйся инспектирующему офицеру, — сказал я, —

коль скоро тебя угонят в Пруссию — прости-прощай, оттуда уже не выцарапаешься. Тем временем переговоры с комендантом острога, пообещай ему сто — нет, пятьсот гиней за свое освобождение, скажи, что бумаги твои и кошелек прикарманил капитан вербовочного отряда (как оно и было на самом деле); а главное, убеди его, что ты в состоянии уплатить означенную сумму, и дело твое в шляпе, ручаюсь!

Мистер Фэйкенхем воспользовался моим советом. Когда мы выступили в поход, он нашел повод попроситься в госпиталь, а за время его пребывания там все устроилось как нельзя лучше. Правда, дело чуть не сорвалось, оттого что он по скупости вздумал торговаться. А уж меня, своего благодетеля, он так ничем и не отблагодарил.

Не ждите от меня романтического описания Семилетней войны. К концу ее прусская армия, столь прославленная своей отвагой и железной дисциплиной, была прусской лишь что касается офицерского и унтер-офицерского состава, ибо командовали только природные пруссаки; в огромном же большинстве ее набирали из всех европейских наций, действуя где подкупом, а где обманом и насилием, как это было со мной. Побег был массовым явлением. В одном лишь моем полку (Бюлова) до войны насчитывалось не менее шестисот французов; когда началась кампания и они выступили из Берлина, один из этих парней наигрывал на старой скрипке французскую песенку, а его товарищи, не столько маршируя, сколько пританцовывая в такт, пели хором: "Nous aliens en France!" <sup>[13]</sup> Прошло два года, и только шестеро вернулось в Берлин, остальные бежали или погибли в бою. Жизнь рядового была несносно тяжела и по плечу только людям железного мужества и железной выдержки. За каждой тройкой рядовых шел по пятам капрал и без всякой жалости потчевал их палкой; говорили, что в сраженьях за шеренгой рядовых неизменно следует шеренга сержантов и капралов и вторая гонит первую в бой. Постоянные пытки и истязания толкали людей на отчаянные дела. В нескольких полках вспыхнула страшная эпидемия, вызвавшая переполох даже при дворе. Распространился жуткий, чудовищный обычай детоубийства. Солдаты объясняли это тем, что жизнь невыносима, а самоубийство — смертный грех; и чтобы избежать его, а вместе с тем избавиться от нестерпимых страданий, лучшим выходом считали погубить безгрешного младенца, которому обеспечено царствие небесное, а затем отдаться в руки властям, принеся чистосердечную повинную.

Сам король, сей герой, мудрец и философ, сей просвещенный государь, похвалявшийся своим либерализмом и осуждавший на словах смертную казнь, испугался этого страшного протеста своих пленников

против чудовищного самовластия; однако единственное, что он придумал для искоренения зла, был приказ ни под каким видом не допускать к злодеям священников любого вероисповедания, дабы лишить несчастных утешения церкви.

Наказывали беспрестанно. Каждому офицеру дано было право назначать любую экзекуцию, причем в мирное время наказания были, как правило, тяжелее, чем в военное. С наступлением мира король уволил со службы всех офицеров простого звания, какие бы ни были у них заслуги. Он вызывал капитана и заявлял перед всей ротой:

— Не дворянин! В бессрочную!

Все мы трепетали перед ним, словно хищные звери пред укротителем. Я видел известных храбростью солдат, которые плакали, как дети, от удара палкой. Видел, как мальчишка, пятнадцатилетний прапорщик, вызвал из рядов пятидесятилетнего кавалера, поседевшего в битвах: он стоял, взяв на караул, и всхлипывал и скулил, точно беспомощный младенец, а этот змееныш со вкусом хлестал его по рукам и бедрам. На поле брани такому человеку сам черт не брат. Попробовали бы там ему сказать, что у него не так пришта пуговица! Но стоило хищному зверю отвоеваться, как его хлыстом приводили в повиновение. Все мы жили во власти страха, и мало кому удавалось от него освободиться. Французский офицер, схваченный вместе со мной, служил в моей роте и бывал нещадно бит.

Лет через двадцать мы встретились с ним в Версале. Когда я заговорил с ним о тех временах, он даже переменялся в лице.

— Ради бога, — сказал он, — не поминай былое, я и по сию пору просыпаюсь, дрожа и обливаясь слезами.

Что до меня, то спустя короткое время (за какое мне, признаюсь, довелось, как моим товарищам, отвесть палки), когда я уже успел зарекомендовать себя как храбрый и сноровистый солдат, я принял те же меры, что и на английской службе, дабы оградить себя от дальнейших унижений. Я носил на шее пулю, которую отнюдь не прятал, но давал понять, что она предназначена тому, будь он солдат или офицер, кто посмеет поставить меня в палки. Было в моем нраве что-то заставлявшее начальников верить, что я слов на ветер не бросаю; эта пуля уже сослужила мне службу, когда я застрелил австрийского полковника, но я без колебаний всадил бы ее и в пруссака. Их распри были мне безразличны, мне было безразлично, под каким маршировать орлом — одноглавым или двуглавым. Я говорил: "Никто не скажет, что я манкирую своими обязанностями, а значит, никто меня пальцем не тронь!" И этому правилу я оставался верен до конца моей солдатской службы.



Я не намерен писать историю баталий, в коих мне довелось сражаться под прусскими знаменами, как не вдавался в их описание, вспоминая английскую службу. Я не хуже других выполнял свой долг, и к тому времени, как отрастил порядочные усы, — а было мне тогда лет двадцать, — более храброго, красивого и ловкого солдата, а также, сознаюсь, более прожженного негодяя не нашлось бы во всей прусской армии. Я усвоил все положенные вояке черты хищного зверя: в бою бывал свиреп и беспечен, а в передышки между боями накидывался на все без разбора доступные мне удовольствия, добытые любым путем, хотя, по правде сказать, солдатская среда была здесь несравненно выше, чем у вахлаков-англичан, да и по службе нас так подтягивали, что времени не оставалось на проказы.

Так как я жгучий брюнет со смуглой кожей, меня прозвали в полку "Der schwarze Engländer" — "Черномазый Англичанин", а также "Английский Дьявол". Наиболее ответственные задания всегда поручались мне. Не обходили меня и денежными наградами, зато уж насчет производства — ни-ни! В тот день, когда мне удалось убить австрийского полковника (это был улан, и, как говорили, из крупных шишек, я схватился с ним один на один в пешем бою), сам генерал Бюлов, наш командир, поздравил меня перед фрунтом, пожаловал двумя фридрихсдорами и сказал: — Сейчас я тебя награждаю, но как бы вскорости не пришлось повесить!

Я в тот же вечер в развеселой компании прокутил эти деньги до последнего грошена, а заодно и те, что нашел на убитом полковнике; да и вообще, пока продолжалась война, деньги у меня не переводились.

## Глава VII

### Барри ведет гарнизонную жизнь и обзаводится друзьями

Когда война кончилась, наш полк перевели в столицу, этот, быть может, наименее тоскливый из всех прусских городишек, хотя особого веселья и здесь не наблюдалось. Служба, как всегда, суровая, все же оставляла нам достаточно свободных часов, и мы могли посвящать их развлечениям и удовольствиям — было бы чем платить. Многие солдаты получили разрешение заняться вольным ремеслом; я же ничему не был обучен, да и честь моя не стерпела бы такого унижения: слыхано ли дело — джентльмену пачкать руки грязной работой! Однако солдатского жалованья едва хватало, чтобы не помереть с голоду, и так как я был падок до удовольствий, а наше пребывание в столичном городе мешало нам добывать средства обычным способом, накладывая поборы на гражданское население, что так выручает солдат в военное время, то и пришлось мне примириться с необходимостью и, чтобы промыслить средства на веселое житье, заделаться так называемым *Ordonnanz*, иначе говоря, доверенным денщиком моего капитана. Несколько лет тому назад я с негодованием отверг подобное предложение, но то было на английской службе — иное дело чужбина; к тому же, по правде сказать, промаявшись пять лет простым рядовым, становишься нечувствительным ко многим щелчкам, столь несносным для нашей гордости в вольной жизни.

Мой капитан был еще очень молод, что не помешало ему отличиться на войне и достичь такого чина. Он был к тому же племянник и единственный наследник министра полиции мосье. Поцдорфа, каковое обстоятельство, без сомнения, способствовало его производству. На плацу и в казармах капитан фон Поцдорф никому спуска не давал, но лестью можно было обвести его вокруг пальца. Я полюбился ему в первую очередь аккуратной косой (никто в полку не умел так убирать голову, волосок к волоску, как моя персона), а потом закрепил его расположение всяческими комплиментами и подходцами, коими, как истый джентльмен, умел распорядиться с большим тактом. Мой капитан любил развлекаться и позволял себе в этом отношении больше, чем допускалось суровым укладом двора; он легко и беспечно транжирил деньги и питал пристрастие к рейнским винам, я же, разумеется, поддерживал его в этих склонностях,

извлекая из них известную пользу для себя. В полку его не любили, поговаривали, что он чересчур предан дядюшке-министру и доносит ему обо всем, что у нас творится.

Итак, я без труда вкрался в милость моего командира и вскоре был посвящен почти во все его дела. Это избавляло меня от множества смотров и учений, от которых я иначе бы не отвертелся, и открывало предо мной возможность легких заработков. Теперь я был одет, как джентльмен, и подвизался с известным eclat <sup>[14]</sup> в некоторых кругах берлинского общества, достаточно, впрочем, скромных. Дамы всегда меня отличали, я умел так поразить их галантностью, что они понять не могли, почему в полку мне присвоено нелестное прозвище Черный Дьявол. "Не так страшен черт, как его малюют", — говорил я, смеясь, и дамы хором возглашали, что этот рядовой воспитан не хуже своего капитана, хотя, собственно, иначе и быть не могло, принимая в расчет мое воспитание и происхождение.

Уверясь в добром расположении капитана, я испросил у него позволения написать в Ирландию бедной моей матушке, которая уже много, много лет ничего обо мне не знала, ибо писем солдат-иностранцев на почте не принимали, опасаясь неприятностей со стороны родителей пропавших без вести сыновей. Капитан обещал найти способ отправить мое письмо, и так как я знал, что он его вскроет, то и отдал нарочито запечатанным, показывая этим, сколь я ему доверяю. Самое же письмо, как вы догадываетесь, составил так, чтобы оно не повредило мне, буде кто его перехватит. Я просил у моей досточтимой матушки прощения за то, что бежал от нее; признавался, что расточительство и безрассудство в родном отечестве делают мое возвращение заведомо невозможным, пусть же она, по крайней мере, утешается тем, что я здоров и благополучен на службе у величайшего монарха в мире и что жизнь солдата мне по душе; к тому же, добавил я, мне удалось обрести защитника и покровителя, который, надеюсь, устроит мою судьбу, чего она, как мне ведомо, сделать не в силах. Я посылал приветы всем девицам в замке Брейди, перечислив их поименно от Бидди до Бекки, по старшинству, и подписался: "любящий Вас сын (каким я и в самом деле был) Редмонд Барри, военнослужащий роты капитана Поцдорфа, Бюловского пешего полка в Берлинском гарнизоне". Я также рассказал ей забавный анекдот, как король самолично спустил с лестницы канцлера и трех судейских, чему я был очевидцем, стоя на карауле в Потсдамском дворце. Надеюсь, писал я, скоро начнется новая война, и я буду произведен в офицеры. Словом, судя по письму, я был счастливейшим человеком на свете и в рассуждение этого нисколько не огорчился, что ввожу в обман свою дорогую родительницу.

Письмо и в самом деле было прочтено, ибо несколько дней спустя капитан Поцдорф стал расспрашивать о моем семейном положении, каковое я и описал ему настолько точно, насколько позволяли обстоятельства. Я — младший сын в добропорядочной фамилии, но матушка осталась без всяких средств и бьется как рыба об лед, чтобы содержать восьмерых дочерей, которых я и перечислил поименно. Я изучал в Дублине право, но угодил в дурную компанию, залез в долги и убил человека на дуэли. Вздумай я вернуться на родину, его могущественные друзья постарались бы меня повесить либо упечь в тюрьму. Я добровольно поступил на английскую службу, а когда представился случай, не устоял перед соблазном и убежал; тут я изобразил эпизод с мистером Фэйкенхемом из Фэйкенхема, да в таком уморительном свете, что мой патрон чуть живот не надорвал со смеха. Впоследствии он сообщил мне, что рассказал эту историю на вечере у мадам фон Намеке и что все общество жаждет лицезреть молодого Englander [\[15\]](#).

— А не было среди гостей английского посланника? — осведомился я будто в величайшей тревоге. — Ради бога, сэр, не говорите, как меня зовут, а то он, чего доброго, потребует моей выдачи, у меня же нет ни малейшего желания быть вздернутым в моем дорогом отечестве.

И Поцдорф стал уверять, смеясь, что никуда меня не отпустит, на что я поклялся ему в благодарности до гроба.

Несколько дней спустя он сказал мне с серьезным видом:

— Редмонд, я говорил насчет тебя с нашим полковником. Я выразил удивление, почему человек твоей отваги и твоих способностей не был произведен на войну, и полковник сказал мне, что ты известен командованию как храбрый рубака из хорошей, видно, семьи, что в полку нет солдата тебя исправнее и в то же время нет такого, кто бы меньше заслуживал производства. Ты будто бы отпетый негодяй, распутник и бездельник; вечно ты пакостишь товарищам и при всех своих талантах и храбрости, по его мнению, добром не кончишь.

— Сэр, — сказал я, немало удивленный тем, что у кого-то могло сложиться такое мнение обо мне, — генерал Бюлов заблуждается на мой счет, надеюсь, это какая-то ошибка; пусть я попал в дурное общество, но я позволяю себе не больше, чем другие солдаты. Вся беда в том, что не было у меня до сей поры покровителя и друга, которому я мог бы показать, чего в самом деле стою; генерал, должно быть, считает меня пропащим малым, из тех, кому сам черт не брат, по будьте уверены, ради вас, капитан, я не побоюсь сразиться с самим чертом!

Я видел, что эти слова пришлись ему по сердцу; а так как я вел себя с

большим тактом и оказался ему полезен в тысяче случаев самого деликатного свойства, то вскоре он искренне ко мне привязался. Так, в один прекрасный день, — вернее, ночь, когда он находился в приятном *tete-a-tete* с супругою советника фон Доза... а впрочем, что толку вспоминать проказы, никому уже не интересные!

Спустя четыре месяца, после того как я написал матушке, капитан вручил мне письмо, пришедшее на его имя, и не могу описать, какую оно пробудило во мне тоску по дому и какую навеяло грусть. Уже пять лет не видел я каракуль моей родимой. Невозвратное детство и свежие зеленые поля Ирландии, облитые солнечным сиянием, и материнская ласка, и баловник дядюшка, и Фил Пурсел, и все, что я когда-то делал и чем жил, нахлынуло на меня неудержимо при чтении письма; оставаясь один, я проливал над ним слезы, каких не лил с тех пор, как Нора насмеялась надо мной. Я скрыл свое горе от капитана и однополчан. В тот вечер мне предстояло пить чай в загородной кофейне у Бранденбургских ворот в обществе фрейлейн Лоттхен (горничной госпожи фон Доз), но я был слишком убит, чтобы куда-то идти, и, отговорившись нездоровьем, бросился раньше обычного на свои нары в казарме, где бывал теперь, когда и сколько вздумается, и всю долгую ночь провел в слезах и размышлениях о дорогой моей Ирландии.

Впрочем, уже на следующий день, воспрянув духом, я разменял билет в десять гиней, присланный матушкой в письме, и задал своим дружкам пир на славу. Письмо бедняжки было закапано слезами, испещрено библейскими текстами и написано так мудро и невнятно, что трудно было что-нибудь понять. Она счастлива знать, писала матушка, что я служу протестантскому государю, хоть и сомневается, на праведном ли тот пути; что до праведного пути, писала она, то ей посчастливилось ступить на него под руководством преподобного Осени Джоулса, ее духовного наставника. Она писала, что сей муж — сосуд избранный, что он — душистое притирание и драгоценный ящик нарда, а также употребляла и другие выражения, смысл коих остался мне темен; и только одно явствовало из этой бестолочи, что добрая душа по-прежнему любит своего сыночка, что день и ночь она думает и молится о своем бесшабашном Редмонде. Кому из нас, отверженных горемык, не приходила мысль в часы одинокого ночного бдения, в болезни, печали или неволе, что в эту минуту мать, быть может, молится о нем! Меня часто посещали эти мысли; веселыми их не назовешь, и хорошо, что они не приходят к нам на людях, — какая уж это была бы веселая компания! Все сидели бы хмурые, поникшие, словно плакальщики на похоронах. В тот вечер я осушил кубок за матушкино здоровье, да и

вообще зажил джентльменом, пока не промотал ее деньги. Бедняжка лишила себя самого необходимого, чтобы послать их мне, как она потом рассказывала, и этим прогневила мистера Джоулса.

Матушкины гиней скоро растаяли, но на смену им пришли другие; у меня были сотни путей добывать деньги, капитан и его друзья надыхаться на меня не могли. То мадам Доз подарит мне фридрихсдор за то, что я принесу ей букет или записку от капитана, то, наоборот, сам старый советник угостит меня бутылкой рейнского и сунет мне в руку талер-другой, чтобы выведать что-нибудь относительно liaison <sup>[16]</sup> между его дражайшей половиной и капитаном. Но хоть я был не так глуп, чтобы отказываться от денег, у меня, поверьте, хватало честности не предавать своего благодетеля, и от меня ревнивец узнавал немного. Когда же капитан покинул свою даму сердца ради дочери голландского посланника, невесты с большим приданым, несчастная советница без счета перетаскала мне писем и гиней, чтоб я вернул ей ее сокровище. Но любовь не знает возврата, разве лишь в редких случаях; капитан только посмеивался над ее "докучными мольбами и вздохами. В доме же минхера ван Гульдензака я так расположил к себе всех от мала до велика, что вскоре сделался там своим человеком и, случалось, разнюхивал даже кое-какие государственные тайны, чем немало удивлял и радовал своего капитана. Он докладывал о моих открытиях дядюшке, министру полиции, который, без сомнения, умел ими распорядиться с пользой для себя. Вскоре я завоевал благосклонность всего семейства Поцдорфов и был теперь солдатом лишь по названию: разгуливал в штатском платье (отменного покроя, смею вас уверить) и развлекался на сотню ладов, к великой зависти всех этих бедняг — моих однополчан. Что до сержантов, то они ходили у меня по струнке, как перед начальством: повздорить с человеком, который наушничает племяннику министра, значило для них рисковать своими нашивками.

Служил в моей роте некий малый, Курц <sup>[17]</sup> по фамилии, что не мешало ему быть шести футов росту. Как-то в бою я спас ему жизнь. Я рассказал ему одно из своих походов, и этот стрюцкий назвал меня шпиком и доносчиком и запретил обращаться к нему на "ты", как это бывает между молодыми людьми, когда они ближе сойдутся. Мне ничего не оставалось, как послать ему вызов, хоть я не держал на него ни малейшей злобы. В мгновение ока я вышиб у него шпагу и, когда она пролетела над его головой, сказал:

— Как по-твоему, Курц, человек, проделывающий такие штуки, способен на низкий поступок?

Этим я заткнул глотку и прочим ворчунам, у них пропала охота задирать меня.

Вряд ли кому придет в голову, что человеку моего склада приятно было шнырять по чужим передним и амикошонствовать с лакеями да приживалами. Но это было, право же, не более унижительно, чем сидеть в осточертевших казармах. Мои уверения, будто жизнь солдата мне по душе, были рассчитаны на то, чтобы отвести глаза моему хозяину. На самом деле я рвался из оков. Я знал, что рожден для лучшей доли. Доведись мне служить в Нейссе, я вместе с отважным французом проложил бы себе путь к свободе. Но единственным моим оружием была хитрость, так разве я был не вправе пустить ее в ход? У меня возник план — сделаться так необходимым мосье Поцдорфу, чтобы он сам исхлопотал мне увольнение: выйдя на волю, я, при моей счастливой наружности и моем происхождении, легко добьюсь того, что до меня удавалось десятку тысяч ирландцев, — женюсь на богатой невесте из хорошей семьи. А в доказательство, что, будучи интересантом, я не вовсе был лишен благородных устремлений, приведу следующий случай. В Берлине я знал вдову бакалейщика, толстуху с рентой в шестьсот талеров и весьма прибыльным делом; так вот, когда эта женщина дала мне понять, что готова выкупить меня из армии, если я на ней женюсь, я напрямик сказал ей, что не создан торговать бакалеей, и решительно отверг этот шанс на освобождение.

И я был признателен моим хозяевам, куда более признателен, чем они мне. Капитан по уши увяз в долгах и постоянно имел дело с евреями-ростовщиками, которым выдавал заемные письма с обязательством уплатить после дядюшкиной смерти. Видя, как доверяет мне племянник, старый герр фон Поцдорф вздумал меня подкупить, чтобы разведать, как обстоят дела у молодого повесы. И как же я поступил в этом случае? Осведомил мосье Георга фон Поцдорфа об этих домогательствах, и мы, сговорившись, составили список, но только самых умеренных, долгов, которые скорее успокоили, чем раздосадовали старого дядюшку, и он уплатил их, радуясь, что дешево отделался.

И хорошо же меня отблагодарили за такую верность! Как-то утром старый господин заперся со своим племянником (он обычно разузнавал у него новости о молодых офицерах: кто крупно играет; кто с кем завел шашни; кто в такой-то вечер был в собрании; кто крупно задолжал и прочее тому подобное, так как король лично входил в дела каждого офицера), меня же послали к маркизу д'Аржану (тому самому, что впоследствии женился на мадемуазель Кошуа, актрисе), но, встретив маркиза в нескольких шагах

от дома, я отдал ему записку и повернул обратно. Между тем капитан и его достойный дядюшка, как оказывается, принялись обсуждать мою недостойную особу.

— Он хорошего роду, — говорил капитан.

— Вздор! — сказал дядюшка, и я почувствовал, что готов удавить наглеца. — Все ирландские побирушки, когда-либо к нам нанимавшиеся, говорили то же самое.

— Гальгенштейн утащил его силою, — настаивал капитан.

— Та-та-та, похищенный дезертир, — отмахнулся мосье Поцдорф, — *la belle affaire!* [\[18\]](#)

— Во всяком случае, я обещал малому похлопотать о его освобождении. Уверен, что он будет вам полезен.

— Что ж, ты и похлопотал, — сказал старший, смеясь. — *Bon Dieu!* [\[19\]](#) Ты прямо-таки образец честности! Как же ты заступишь меня, Георг, если не станешь умнее? Используй этого субъекта как угодно. У него неплохие манеры и располагающая наружность. Он лжет с апломбом, какого я ни у кого не встречал, и в случае чего, как ты уверяешь, не побоится стать к барьеру. У мерзавца немало ценных качеств. Но он хвастун, мот и *bavard* [\[20\]](#). Доколе полк держит его *in terrorem* [\[21\]](#), можешь из него веревки вить. Но стоит ему освободиться, и только его и видели. Продолжай кормить его обещаниями, обещай даже в генералы произвести, если хочешь. Какое мне дело! В этом городе фискалов и шпииков пруд пруди.

Так вот, значит, как неблагодарный старик расценивал услуги, которые я оказывал его племяннику; обескураженный, я тихонько вышел из комнаты, думая о том, что еще одна моя мечта рухнула и что все мои надежды освободиться, служа капитану верой и правдой, построены на песке. Я было так приуныл, что подумывал уже о союзе с той вдовой, но солдат может жениться лишь по прямому разрешению короля, а вряд ли его величество позволил бы двадцатидвухлетнему молодцу, и к тому же первому красавцу в его армии, соединиться с шестидесятилетней старухой, у которой вся морда в прыщах и далеко уже не тот возраст, когда брак может способствовать приросту населения в державе его величества.

Итак, еще одна надежда на освобождение пошла прахом! Выкупиться на волю я тоже не мог, разве что какая-нибудь сердобольная душа внесет за меня внушительную сумму, ибо, хоть мне и довольно перепадало денег, я всю свою жизнь был неисправимым транжиром и (таков уж мой великодушный нрав) всегда в долгу как в шелку, сколько я себя ни помню.



Мой капитан — этакая продувная бестия! — представил мне свой разговор с дядюшкой в совершенно другом свете.

— Редмонд, — сказал он, улыбаясь, — я напомнил министру о твоих заслугах [\[22\]](#) — считай, что карьера твоя сделана. Мы выцарапаем тебя с военной службы и устроим по полицейской части на должность таможенного инспектора, это позволит тебе возвращаться в лучшем обществе, чем то, какое до сей поры определила тебе фортуна.

Я, конечно, не поверил ни одному его слову, но сделал вид, что тронут до слез, и поклялся капитану в вечной признательности за участие к бедному ирландскому изгнаннику.

— Твои заслуги в голландском посольстве оценены по достоинству. А вот еще случай, когда ты можешь быть нам полезен. Выполнишь с честью это поручение, и дело твое в шляпе!

— Какое поручение? — спросил я. — Я на что угодно готов для моего благодетеля.

— В Берлине уже несколько дней гостит некое лицо, состоящее на службе у австрийской императрицы. Сей господин именуется шевалье де Баллибарри, он носит красную ленту и звезду папского ордена Шпоры. — Немного он, правда, болтает по-французски и итальянски, но есть основания предполагать, что мосье Баллибарри твой соотечественник. Слышал ты в Ирландии такое имя?

— Баллибарри? Баллиб... — У меня мелькнула догадка. — Нет, сэр! сказал я уверенно. — Первый раз слышу.

— Поступишь к нему в услужение. Ты, конечно, ни слова не знаешь по-английски; если шевалье заинтересуется твоим произношением, скажи, что ты венгерец. Слуга, что с ним приехал, сегодня получит расчет, а то лицо, что обещало найти ему верного человека, порекомендует тебя. Итак, ты венгерец, служил в Семилетнюю войну. Уволился из армии по причине ломоты в поясице. Два года прослужил под началом мосье де Квелленберга; он сейчас с полком в Силезии, вот тебе рекомендательное письмо за его подписью. Потом ты служил у доктора Мопсиуса, он тоже даст тебе аттестацию, если понадобится. Хозяин "Звезды", разумеется, удостоверит, что знает тебя как честного человека, но на него не ссылайся, его рекомендация ни черта не стоит. Что до прочей твоей биографии, можешь сочинить ее в любом удобном тебе духе, романтическом или забавном, как подскажет воображение. Но лучше бей на жалость, так легче вкратиться в доверие. Он крупно играет и неизменно выигрывает. Ты хорошо соображаешь в картах?

— Боюсь, что нет, не больше, чем обычный солдат.

— А я-то думал, ты ловкач по этой части. Надо выяснить, чисто ли шевалье играет, если нет, он в наших руках. Он постоянно сносится с английским и австрийским посланниками, молодежь из обоих посольств частенько у него ужинает. Узнай, о чем они говорят и кто из них сколько ставит, особенно те, что играют на мелок. Последи за его письмами — не теми, что идут по почте, эти — не твоя печаль, за ними присмотрим мы сами. Но если он напишет кому записку, обязательно доищись, кому она адресована и кому поручена для передачи. Ключи от шкатулки с депешами висят у него на шее, он и спит с ними. Двадцать фридрихсдоров, если изобразишь с них слепок! Пойдешь к нему, конечно, в цивильном. Советую снять с волос пудру, перевяжи их просто лентой. Усы, разумеется, сбрей.

Напутствовав меня этой речью и весьма ничтожными чаевыми, капитан удалился. Когда мы снова встретились, он немало смеялся происшедшей во мне перемене. Я не без сердечной боли сбрил усы (они были черные как смоль и лихо завивались), но зато с облегчением смыл с волос ненавистные муку и сало; надел скромный серый французский кафтан и черные атласные панталоны, светло-коричневый бархатный камзол и шляпу без кокарды. По кроткому и смиренному виду меня вполне можно было принять за слугу, которому отказали от места; думаю, что даже мои однополчане, которые в ту пору находились в Потсдаме на смотре, и те не узнали бы меня при встрече. Снарядившись таким образом, отправился я в гостиницу "Звезда", где остановился приезжий иностранец. Сердце у меня тревожно билось, что-то говорило мне, что шевалье де Баллибарри не кто иной, как Барри из Баллибарри, старший брат моего отца, лишившийся состояния из-за упорной приверженности к папскому злоучению. Прежде чем ему представиться, я заглянул в *gemise* [\[23\]](#), где стояла его карета. Был ли на ней герб Барри? Еще бы, никаких сомнений! Серебристый на червленом поле с четырьмя отсеками — древняя эмблема нашего дома! Намалеванный на щите величиной с мою шляпу, он украшал все панели раззолоченной колесницы, увенчанной короною, которую поддерживал десяток купидонов, рогов изобилия и цветочных корзин, по затейливой геральдической моде того времени. Ну конечно же, это мой дядя! Ноги у меня подкашивались, когда я поднимался по лестнице: ведь я намерен был представиться дядюшке в скромном качестве слуги!

— Вы молодой человек, о котором говорил мне мосье де Зеебах?

Я поклонился и вручил ему письмо от названного господина, которым меня предусмотрительно снабдил мой капитан. Пока дядюшка пробегал его глазами, у меня было время его рассмотреть. Передо мной был человек лет шестидесяти, одетый в нарядный кафтан и панталоны из бархата

абрикосового цвета и белый атласный жилет, расшитый золотом, как и кафтан. Через плечо он носил пурпурную ленту ордена Шпоры, огромная звезда того же ордена сверкала на груди. Пальцы были унизаны кольцами, из кармашков глядели двое часов, на шее висел великолепный солитер на черной ленте, концы которой были прикреплены к кошельку его парика. Манжеты и жабо рубашки пенились дорогими кружевами; розовые шелковые чулки с золотыми подвязками обтягивали ноги выше колен; туфли на красных каблуках были украшены огромными алмазными пряжками. Оправленный золотом меч в ножнах из рыбьей кожи и шляпа, богато отделанная кружевами и белыми перьями, лежали рядом на столе, дополняя одеяние великолепного вельможи. Он был почти моего роста — шесть футов полдюйма, да и лицом удивительно походил на меня, черты его дышали таким же благородством. Однако правый глаз скрывался под черным пластырем, лицо было местами подмазано белилами и румянами — в то время не чуждались таких прикрас; густые усы свисали на рот, в выражении коего, как я убедился позднее, проглядывало что-то отталкивающее: когда шевалье сбрасывал их, верхние зубы его торчали наружу, и на губах застывала улыбка, напряженная, мертвенная, не сказать чтобы приятная.

То была величайшая неосторожность, но, пораженный этим великолепием и блеском, этим благородством осанки и манер, я почувствовал, что больше не могу таиться; и когда он заметил: "Так вы, оказывается, венгерец?" — меня прорвало.

— Сэр, — воскликнул я. — Я ирландец, и меня зовут Редмонд Барри из Баллибарри! — Сказав это, я неудержимо зарыдал, сам не знаю почему, просто я уже шесть лет не видел никого из близких и до невозможности истосковался.

## Глава VIII

### Барри покидает военное поприще

Тот, кто никогда не выезжал из родной страны, понятия не имеет, что творится с истосковавшимся пленником, слышавшим голос друга: не всякий поэтому уразумет, какой взрыв чувств потряс меня, как я уже сказал, при виде моего дяди. Он ни на минуту не усомнился в верности моих слов.

— Матерь божья! — воскликнул он, — Никак, сын братца Гарри? — Мне кажется, он тоже был тронут до слез, столь неожиданно встретив родную плоть и кровь, — ведь он был такой же изгнанник, и голос друга и приветный взгляд напомнили ему родную страну и невозвратное детство.

— Я отдал бы пять лет жизни, чтобы снова увидеть все это! — воскликнул он, крепко меня обнимая.

— Что — это? — спросил я.

— Как что? Да наши зеленые поля, и речку, и древнюю круглую башню, и кладбище в Баллибарри. Это позор, Редмонд, как мог твой отец расстаться с землей, искони принадлежавшей нашему роду!

Он стал расспрашивать, как мне живется, и я довольно обстоятельно рассказал ему мою историю. Слушая меня, достойный джентльмен немало посмеялся, говоря, что я вылитый Барри. Он нет-нет прерывал меня, то изъявляя желание померяться ростом (тут я удостоверился, что мы одного роста, что одно колено у него не гнется и от этого у него какая-то чудная походка), то от избытка чувств перемежая мой рассказ возгласами жалости, благосклонности, удивления. Я только и слышал что: "Святители угодники!", "Иисус Мария!", "Присноблаженная дева Мария!" — из чего заключил, и с полным основанием, что он остался верен нашей исконной религии.

Не без колебаний приступил я к объяснению того, как я был направлен за ним следить и доносить в некую инстанцию о каждом его движении. Но едва я (запинаясь на каждом слове) сообщил ему о сем прискорбном факте, дядюшка расхохотался, как над забавной шуткой.

— Мерзавцы! — вскричал он. — Так они намерены меня зацапать? Пустое, Редмонд, вся моя тайна сводится к тому, что вечерами у меня картеж — я закладываю фараон. Но король готов заподозрить шпиона в каждом, кто посещает его паршивую столицу, затерянную в зыбучих

песках. Ах, мальчик, погоди, я покажу тебе Париж и Вену!

Я сказал, что готов ехать в любой город, лишь бы подальше от Берлина, и что почел бы великим счастьем избавиться от военной службы. Судя по дядиному роскошному одеянию, по разбросанным тут и там дорогим безделкам да по золоченой карете, стоявшей внизу, в remise, я, по правде сказать, заключил, что дядюшка несчетно богат и что для него ничего не составляет купить хоть десяток рекрутов или даже целый полк, чтобы вернуть мне свободу.

Увы, я ошибся в своих расчетах, как незамедлительно узнал из его исповеди.

— Меня носило по свету, — поведал мне дядя, — с того самого тысяча семьсот сорок второго года, когда мой братец, а твой батюшка (да будет земля ему пухом!), утащил у меня из-под носа фамильное поместье, изменив правой вере, чтобы жениться на этой ведьме зубастой, твоей матушке. Ну, да что ворошить былое! Возможно, и я бы в два счета спустил это небольшое состояньице, как сделал на моем месте он, и разве лишь какими-нибудь двумя годами позднее начал бы жизнь, которую влачу с тех самых пор, как вынужден был покинуть Ирландию. Ведь мне, дружище, пришлось служить чуть ли не во всех армиях Европы, и, между нами говоря, нет столицы, где у меня не осталось бы долгов. Я участвовал в двух походах с пандурами под началом австрияка Тренка. Был капитаном гвардии его святейшества папы. Прodelал и шотландскую кампанию под командованием принца Уэльского, отпетого негодяя, поверь мне, дружок, более преданного своей бутылке и метрессе, нежели коронам всех трех королевств. Служил я и в Испании и в Пьемонте. Я по душе скиталец, друг мой, перекаати-поле. Карты, карты — вот моя погибель! Карты и красотки! (Тут он так плотоядно мне подмигнул, что, признаюсь, смотреть на него было неприятно, к тому же по его нарумяненным щекам расплзлись потеки слез, исторгнутых нашей встречей.) Женщины сводили меня с ума, милый мой Редмонд! Такое уж я впечатлительное животное, и даже сейчас, на шестьдесят третьем году жизни, я не больше владею собой, чем в шестнадцать, когда сходил с ума по Пегги О'Дуайер.

— Видно, сударь, это у нас фамильное, — сказал я.

И я немало позабавил дядю, описав ему мою романтическую страсть к кузине Норе. После чего он продолжил свой рассказ.

— Если хочешь знать, карты — единственное мое пропитание. Бывает, выдастся счастливая полоса, и тогда я накупаю те безделки, которые ты здесь видишь. Ведь это то же имущество, Редмонд, и только таким образом удается мне отложить кое-что про черный день. Когда меня преследует

невезенье, брильянты переходят к закладчикам, а я ношу подделку. Вот и сегодня я жду моего друга, золотых дел мастера Мозеса: всю прошлую неделю мне отчаянно не везло и вечером не на что держать банк. Ты сколько-нибудь смыслишь в картах?

Я ответил, что смыслю не больше, чем обыкновенный солдат, что я, собственно, новичок в этом искусстве.

— Завтра с утра попрактикуемся, мой мальчик, я научу тебя двум-трем штучкам, которые тебе не мешает знать.

Конечно, я обрадовался такой возможности пополнить свое образование и сказал, что с восторгом поступлю к дядюшке в науку.

Исповедь дядюшки ввергла меня в уныние. "Все, чем я богат, ты видишь на мне", — пояснил он. Золоченая карета была орудием его ремесла. У него и в самом деле имелось поручение от австрийского двора — расследовать, не из королевского ли казначейства исходит некое количество дукатов пониженного золотого содержания, появившееся за последнее время в обращении: все указания сходились на Берлине. Однако настоящим делом мосье Баллибарри была игра. Среди его понтеров выделялся юный атташе английского посольства лорд Дьюсэйс, впоследствии виконт и граф Крэбский, игравший весьма азартно; слухи о страсти молодого аристократа дошли до моего дядюшки в Праге и побудили его направиться в Берлин, чтобы с ним сразиться. Ибо среди рыцарей карточного стола существует свой рыцарский кодекс; слава великих игроков гремит по всей Европе. Так, мне известно, что шевалье де Казанова проскакал шестьсот миль от Парижа до Турина, чтобы встретиться с мистером Чарльзом Фоксом, в то время единственным бесшабашным сыном лорда Холленда, а впоследствии одним из выдающихся европейских государственных мужей и ораторов.

Было решено, что я сохраню свое амплуа слуги, что при гостях я ни слова не знаю по-английски и что, разнося шампанское и пунш, я буду примечать, у кого на руках тузы. Обладая отличным зрением и смекалкой, я уже вскоре мог оказывать дядюшке существенную помощь против его понтеров. Предвижу, что простодушные мои признания заставят кое-кого из чопорных читателей поморщиться — но да смилуется над ними небо! Уж не думаете ли вы, что человек, которому случилось выигрывать и проигрывать до ста тысяч фунтов в карты, не воспользуется теми преимуществами, какими располагает его сосед? Игроки все одним мирром мазаны. Плутуют только неуклюжие олухи, только они прибегают к таким вульгарным средствам, как подделанная кость или крапленые карты. Такой шулер рано или поздно попадает, ему не место среди уважающих себя

джентльменов; мой совет людям, которым встретится такой субъект, играйте ему в руку, пока он не попался, но ни в коем случае с ним не связывайтесь. Играйте смело и честно! Не вешайте носа при проигрыше, а главное, не будьте жадны до выигрыша, как это бывает с людьми низменной души. Ведь что ни говори, а даже при большом искусстве и больших преимуществах, игра зачастую дело неверное. Я видел, как круглый невежда, для которого игра была китайской грамотой, выиграл пять тысяч фунтов за несколько талий. Я видел, как джентльмен, запасшийся тайным помощником, играл против такого же джентльмена с его тайным помощником. В таких случаях исход всегда гадателей; и если взять в соображение затраченное время и труд, ваши многообразные способности, жизнь в вечной тревоге и неизбежные издержки, а также многочисленные неоплаченные выигрыши (бесчестные негодяи встречаются и за игорным столом, как и повсюду на свете), то, с моей точки зрения, это — никудышная профессия; сколько мне помнится, я не встречал человека, который в конечном счете нажился бы на игре. Но я пишу это, как человек, выдавший виды. В описываемое же время я был желторотый юнец, ослепленный надеждою разбогатеть; к тому же я слишком полагался на житейский опыт дядюшки и на его положение в свете.

Нет никакой надобности перечислять здесь те небольшие услуги, которых дядюшка от меня ждал; нынешние игроки, как я понимаю, не нуждаются в таких наставлениях, а для прочей публики они и вовсе без интереса. Важно лишь одно: секрет их заключался в простоте. Простота, если хотите, залог успеха. Так, например, смахну я салфеткой пыль со стула, значит, у противника сильная бубна; задел на ходу стул — туз или король. Вопрос: "Пуншу или вина, милорд?" — указывал на черву; "Вина или пуншу?" — на трефу. Если я высморкался, значит, у противника тоже есть тайный помощник — вот уж, когда игроки прикладывают все свое умение. Милорд Дьюсэйс, несмотря на молодость, был мастерской игрок, знавший всю кухню картежного искусства; только заметив, что приехавший с ним Фрэнк Пантер трижды зевнул, когда у шевалье был на руках козырной туз, я догадался, что у нас, так сказать, нашла коса на камень.

С мосье де Поцдорфом я по-прежнему разыгрывал дурака и смешил его своими донесениями, когда он назначал мне свидания в загородном ресторанчике. Донесения мы, конечно, готовили с дядюшкой вдвоем. Он учил меня (и это во всех случаях самый разумный способ), елико возможно, говорить правду. Так, например, на вопрос: "А чем шевалье

занят по утрам?" — я отвечал:

— Он регулярно ходит в церковь (дядюшка и в самом деле был очень благочестив) и, постояв у обедни, возвращается домой завтракать. Затем выезжает в своей карете на прогулку до обеда, который подается в полдень. После обеда, если есть надобность, пишет письма, но этим он меньше всего занят. Письма его адресованы австрийскому послу, который ни во что его не ставит, и так как он пишет по-английски, я, конечно, прочитываю их из-за его плеча. Обычно он просит денег, ему, видите ли, требуется подкупить чиновников из казначейства, чтобы узнать, откуда исходят фальшивые дукаты, тогда как на самом деле деньги нужны ему для игры. Вечера его посещают Кальзабиги, устроитель публичной лотереи, русские атташе, оба атташе английского посольства — лорд Дьюсэйс и Пантер, — эти играют в *jeu d'enfer* [24] — и еще несколько человек. Та же компания встречается за ужином; дамы бывают редко, да и то большей частью француженки из кордебалета. Шевалье обычно выигрывает, но далеко не всегда. Лорд Дьюсэйс — завзятый игрок. Иногда заглядывает к нам и шевалье Эллиот, английский посол; в этих случаях его подчиненные от игры воздерживаются. Мосье де Баллибарри обедает в посольствах, но только *en petit comite* [25], на большие приемы его не зовут. Кальзабиги, по моему, играет с ним заодно. За последнее время шевалье в выигрыше, однако на той неделе он заложил свой солитер за четыреста дукатов.

— А ведет он разговоры на родном языке с чиновниками английского посольства?

— Не без этого. Вчера они с послом толковали о новенькой *danseuse* [26], а также о неприятностях в Америке, — но главным образом о новенькой *danseuse*.

Как видите, донесения мои были точные и подробные, но большого интереса не представляли. При всем том они самым аккуратным образом доводились до сведения преславного героя и воина, философа из Сан-Суси. И точно так же за каждым иностранцем, приезжавшим в столицу, устанавливался тайный надзор, и о каждом его движении Фридриху Великому неукоснительно докладывали.

Пока в картеж была вовлечена только золотая молодежь из посольств, его величество не возражал. Мало того, азартные игры в посольствах были ему на руку, — ведь человека, запутавшегося в долгах, легче вынудить заговорить, и вовремя предложенная *gouleau* [27] фридрихсдоров может купить вам секрет, который обычно стоит много тысяч. Королю не раз удавалось добывать таким образом бумаги из французского посольства, и я



не сомневаюсь, что и милорд Дьюсэйс не отказался бы поставлять ему информацию на тех же условиях, если бы его начальник, хорошо зная своих аристократических юнцов, не препоручил всю работу в посольстве (как это обычно и делается) степенному roturier [\[28\]](#), не мешая знатным щеголям из своей свиты красоваться на балах золотым шитьем мундиров или потряхивать мехельнскими кружевами за игорным столом. Я видел с тех пор немало отпрысков знати, равно как их начальников, и, mon Dieu, какая же это непроходимая бестолочь! Что за олухи, что за бездельники, что за безмозглые хлыщи! Дипломатия по-видимому, один из тех обманов, на которых держится мир; если верить этим приказным строкам, этим канцелярским крысам, дипломатия — трудная профессия, но тогда чем же объяснить, что на эти посты назначаются недавние школьники, розовощекие повесы, у которых нет ничего за душой, кроме мамашина титула, и которые умеют судить только о бегах, о новом танце или покрое модных башмаков.

Однако, когда до офицеров гарнизона дошло, что в городе объявилось место, где можно играть в фараон, всем захотелось попытать счастья; несмотря на мои просьбы и предостережения, дядюшка был не прочь дать молодым джентльменам поставить карту ребром, и раза два ему случалось изрядно облегчить их кошельки. Напрасно я предупреждал его, что буду вынужден сообщить эту новость капитану, — ведь он так или иначе услышит ее от товарищей, которые не преминут с ним поделиться.

— Что ж, и сообщи, — заявил дядя.

— Но тогда вас вышлют, — стоял я на своем, — и что станется со мной?

— Не тревожься, — сказал дядюшка, посмеиваясь. — Я тебя здесь не оставлю. Ступай наведай последний раз свою казарму, простись с берлинскими друзьями. Бедняги, представляю, как они будут горевать, когда ты удерешь за границу. Тем не менее ты удерешь, это так же верно, как то, что меня зовут Барри.

— Но каким же образом?

— Вспомни Фэйкенхема из Фэйкенхема, — сказал он лукаво. — Ты сам научил меня, как это сделать. Поди возьми один из моих париков. Открой мою курьерскую сумку, где будто бы хранятся секретные депеши австрийской тайной канцелярии; откинь со лба волосы и зачеши назад; надень эту повязку, эти усы и поглядишь в зеркало.

— Настоящий шевалье де Баллибарри! — воскликнул я со смехом и прошелся по комнате, выбрасывая вперед ногу, как он.

На следующий день я доложил мосье де Поцдорфу, что к нам за

последнюю неделю повадились молодые прусские офицеры; как я и ожидал, он сообщил мне, что король намерен выслать шевалье за пределы страны.

— Это скупердяга, каких мало, — пожаловался я капитану. — За два месяца мне перепало только три фридрихсдора. Надеюсь, капитан, вы не забыли свое обещание повесить меня в чине?

— Что ж, три фридрихсдора — это даже много за те жалкие сведения, какие ты нам доставил, — отрезал капитан, открыто глумясь надо мной.

— Не моя вина, что нечего было докладывать, — возразил я. — Когда же он уедет, сэр?

— Послезавтра. Ты говоришь, он всегда выезжает после завтрака и до обеда. Когда он сядет в карету, парочка жандармов взберется к нему на козлы, и кучеру будет приказано гнать вовсю.

— А как же вещи, сэр? — осведомился я.

— Вещи отправим следом. Мне не терпится заглянуть в его красную шкатулку, где, как ты говоришь, он держит свои бумаги. В полдень после смотра я забегу в гостиницу. Ты, конечно, молчок! Сиди и жди меня в его комнатах. Придется, должно быть, взломать шкатулку, ведь ты, олух неуклюжий, так и не удосужился стащить у него ключ!

Я еще раз попросил капитана позаботиться о моей судьбе, и мы расстались. Вечером, накануне отъезда, я положил под сиденье кареты пару револьверов; однако мои приключения следующего дня стоят того, чтобы посвятить им особую главу.

## Глава IX

# Я появляюсь в новом качестве, более приличном моему имени и происхождению

Фортуна на прощание улыбнулась мосье Баллибарри — он загреб изрядную деньгу в фараон.

На следующее утро, ровно в десять, карета шевалье де Баллибарри была, как обычно, подана к подъезду его отеля, и шевалье, завидя ее в окно, как обычно, величественно спустился по лестнице.

— Где же бездельник Амброз? — спросил он, поискав взглядом своего слугу, который должен был посадить его в карету.

— Я опущу для вас ступеньки, ваша честь, — вызвался жандарм, стоявший рядом; но как только шевалье сел в карету, жандарм вскочил за ним следом, его товарищ взобрался к кучеру на козлы, и последний тронул лошадей.

— Господи боже! Это еще что за притча? — воскликнул шевалье.

— Вы едете к границе, — пояснил жандарм, слегка дотрагиваясь пальцем до кивера.

— Что за неслыханная наглость! — вскричал шевалье. — Извольте сейчас же высадить меня у дома австрийского посланника.

— Если вы станете кричать, ваша честь, у меня распоряжение заткнуть вам рот, — предупредил его жандарм.

— Вся Европа об этом услышит! — вопил шевалье вне себя от ярости.

— А это как вам будет угодно, — ответил офицер, и оба замолчали.

От Берлина они в полном молчании проследовали до Потсдама, где его величество в это время производил смотр своей гвардии, а также полкам Бюлова, Цитвица и Хенкеля фон Доннерсмарка. Узнав шевалье, его величество приподнял шляпу и сказал: "Qu'il ne descende pas: je lui sou-haite un bon voyage" [29]. И шевалье де Баллибарри ответил на это приветствие низким поклоном.

Они недалеко отъехали от Потсдама, как вдруг — бумм! — загрохотали пушки, возвещая тревогу.

— Какой-то солдат сбежал из части, — догадался офицер.

— Да что вы говорите? — удивился шевалье и снова откинулся на

подушки кареты.

Заслышав пушечный рев, на дорогу высыпали местные жители, вооруженные кто дробовиком, кто вилами. Каждый надеялся схватить беглеца. Жандармам, должно быть, не терпелось тоже пуститься в погоню. За поимку беглого солдата платили пятьдесят крон.

— Признайтесь, сударь, — обратился шевалье к своему конвоиру, — вам, верно, надоело со мной нянчиться, ведь вам от этого никакого проку, тогда как за поимку беглеца вы получите пятьдесят крон. Прикажите же фореитору поторапливаться. Вы скорее сбросите меня у границы и отправитесь на поиски дезертира.

Офицер приказал фореитору торопиться, но самому шевалье дорога, видимо, казалась бесконечной. Ему все чудилось, что кто-то гонится за ним на резвом коне, тогда как его лошади плетутся черепашьим шагом, хотя на самом деле они неслись во всю прыть. Но вот у Брюка замелькали черно-белые пограничные столбы, а за ними выросла желто-зеленая саксонская застава. Из караульной будки вышли саксонские таможенные чиновники.

— У меня нет багажа, — заявил шевалье.

— У пассажира нет контрабанды, — подтвердили, ухмыляясь, прусские полицейские, после чего они почтительно простились со своим узником.

Шевалье де Баллибарри пожаловал каждому по фридрихсдору.

— Желаю удачи, господа, — сказал он им в напутствие. — Да не наведаетесь ли вы в номера, откуда вы меня сегодня взяли, и не прикажете ли моему лакею выслать мой багаж в гостиницу "Трех Корон" в Дрездене?

И, заказав свежих лошадей, шевалье поскакал дальше, к саксонской столице. Надобно ли пояснять, что я и был тот шевалье?

"От шевалье де Баллибарри  
Редмонду Барри, эсквайру,  
английскому дворянину,  
отель "Трех Корон",  
Дрезден, Саксония

Племянник Редмонд! Пишу тебе через верного человека, мистера Лампита из английского посольства, который знает о нашем с тобой чудесном приключении, как вскоре узнает о нем весь Берлин. Впрочем, пока им известна лишь половина; известно, что сбежал дезертир, переодевшийся в мое платье, и твоя ловкость и отвага приводят всех в восторг.

Признаться, два часа после твоего отъезда я пролежал в

постели, трясясь как осиновый лист от страха, как бы его величеству не взбрело в голову отправить меня в Шпандау за учиненную нами проделку. Правда, я принял меры, написав письмо своему патрону, австрийскому послу, в коем подробно и неложно обрисовал все обстоятельства дела, а именно: как тебя подслали за мной шпионить; как ты оказался ближайшим моим родичем, обманно взятым в солдаты, и как оба мы задумали устроить твой побег. Это должно было представить короля в столь смешном свете, что он и пальцем не решился бы меня тронуть. Что сказал бы мосье Вольтер, узнав о подобном акте произвола?

Но у нас выдался счастливый день, все сбылось по моему желанию. Битых два часа провалялся я в постели после твоего отъезда, как вдруг в комнату ко мне ворвался бывший капитан Поцдорф.

— Ретмонт, — окликнул он, как всегда величественно выговаривая слова на верхненемецкий лад, — ти зтесь?.. — Никакого ответа. — Мошенник, куда-то провалился, — сказал он вслух и сразу же бросился к красной шкапулке, где я держал мои амурные письма, мой отслуживший стеклянный глаз, любимую мою кость, которая тринадцать раз кряду принесла мне выигрыш в Праге, два комплекта парижских зубов и прочие известные тебе предметы личного моего обихода.

Сначала он пытался подобрать ключ в принесенной им связке, но ни один не подошел к моему маленькому английскому замочку. После чего сей джентльмен вытащил из кармана молоток и стамеску и, орудуя ими, как профессиональный взломщик, вскрыл мою шкапулку!

Настало время действовать. Вооружившись огромным кувшином, я тихонько подкрался к нему и в ту самую минуту, как он открыл шкапулку, так огрел его по голове, что кувшин разлетелся в мелкие дребезги, капитан же только захрипел и без признаков жизни повалился наземь. Я уже думал, что прикончил его.

Тут я давай звонить во все звонки, да как заору благим матом:

— Воры! Воры! Хозяин! Убивают, режут, жгут! — пока все почтенное семейство, с чадами и домочадцами, не ринулось ко мне наверх. — Где мой слуга? — заорал я во всю глотку. — Кто

посмел ограбить меня среди белого дня? Вот он, злодей, я застал его у моей шкатулки! Пошлите за полицией да пригласите сюда его светлость австрийского посланника! Вся Европа узнает, как со мной здесь обошлись!

— Царь небесный! — воскликнул хозяин. — Да мы своими глазами видели, как вы уехали три часа назад.

— Я уехал? Да я все утро пролежал в постели. Я болен, принял лекарство и никуда из дому не выхожу! Где этот подлец Амброз? Но что я вижу? Куда делось мое платье и мой парик? — восклицал я, ибо я стоял перед ними в халате, в чулках и ночном колпаке.

— Ах, вот оно что! Знаю, знаю! — вскричала молоденькая горничная. Амброз убежал, переодевшись в платье вашей чести.

— А деньги? Где мои деньги? — взревел я. — Где мой кошелек и сорок восемь золотых? Но одного из злодеев я все же задержал. Вяжите его, господа офицеры!

— Да это же молодой герр фон Поцдорф, — воскликнул хозяин, не зная, что и думать.

— Как? Чтобы дворянин забрался в шкатулку при помощи молотка и стамески? Ни за что не поверю!

Герр фон Поцдорф тем временем пришел в себя. На черепе его красовалась шишка величиной с блюдце. Полицейские подхватили его и увели, а судья, за которым тем временем побежали, составил протокол, копию которого я послал австрийскому посланнику.

Весь следующий день я просидел под домашним арестом; судья, генерал, и целая орава юристов, офицеров и чиновников допрашивали, уговаривали, стращали и улещали меня. Я рассказал им все, что слышал от тебя, как ты был насильно взят в солдаты, но что ко мне ты поступил с наилучшими рекомендациями и я считал тебя давно освобожденным от военной службы. Я обратился к моему послу, и он вынужден был за меня заступиться. Короче говоря, бедняга Поцдорф теперь на пути в Шпандау, тогда как его дядюшка, Поцдорф-старший, привез мне пятьсот луидоров с покорнейшей просьбой безотлагательно покинуть Берлин и предать эту неприятную историю забвению.

Спустя день после того, как получишь это письмо, жди меня в "Трех Коронах". Зови мистера Лампита обедать. Денег не

жалей, отныне ты мой сын. Каждая собака в Дрездене знает  
твоего любящего дядю,  
шевалье де Баллибарри".

Вот каким чудесным обстоятельствам я обязан своим вторичным освобождением; но на сей раз я сдержал слово никогда больше не попадаться в сети вербовщиков и навсегда остаться джентльменом.

Мы были при деньгах и в счастливой полосе и вскоре стали играть заметную роль в обществе. Дядюшка присоединился ко мне в дрезденской гостинице, где я, сказавшись больным, сидел безвыходно в ожидании его приезда, а так как шевалье де Баллибарри был в особой милости при Дрезденском дворе (в свое время его жаловал ныне почивший монарх, курфюрст Саксонский, король Польский, самый беспутный и самый обаятельный из европейских государей), то я и получил доступ в избранные круги саксонской столицы, где моя внешность и манеры, так же как мои необычайные приключения, обеспечили мне самый лучший прием. Не было ни одного празднества в домах саксонской знати, на которое оба дворянина де Баллибарри не получили бы приглашения. Я удостоился чести приложиться к высочайшей руке и был милостиво принят при дворе самого курфюрста, после чего отправил матушке столь пламенное описание моего благоденствия, что эта превосходная женщина едва не забыла о спасении души и о своем исповеднике, преподобном Осени Джоулсе, и вознамерилась ехать ко мне в Германию; однако такое путешествие в ту пору было сопряжено со слишком большими трудностями, и это избавило нас от приезда доброй леди.

Представляю, как радовалась душа Гарри Барри (ведь мой батюшка был преисполнен самых благородных мыслей и чувств) при виде того, какое я занял положение в обществе. Все женщины мной восхищались, все мужчины меня ненавидели; я выпивал за ужином с герцогами и графами, танцевал менуэт с высокородными баронессами, с очаровательными превосходительствами, — да что там! — с высочествами и даже прозрачествами. (как они чудно именуют себя в Германии) — никто не мог сравниться с галантным ирландским дворянином! Никому и в голову не приходило, что два месяца назад я был простым... тьфу пропасть, и вспомнить стыдно! Приятнейшие минуты своей жизни я провел на гала-балу во дворце курфюрста, где удостоился чести пройти в полонезе ни более ни менее как с маркграфиней Бейрутской, родной сестрой старого Фрица, того старого Фрица, чей ненавистный синий фризковый мундир я носил, чью портупею начищал трубочной глиной и чьими убогими пайками

разбавленного пива и Sauerkraut <sup>[30]</sup> пробавлялся без малого пять лет.

Выиграв у заезжего итальянского дворянина пышную колесницу английской работы, дядюшка повелел изобразить на ней еще более пышный герб, чем когда-либо, а над ним (раз уж мы приходим от древних королей) — корону Ирландии необычайных размеров и блеску, не пожалев на нее позолоты. Я приказал вырезать ту же корону на крупном аметисте, который носил на указательном пальце в виде перстня с печаткой, и, не стыжусь признаться, говорил всем и каждому, что перстень этот уже много тысяч лет у нас в семье, что им владел еще мой прямой предок, его величество блаженной памяти король Брайан Вору, он же Барри. Ручаюсь, что ни одна легенда Геральдической палаты не более достоверна, чем моя.

На первых порах посланник и джентльмены из английского посольства сторонились нас, ирландских дворян, и оспаривали наше знатное происхождение. Посланник был, правда, сын лорда, но вместе с тем и внук бакалейщика, о чем я и сказал ему на балу-маскараде у графа Лобковица. Мой дядюшка, как знатный джентльмен, знал назубок родословную всех более или менее значительных фамилий в Европе. Он говорил, что это единственное, что стоит знать джентльмену; и когда нас не отвлекали карты, мы часами просиживали над Гвиллимом или Д'Озье, читая родословные, изучая гербы и знакомясь с родственными связями нашего сословия. Увы! Сия благородная наука нынче впала в бесчестье, равно как и карты, а я понять не могу, как может порядочный человек обходиться без этих полезных и приятных занятий.

Первый представитель света, с которым я встретился на поле чести, был сэръ Румфорд Бумфорд из английского посольства, — он позволил себе усомниться в моей принадлежности к знати; одновременно дядюшка послал вызов английскому посланнику, но тот отказался его принять. Я прострелил сэру Румфорду ногу, к великому удовольствию дядюшки, — он назвался ко мне в секунданты, — и так утешил старика, что он проливал слезы радости по поводу моей победы; с тех пор, будьте уверены, никто из молодых джентльменов не выражал сомнений в подлинности моей родословной и не смеялся над моей ирландской короной.

То была не жизнь, а сплошное удовольствие! Я чувствовал себя полноправным джентльменом, хотя бы уже по тому, как легко я вошел в круг своих новых обязанностей: ибо иначе как обязанностями этого не назовешь. Пусть на первый взгляд такое времяпрепровождение и кажется досужим баловством, могу заверить низкорожденных невежд, коим случится это прочесть, что нам, высшему сословию, приходится трудиться



не меньше, чем им. Если я вставал не раньше полудня, то разве не засиживался за картами до глубокой ночи? Нам случалось возвращаться домой в то время, когда войска выступали, торопясь на ранний смотр, и — о! — как радостно билось мое сердце, когда, заслышав рожок, играющий зорю до восхода солнца, или завидев марширующие полки, я вспоминал, что вернулся в родную стихию и больше не подвластен бездушной дисциплине.

Я так освоился с новым положением, будто ничего другого не изведаль в жизни. У меня был лакей-джентльмен; friseur [\[31\]](#) — француз ежедневно причесывал меня, я оказался знатоком шоколада — исключительно по наитию — и уже на вторую неделю отличал настоящий, испанский, от французского; у меня были перстни на каждом пальце и двое часов в жилетных карманах, трости, брелоки, табакерки всевозможных фасонов — одна изысканнее другой. Я обнаружил безошибочный природный вкус по части кружев и фарфора; я с таким знанием дела судил о лошадиных статях, что мог переспорить любого еврея-барышника в Германии; в стрельбе и атлетических упражнениях я не знал себе равных и свободно изъяснялся по-немецки и французски, хотя не мог бы написать на этих языках ни единой строчки; у меня была по меньшей мере дюжина смен парадного платья: из них три богато расшитые золотом, а две отделанные серебром, и к ним богатая шуба гранатового цвета, подбитая соболями, и другая, из французского дымчатого плюша с серебряным шитьем, на шиншилле. Дома я щеголял в штофных халатах. Я учился играть на гитаре и мастерски вторил исполнителям французских песен. А теперь скажите, где и когда видели вы джентльмена таких несравненных качеств и достоинств, как Редмонд де Баллибарри?

Чтобы приобрести роскошный гардероб, приличествующий моему положению, требовались, конечно, деньги и кредит; но предки расточили все наше достояние, и, не считая возможным унизиться до пошлой торговли, с ее медленными оборотами и неверными шансами, дядюшка предпочитал держать банк за фараонным столом. Мы обзавелись компаньоном в лице графа Алессандро Пиппи, флорентийца, хорошо известного всем европейским дворам игрока, славившегося своим искусством; вскоре, правда, я обнаружил, что он низкий плут и что его графский титул чистейшее самозванство. Я уже упоминал, что дядюшка прихрамывал, Пиппи же, как и все самозванцы, был отъявленный трус, и только мое несравненное искусство и безотказная готовность завязаного дуэлянта поддерживали добрую славу фирмы и воздействовали на робких игроков, склонных увильнуть от уплаты проигрыша. Мы не отказывались

играть на честное слово с кем угодно, лишь бы то был человек порядочный и нашего круга. Мы не настаивали на немедленной уплате и мирились с заемными письмами вместо денег. Но горе тому, кто отказывался платить, когда истекал срок. Редмонд де Баллибарри сам являлся получать по счету, и, уж будьте покойны, лишь немногие решались на отказ; напротив, джентльмены благодарили нас за долготерпение, и наше честное имя никем не было опорочено. В дальнейшем, правда, времена изменились, и вследствие вульгарного предрассудка, овладевшего умами нации, тень была наброшена на честных людей, избравших стезю игрока; но я рассказываю о доброй старой поре в Европе, когда малодушие французской аристократии (во время революции, которая была ей полезным уроком) еще не навлекло поругания и разорения на наше сословие. Ныне же все ополчилось на игру, а хотелось бы знать, чем, собственно, их средства добывать себе пропитание достойнее нашего? Возьмите биржевого маклера, — он играет на повышение и понижение, покупает и продает, промышляет чужими вкладами и спекулирует на государственных тайнах — разве это не тот же игрок? А коммерсант, торгующий ворванью и чаем, чем лучше игрока? Его кости — это тюки грязного индиго, его карта играет однажды в год, а не каждые десять минут, тогда как зеленым сукном ему служит море. Вы считаете честной профессию адвоката, который лжет в пользу того, кто больше заплатит, клеветает на бедняка в угоду богачу и топит правду, вырубая ложь. Вы объявляете честным человеком врача, а ведь этот жулик и шарлатан сам не верит в свои знахарские снадобья и берет гинею за то, что поздравил вас с хорошей погодой; а между тем отважного человека, который садится за зеленое сукно и вызывает на бой всех без разбора, ставя свои деньги против их денег, свое состояние против их состояний, — такого человека современная мораль объявляет вне закона. Но это же заговор средних классов против джентльменов — торжествующее лицемерие лавочников! Если хотите, азартные игры — это все то же наследие рыцарских времен, и на них также воздвигнуты гонения, как и на другие привилегии благородного сословия. Какой-нибудь Зейнгальт, в течение тридцати шести часов кряду, не отходя от стола, отбивающийся от насевшего противника, — это ли не образец мужества и отваги? И разве цвет Европы, ее самые родовитые сыны и прославленные красавицы не толпились вокруг нашего стола, следя с замиранием сердца, как мы с дядюшкой отражаем натиск какого-нибудь бешеного игрока, который рисковал лишь несколькими тысячами из своих миллионов, тогда как на зеленом сукне лежало все наше достояние! Когда мы ввязались в бой с отчаянным Алексеем Козловским и взяли семь тысяч луидоров одним

ударом, то был благородный риск, ибо в случае проигрыша мы на другой день проснулись бы нищими, тогда как для него проигрыш означал лишь потерю одной из деревень да двух-трех сотен заложенных крепостных душ. Когда в Теплице герцог Курляндский явился к нам в сопровождении четырнадцати гайдуков, из которых каждый нес по четыре мешочка флоринов, и предложил банку играть против его запечатанного золота, что мы сказали ему в ответ? "Сэр, — сказали мы, — у нас в банке всего лишь восемьдесят тысяч флоринов из расчета двести тысяч на три месяца. Если наличность в ваших мешочках не превышает этой суммы, мы принимаем ваш вызов". И так мы и сделали, и после одиннадцатичасовой игры (а была минута, когда в банке оставалось только двести три дуката) мы обыграли его на семнадцать тысяч флоринов. Так разве же для этого не нужна отвага? И разве такая профессия не требует мастерства, настойчивости, храбрости? Четыре коронованных особы следили за игрой, а дочь могущественного императора, принцесса, когда я открыл червонного туза и загнул пароли, не выдержала и разрыдалась. Ни один человек в Европе не взлетал так высоко, как Редмонд Барри в этот вечер; а когда герцог Курляндский проигрался, ему благоугодно было заметить; "Господа, вы играли благородно". И так оно и было, и так же благородно тратили мы свой выигрыш.

В ту пору дядюшка, регулярно посещавший обедню, никогда не опускал в кружку меньше десяти флоринов. Где бы мы ни останавливались, хозяева гостиниц принимали нас, словно принцев крови. Мы отдавали остатки наших обедов и ужинов десяткам нищих, и они благословляли нас. Каждый человек, подержавший на улице мою лошадь или почистивший мне башмаки, получал дукат за труды. Я был, можно сказать, душой нашего преуспевания, так как вносил в игру дух отваги. У Пиппи не хватало характера, он терялся, едва ему начинало везти. Дядюшка (я говорю это с величайшим к нему уважением) был чересчур набожен и чересчур педант, чтобы вести крупную игру. Его моральное мужество было неоспоримо, но у него не хватало темперамента. Оба моих старших компаньона вскоре признали мое верховенство — отсюда и описанное великолепие.

Я уже упомянул здесь ее императорское высочество принцессу Фредерику-Амалию, которая была потрясена смелостью моей игры, и я всегда буду с благодарностью вспоминать покровительство, оказанное мне этой высокопоставленной дамой. Она страстно увлекалась игрой, как, впрочем, и все дамы при европейских дворах в те благословенные времена, что, кстати, причиняло нам немалые затруднения, ибо, говоря по правде, дамы охотно играли, но неохотно платили. Для прекрасного пола не

существует того, что называется point d'honneur, долг чести. Во время наших кочевий по Северной Европе от одного княжеского двора к другому нам стоило величайших трудов держать эти милые создания подальше от игорного стола, взимать с них карточные долги или, — в тех случаях, когда это все же удавалось, парировать их яростные и на редкость изобретательные попытки мести. В те великие дни нашего преуспевания мы, по моим расчетам, потеряли не менее четырнадцати тысяч луидоров по милости этих злостных неплательщиц. Так, некая принцесса герцогского дома всучила нам подделку вместо клятвенно обещанных брильянтов; другая подстроила кражу драгоценностей короны, а виновниками выставила нас, и если бы Пиппи, со свойственной ему предусмотрительностью, не приберег собственноручную записку "ее прозрачества" и не отослал ее своему послу, я не поручился, бы за наши головы. Третья тоже весьма высокородная дама (хоть и не принцесса), проигравшая мне значительную сумму в жемчугах и брильянтах, поручила любовнику напасть на меня из-за угла с шайкой головорезов, и только мое испытанное мужество, проворство и везенье спасли меня от этих разбойников; я был ранен, но зато имел удовольствие уложить на месте их вожака, моя шпага проткнула ему глаз и в нем сломалась; увидев, что их предводитель мертв, вся шайка обратилась в бегство, а между тем я был полностью у нее в руках, так как остался без оружия.

Как видите, наша жизнь, при всем своем великолепии, была исполнена опасностей и трудностей, и только незаурядные способности и мужество могли их одолеть. А бывало и так, что, когда мы находились на вершине успеха, все рушилось в одно мгновение; достаточно было каприза правящего государя, интриг обманутой любовницы или размолвки с министром полиции, чтобы нам предложили немедленно убраться. Если последнего не удавалось подкупить или как-нибудь иначе заручиться его поддержкой, можно было в любой день ждать приказа о выезде, а это обрекало нас на неприкаянную кочевую жизнь.

Наше ремесло, как я уже говорил, было весьма прибыльным, однако приходилось нести огромные издержки. Та помпа, с какой мы выступали, и весь наш барственный обиход чрезвычайно раздражали недалекого Пиппи, и он вечно клял мою склонность к мотовству, хоть и вынужден был признаться, что его собственная мелочность и скряжничество никогда б не одержали тех побед, каких я добивался своей щедростью. При всех наших успехах мы не располагали большим капиталом. Когда я заявил герцогу Курляндскому, что наш банк обеспечен на три месяца наличностью в двести тысяч, это было чистейшее хвастовство. У нас не было ни кредита,

ни денег, за исключением тех, что лежали на столе, и если бы мы в тот раз проиграли его высочеству и он акцептировал бы наши векселя, нам на другой же день пришлось бы бежать без оглядки. Мы не раз бывали в крайне трудных положениях. Слово "банк" звучит внушительно, но бывают и черные дни, — человек, который мужественно приемлет удачу, не должен падать духом при неудаче; первое труднее, поверьте.

Подобного рода злую шутку сыграла с нами судьба в Маннгейме, во владениях герцога Баденского. Пиппи, который только и глядел, как бы урвать какую-нибудь мелочь, предложил нам заложить банк тут же, в заезжем доме, где мы остановились, благо сюда сходились ужинать офицеры герцогского полка кирасир. Мы слегка покидали карты, и кое-какие считанные кроны и луидоры перешли из рук в руки — скорее даже в пользу армейских бедолаг, — а уж более нищей братии, пожалуй, не сыскать на свете.

Но, на беду, кто-то пригласил к столу нескольких юнцов-студентов из соседнего Гейдельбергского университета; они приехали в Маннгейм за своим трехмесячным содержанием и располагали между собой несколькими сотнями талеров. Это были новички в игре, новичкам же, как известно, непозволительно везет; на беду нашу, они к тому же заложили, а с выпившим игроком, как я не раз убеждался, терпят крах и самые верные расчеты. Играли они как форменные сумасшедшие, а между тем все время выигрывали. Каждая их карта неизменно была. В какие-нибудь десять минут они выиграли у нас сотню луидоров; увидев, что Пиппи горячится и что счастье против нас, я решил прикончить игру на этот вечер, сказав, что мы играли не всерьез: пошутили, и хватит.

Но Пиппи в тот день глядел на меня волком; он потребовал продолжения игры, и студенты продолжали нас обыгрывать; они ссудили деньгами офицеров, и те тоже стали выигрывать; и вот таким-то непристойным манером, в трактирном зале, где столбом стоял табачный дым, на столе, сплошь залитом вином и пивом, трое искуснейших, прославленных игроков Европы проиграли голодным субалтернам и безусым студентам тысячу семьсот луидоров. Я и сейчас краснею при этом воспоминании. Это было поистине бесславное поражение, как если бы Карл XII или Ричард Львиное Сердце, при осаде незначительной крепости, пали от руки неизвестного убийцы (я заимствую это сравнение у моего друга мистера Джонсона).

Бесславное, но не единственное! Когда наши ошалевшие победители убрались восвояси, унося с собой сокровище, которое судьба швырнула им под ноги (одного из студентов звали барон фон Клооц, уж не тот ли самый,

который впоследствии в Париже потерял голову на эшафоте?), Пиппи возобновил нашу утреннюю ссору, и страсти разгорелись. Помнится, я запустил в него стулом, сбил с ног и собирался выбросить в окно, но дядюшка, сохранивший обычное хладнокровие (тем более что стоял великий пост), как всегда, начал разнимать нас, и мы помирились — Пиппи извинился передо мной и признал, что был неправ.

Зря я, конечно, поверил искренности вероломного итальянца — до этого случая я каждое его слово брал под сомнение, а тут уж не знаю, какая на меня напала дурь: я лег спать, оставив у него ключи от денежной шкатулки. В ней находилось после нашего проигрыша около восьми тысяч фунтов стерлингов, наличностью и векселями. Пиппи пожелал выпить мировую и, надо думать, влил в пунш каких-то снотворных капель, так как мы с дядюшкой заспались дольше обычного и проснулись в горячке и с сильной головной болью. Встали мы только в полдень. Пиппи уже двенадцать часов как скрылся в неизвестном направлении, забрав с собой все содержимое нашей кассы; вместо денег мы нашли составленный им расчет, по которому выходило, что это лишь законная часть его прибыли, так как на все наши расходы и транжирства он никогда согласия не давал.

Итак, после полуторагодовой работы пришлось начинать сызнова. Но пал ли я духом? Ни в малейшей мере! Наши с дядюшкой гардеробы по-прежнему стоили больших денег — джентльмены в то время одевались не как приходские клерки, светский щеголь часто носил платье и украшения, которые в глазах какого-нибудь приказчика означали целое состояние. Итак, ни на минуту не отчаиваясь и не обмолвившись ни одним резким словом (у дядюшки в этом отношении был золотой характер), мы, не дав никому и намеком догадаться о нашем разорении, заложили три четверти своего гардероба и драгоценностей Мозесу Леве, банкиру, и с вырученной суммой плюс наши карманные деньги, что составляло около восьмисот луидоров, опять воротились на арену.

## Глава X

### В полосе удачи

Я не собираюсь посвящать читателя во все подробности моей профессиональной карьеры, как не занимал его анекдотами о моем солдатском житье-бытье. Я мог бы при желании написать томы подобных увлекательных историй, но, если двигаться такими темпами, исповедь моя затянется на много лет, а ведь кто знает, когда мне придется оборвать ее? Я страдаю подагрой и ревматизмом, камнями в почках и расстройством печени. Есть у меня и две-три незаживающие раны, которые временами причиняют мне невыносимую боль, и сотни других примет старческого угасания. Годы, болезни и невоздержанная жизнь наложили свою печать на один из самых крепких организмов, на одно из самых совершенных творений, когда-либо явленных миру. Увы! В 1766 году я не знал ни одной из этих болезней; в то время не было в Европе человека столь неуемного темперамента, столь блистательных достоинств и дарований, как молодой Редмонд Барри.

До предательской каверзы, учиненной нам негодяем Пиппи, я посетил немало славных европейских дворов, в особенности из более мелких, где азартным играм оказывали покровительство и где профессоров этой науки принимали с распростертыми объятиями. Особенно рады были нам в прирейнских епископствах. Я не знаю более блестящих и веселых дворов, чем у курфюрстов Трирского и Кельнского; здесь веселились и щеголяли роскошью даже больше, чем в Вене, не говоря уже о Берлинском дворе, отдававшем казармой. Двор эрцгерцогини, правительницы Нидерландской, был также спасительной гаванью для нас, рыцарей игорного стола, искателей приключений, тогда как в скаредной Голландской или нищей Швейцарской республиках джентльмену не давали спокойно кормиться своим трудом.

После наших маннгеймских неудач мы с дядюшкой отправились в герцогство X. Читатель без труда догадается, какое место я имею в виду; мне не хотелось бы называть полным именем некоторых выдающихся особ, в чье общество я там попал и вместе с коими был вовлечен в весьма необычное и трагическое приключение.

Во всей Европе не было двора, где иностранцев принимали бы радушнее, чем при дворе благородного герцога X., ни одного, где бы так

гонялись за наслаждениями и так самозабвенно им предавались. Правящий государь не проживал в своей столице С., но, в подражание Версальскому двору, построил себе великолепный дворец в нескольких лигах от главного города, а вокруг дворца воздвиг изысканный аристократический городок, населенный исключительно знатью, а также сановниками его пышного двора. Народ тяжело страдал от поборов, которые взимались для поддержания всей этой роскоши, ибо владения его высочества были весьма ограничены, а потому герцог мудро избрал эту жизнь во внушительном уединении и редко показывался в столице, предпочитая видеть вокруг себя лишь преданных домочадцев и сановников. Дворец и сады Людвигслюста были на французский образец. Дважды в неделю во дворце устраивались малые приемы и дважды в месяц — более торжественные. Герцог гордился превосходной оперой, выписанной из Франции, и несравненным по своему великолепию балетом; его высочество, страстный меломан и балетоман, расходовал на эти развлечения? огромные суммы. Может быть, я судил как неопытный юнец, но, кажется, никогда я не видел такого собрания красавиц, как те, что выступали на придворной сцене в великолепных мифологических балетах, бывших тогда в особенной моде, где вы видели Марса в парике, в бальных туфлях на красных каблуках и Венеру в прелестных мушках и фижмах. Теперь эти костюмы опорочены как неверные и заменены другими, но я, хоть убейте, не видел более очаровательной Венеры, чем Корали, первая танцовщица, а шлейфы, фалбала и пудра, украшавшие ее спутниц-нимф, нисколько не портили мне впечатления. Два раза в неделю ставились оперы, после чего кто-либо из видных сановников давал вечер с великолепным ужином, и повсюду гремели в стаканчиках кости, и весь свет предавался игре. Я насчитал семьдесят карточных столов, расставленных в большой галерее дворца, помимо столов для фараона. Иногда сам герцог снисходил до участия в игре и выигрывал и проигрывал с истинно царственной небрежностью.

В эти-то Палестины мы и направили свои стопы после маннгеймских злоключений. Придворные любезно уверяли, что наша слава нас опередила, и обоим ирландским дворянам был оказан радушный прием. В первый же вечер, во дворце, мы потеряли семьсот сорок из наших восьмисот луидоров, но уже на следующий, в доме у гофмейстера, я вернул весь наш проигрыш и выиграл еще тысячу триста в придачу. Разумеется, в тот первый вечер мы и виду не подали, что были на волосок от разорения; наоборот, я завоевал все сердца тем, как спокойно принимал неудачи, и сам министр финансов разменял мне чек на четыреста дукатов, выписанный на имя управляющего замком Баллибарри в Ирландском королевстве. Правда,



на следующий день этот чек был мне возвращен его превосходительством вместе со значительной суммой наличных денег. При этом благородном дворе все были записными игроками. Здесь вы видели в герцогских прихожих лакеев, которые резались в карты, довольствуясь старыми засаленными колодами; кучера и носильщики портшезов сражались во дворе, меж тем как их господа понтировали наверху, в салонах; и даже у кухарок и судомоек, как мне говорили, закладывался банк, на котором итальянец-кондитер составил себе состояние: впоследствии он купил в Риме титул маркиза, и сын его пользовался в Лондоне репутацией самого блестящего заезжего кавалера. Бедняки солдаты спускали свое жалованье, едва им удавалось его получить, что, впрочем, случалось редко, и во всей стране не было, кажется, офицера, который не хранил бы в подсумке колоды карт и не берег свои игральные кости лучше, чем свой темляк. И все это, заметьте, был отпетый народ. То, что называется честной игрой, выглядело бы здесь чистейшим безумием. Господа Баллибарри оказались бы сущими идиотами, вздумай они изображать голубков в этом ястребином гнезде. Только люди редкой смелости и редких способностей могли преуспеть в обществе таких прожженных плутов, но нам с дядюшкой и тут удавалось за себя постоять, и даже более того.

Его высочество герцог был вдов — вернее, после смерти герцогини он вступил в морганатический брак с дамой, которую возвел в дворянское звание и которая считала для себя великой честью (таковы были нравы того времени) именоваться "Северной Дюбарри". Он женился очень рано, и сын его, наследный принц, был, в сущности, политическим главою государства, ибо правящий герцог был более расположен к удовольствиям, нежели к политике, и общество своего егермейстера или директора театра предпочитал встречам с послами и министрами.

Наследный принц — назовем его принц Виктор — сильно отличался от своего августейшего отца. Он участвовал в Войне за австрийское наследство и Семилетней войне на службе у австрийской императрицы и стяжал в этих кампаниях славу храброго полководца. Характер у него был суровый, он избегал показываться при дворе, бывал только на официальных приемах и жил отшельником в своих покоях, предаваясь ученым изысканиям, как выдающийся астроном и химик. Вместе со многими своими современниками принц разделял охватившее Европу увлечение поисками философского камня. Дядюшка часто сожалел, что несведущ в химии, и завидовал лаврам Бальзамо (именовавшего себя Калиостро), Сен-Жермена и других господ, помогавших принцу Виктору в исследовании этой великой тайны и получавших на сие большие суммы.

Единственным развлечением принца была охота и военные смотры. Если бы добродушный родитель не опирался во всем на сына, его солдаты только и делали бы, что дулись в карты, поэтому весьма целесообразно, что правил разумный принц.

Принцу Виктору было в то время за пятьдесят, тогда как его супруге принцессе Оливии едва минуло двадцать три года. Они уже семь лет как сочетались браком, и в первые годы этого союза принцесса родила супругу сына и дочь. Суровые воззрения и привычки, мрачная и непривлекательная наружность принца вряд ли располагали к нему блестящую, очаровательную женщину, которая выросла на юге (она состояла в родстве с герцогским домом С.), два года провела в Париже под опекой mesdames дочерей его христианнейшего величества, а теперь, была душой герцогского двора, самая веселая в этом веселящемся обществе, кумир старого герцога, да, в сущности, и всего двора. Ее нельзя было назвать красивой, скорее обаятельной, как нельзя было назвать и остроумной, но от каждого ее слова исходило то же очарование, что и от всего ее существа. Она была расточительна сверх всякой меры и так лжива, что нельзя было положиться ни на одно ее слово; однако самые ее недостатки пленяли больше, чем добродетели других женщин, а ее эгоизм больше привлекал сердца, чем иное великодушие. Я никогда не видел женщины, которую бы так украшали ее пороки. Она не задумываясь губила людей, но это не мешало им любить ее. Дядюшка видел своими глазами, как принцесса плутует, играя в ломбер, и позволил ей выиграть четыреста луидоров, так и не остановив ее. Она изводила своими капризами чиновников двора и служающих женщин, но это не мешало им ей поклоняться. Единственная в этой правящей фамилии, она снискала популярность в народе. Когда она выезжала, карету ее провожали восторженные клики, и, чтобы прослыть щедрой, она занимала у своих неимущих статс-дам последние гроши, а потом забывала вернуть им эти деньги. В раннюю пору их брачной жизни принц был очарован наравне со всеми, но ее капризы приводили его в бешенство, и вскоре между супругами наступило охлаждение, которое только иногда прерывалось чуть ли не бешеными вспышками былой страсти. Я говорю о ее высочестве с полной искренностью и должным восхищением, хотя мог бы с правом судить о ней более лицепрятно, принимая во внимание ее отзывы обо мне. По ее словам, мосье Баллибарри-старший безукоризненный джентльмен, тогда как у младшего — манеры курьера. Свет держался других взглядов, и я могу себе позволить записать для потомства этот, чуть ли не единственный, приговор не в мою пользу. К тому же, как вы скоро услышите, у принцессы было

достаточно оснований меня ненавидеть.

Пять лет армейской службы и доскональное знание людей и света рассеяли те романтические представления о Любви, с которыми я вступал в жизнь, и теперь я решил, как и должно джентльмену (ибо только люди низменной души женятся по сердечной склонности), укрепить свое положение в обществе и свое состояние женитьбой. Во время наших с дядюшкой странствий мы не раз пытались привести этот план в исполнение, но многочисленные неудачи, о которых не стоит здесь распространяться, помешали мне до той поры сделать партию, достойную человека моего рождения, моих способностей и моей наружности. Столь частые в Англии свадьбы увозом (обычай, способствовавший житейскому преуспеянию многих достойных моих соотечественников) не столь популярны на материке. Здесь возникают тысячи препятствий в виде опекунов, обрядов и иных трудностей; искренней любви здесь не дают свободы, ей чинят препоны, бедняжки женщины не вольны отдавать свои чистые сердца покорившим их талантам. То у меня требовали дарственных записей; то возникали сомнения в моей родословной и моих имущественных правах, хотя при мне были все планы владений дома Баллибарри и роспись получаемой мною арендной платы, а также родословная нашего семейства, восходящая к королю Брайену Бору, он же Барри, весьма изящно вычерченная на бумаге; бывало и так, что молодую даму упрятывали в монастырь в тот самый миг, когда она готова была упасть в мои объятия; был случай, когда некая богатая вдова в Нидерландах уже мечтала вверить мне свое дворянское поместье во Фландрии, как на меня свалился полицейский приказ о выезде из Брюсселя в течение одного часа, а моя бедная пассия была осуждена на домашний арест в своем chateau <sup>[32]</sup>. И только в X. представился мне случай сорвать крупный куш, когда бы ужасная катастрофа не расстроила мое счастье.

Среди приближенных дам наследной принцессы выделялась девушка девятнадцати лет, обладательница самого большого состояния в герцогстве. Графиня Ида — как ее звали — была дочерью умершего министра и любимицей его высочества герцога X. и его супруги. Оба они были ее воспитателями при рождении, а когда она осиротела, взяли под свое августейшее покровительство и опеку. Шестнадцати лет ее увезли из родового гнезда, где до той поры разрешалось ей проживать, и определили в придворный штат принцессы Оливии.

Тетушка графини Иды, за малолетством своей питомицы управлявшая домом, по глупости позволила ей привязаться к двоюродному брату, молодому человеку без всяких средств, служившему в одном из пехотных

полков герцога и уже вознадеявшемуся захватить этот богатый приз; и надо сказать, что не будь он неуклюжим болваном, то при всех преимуществах, какие давала ему возможность частых встреч, полное отсутствие соперников, а также интимность, возникающая при близком родстве, он мог бы, заключив негласный брак, завладеть молодой графиней и ее состоянием. Вместо этого он совершил величайшую оплошность, позволив ей оставить свое уединение и уехать на год ко двору, где ее зачислили в свиту принцессы Оливии; засим молодой человек не нашел ничего лучшего, как явиться к герцогу на утренний прием в своих линялых эполетах и потертом мундире и по всей форме просить у августейшего опекуна руки самой богатой наследницы в его владениях.

Поскольку графине Иде хотелось того же, что и ее недалекому кузену, старый герцог, по своей благодушной натуре, может быть, и благословил бы этот союз, если бы не вмешалась принцесса Оливия и не добилась от его высочества окончательного и бесповоротного отказа молодому человеку. Причину этого отказа тогда еще трудно было понять; ни о каких других претендентах речь не возникала, и влюбленные продолжали переписываться в надежде, что его высочество со временем сменит гнев на милость. Но тут лейтенант был переведен в один из полков, предназначенных для продажи какой-либо из воюющих великих держав (торговля эта была главным источником доходов принца X., равно как и других государей того времени), и нежная связь между молодыми влюбленными насильственно оборвалась.

Вызывало удивление, что принцесса Оливия не заступилась за молодую девушку, свою любимицу, так как на первых порах, движимая романтически-сентиментальными чувствами, столь присущими всякой женщине, она скорее поощряла взаимную склонность графини Иды и ее неимущего воздыхателя, — и вдруг такая резкая перемена; покровительственная нежность сменилась той исступленной враждебностью, на какую иной раз способна женщина: принцесса мучила свою жертву с неистощимой изобретательностью, донимала желчными сарказмами, казнила презрением и ненавистью; когда я прибыл к X-скому двору, молодые придворные называли бедную девушку не иначе как "Die dumme Gräfin" графиня-дурочка. А та все больше замыкалась в себе; красивая, но бледная и апатичная, какая-то деревянная, она сторонилась развлечений и на пышных празднествах сохраняла неизменно мрачный и угрюмый вид, словно череп, который, по преданию, римляне ставили у себя на пиршественных столах.

Поговаривали, будто шевалье де Маньи, молодой дворянин

французского происхождения, шталмейстер правящего герцога, в свое время представлявший его высочество в Париже при его официальном бракосочетании с принцессой Оливией, будто сей шевалье предназначен в супруги богатой наследнице; но никаких сообщений по этому поводу не делалось, и многие подозревали тут какую-то темную интригу; последующие события ужаснейшим образом подтвердили эту догадку.

Шевалье де Маньи был внук барона де Маньи, дослужившегося у герцога до генеральского чина. Еще отец старого барона, с отменой Нантского эдикта изгнанный из Франции, нашел убежище и службу в герцогстве Х., где и жил до самой смерти. Сын пошел по стопам отца: в противоположность тем родовитым французам, с какими преимущественно сводила меня судьба, это был холодный, суровый кальвинист, человек неукоснительного долга, малодоступный в личном обращении и почти не бывавший при дворе, но связанный узами тесной дружбы с герцогом Виктором, которого он весьма напоминал суровым нравом.

Шевалье, его внук, был истый француз, он и родился во Франции, где его отец, сын старого генерала, выполнял для герцога какую-то дипломатическую миссию. Молодой человек чувствовал себя как рыба в воде среди развлечений самого блистательного двора в мире, где он был принят как свой; вечно он рассказывал нам об увеселениях в *petites maisons*, о тайнах *Pare aux Cerfs*, о неистовых кутежах Ришелье и его собутыльников. Как и отец в свое время, он потерял все свое состояние за карточным столом; вырвавшись из-под ферулы непреклонного старика барона, оба — и сын и внук — вели беспутную жизнь. Воротясь домой из Парижа вскоре после завершения своей посольской миссии, связанной с женитьбой герцога Виктора, внук был неласково принят дедом; однако старик и на этот раз уплатил его долги и пристроил его на службу к герцогскому двору. Вскоре шевалье де Маньи вошел в милость к своему, августейшему господину; он привез парижские моды в развлечения, устраивал все новые маскарады и балы, набирал в труппу балетных танцовщиц, словом, являл в герцогском замке недосыгаемый образец блестящего молодого придворного.

Мы и месяца не погостили в Людвигслюсте, как старый барон де Маньи стал добиваться нашей высылки за пределы герцогства. Однако весь двор поднялся за нас горой, и особенно хлопотал шевалье де Маньи, когда вопрос обсуждался у его высочества. Шевалье не излечился от своей страсти к игре. Он регулярно посещал наш банк, и некоторое время ему везло, когда же счастье ему изменило, регулярно платил свои карточные долги, чем приводил в изумление всех знавших, сколь ограничены его

доходы и какую расточительную жизнь он ведет.

Ее высочество принцесса Оливия тоже была страстным игроком. Те пять-шесть раз, что мы метали банк при дворе, я видел, как азартно она играет. Я видел — вернее, мой наблюдательный дядюшка видел — и нечто большее. Между мосье де Маньи и сиятельной дамой чувствовалось какое-то взаимопонимание.

— Пусть я ослепну и на второй глаз, — сказал мне дядюшка как-то после игры, — если ее высочество не втюрилась в этого французишку!

— И что же отсюда следует? — спросил я.

— Что отсюда следует? — повторил дядюшка, испытующе на меня глядя. Неужто ты еще так наивен, что не понимаешь? А то, что счастье твое в твоих руках, мой мальчик; если возьмешься за дело с умом, глядишь, годика через два выкупим наши родовые поместья.

— Каким же образом? — недоумевал я, все еще ничего не понимая.

На что дядюшка сухо ответил:

— Вовлекай де Маньи в игру; неважно, платит он или не платит: бери с него расписки. Чем больше он нам задолжает, тем лучше, лишь бы играл.

— Он не в состоянии уплатить и шиллинга, — ответил я. — А евреи ничего не дадут под его заемные письма.

— И прекрасно. Увидишь, как они нам пригодятся, — ответил старый джентльмен.

И я должен признать, что задуманный им план был необычайно смел, остроумен и вполне добропорядочен.

Итак, мне было приказано вовлекать де Маньи в игру, что, впрочем, большого труда не составляло. Мы находили с ним много общего, он был такой же, как я, азартной натурой, и вскоре между нами установились приятельские отношения. Маньи не мог спокойно смотреть на игральные кости: стоило ему их увидеть, как он тянулся к ним, как ребенок к лакомству.

Сначала он выигрывал, потом стал проигрывать; я не отказывался ставить деньги против драгоценностей, которые он приносил, уверяя, что это фамильное достояние; во всяком случае, вещицы были стоящие. Он, правда, просил меня распорядиться ими за пределами графства, что я и обещал ему, и свое обещание выполнил. Просадив драгоценности, он начал рассчитываться расписками, а поскольку ему не подобало играть при дворе и на публике в долг, то он был только рад возможности удовлетворять свою страсть келейно. Часами просиживал он у меня в павильоне (который я отдал богато, в восточном вкусе), побрякивая игральными костями, пока не наставало время идти на службу, и так проводили мы день за днем.

Потом он опять приносил мне драгоценности жемчужное ожерелье, старинную изумрудную пряжку и другие безделки, — в возмещение проигрыша, ибо нечего и говорить, что я не стал бы играть с ним так долго, если бы выигрывал он. Примерно с неделю ему везло, а потом счастье от него отвернулось, и он задолжал мне огромную сумму. Не стоит называть ее здесь, во всяком случае, она была так велика, что он никогда бы не мог со мной расплатиться.

Зачем же я, собственно, с ним возился? Зачем попусту терял время, играя келейно с банкротом, когда меня ждали, казалось, более выгодные дела? Не стану скрывать своей истинной цели. Я хотел выиграть у шевалье де Маньи не его деньги, а его нареченную — графиню Иду. Кто окажет, что я был не вправе пуститься на любую хитрость во имя любви? А впрочем, любовь тут ни при чем. Мне нужно было богатство этой дамы: я любил ее не меньше, чем Маньи, не меньше, чем любит стыдливая семнадцатилетняя дева, выходящая замуж за семидесятилетнего лорда. Я только следовал обычаю, узаконенному светом, решив женитьбою поправить свои дела.

Каждый раз как Маньи проигрывал мне ту или другую сумму, я брал у него заемное письмо примерно такого содержания:

"Уважаемый мосье де Баллибарри! Настоящим подтверждаю, что я проиграл вам сегодня в ландскнехт (или в пикет, или в другую азартную игру безразлично, я был сильнее его в любой игре) сумму в триста дукатов и буду крайне признателен, если вы сообразоволяете подождать с этим долгом некоторое время, по истечении коего вы получите все сполна с превеликой благодарностью от вашего покорнейшего слуги".

Что касается драгоценностей, которые он приносил, то я тоже, в видах предосторожности (по дядюшкиному совету, весьма разумному), позаботился обеспечить себя своего рода описью и письмом, коим он просил меня принять эти безделки в счет уплаты долга.

Когда я его так опутал, что податься было некуда, я заговорил с ним напрямик, без околичностей, как водится между людьми светскими.

— Я не столь дурного о вас мнения, мой друг, — начал Я;\_ чтобы предположить, будто вы ожидаете, что я намерен и дальше играть с вами на прежних основаниях и что меня хоть сколько-нибудь устраивает ворох бесполезных клочков бумаги с вашей подписью или расписок, по которым, как мне известно, вы никогда не сможете со мной расплатиться. Не смотрите на меня волком; вы знаете, Редмонд Барри владеет шпагой лучше, чем вы; да я и не так глуп, чтобы драться с человеком, который мне столько должен; лучше выслушайте, что я собираюсь вам предложить.

Вы дарили меня своей откровенностью этот месяц нашей взаимной

приязни, и я полностью посвящен в ваши дела. Вы дали своему деду обещание не играть на мелок, но вам лучше чем кому-нибудь известно, как вы сдержали свое слово, известно также, что дед откажется от вас, едва узнав правду. Но, положим, он умрет завтра — все равно, его состояния не хватит, чтобы очистить ваш долг; даже отдав мне все, вы останетесь нищим и банкротом к тому же.

Ее высочество принцесса Оливия ни в чем вам не отказывает. Почему меня не касается, но разрешите вам доложить, что это обстоятельство мне было известно, когда мы с вами начали играть.

— Быть может, вам угодно получить титул барона, а также должность камергера и ленту? — пролепетал несчастный. — Герцог ни в чем не откажет принцессе.

— Я, конечно, не возразил бы, — заметил я, — против желтой ленты и золотого камергерского ключа, хотя дворянин из рода Баллибарри не нуждается в титулованиях немецкой знати. Но я не этого добиваюсь. Мой милый шевадье, у вас не было от меня секретов. Вы рассказали мне, каких трудов вам стоило уговорить принцессу Оливию благословить ваш предполагаемый союз с графиней Идой, которая глубоко вам безразлична. Я знаю, кто не безразличен вам!

— Мосье де Баллибарри! — воскликнул ошеломленный шевадье, больше он ничего не мог произнести. Истина постепенно открывалась ему.

— Я вижу, вы начинаете меня понимать, — продолжал я. — Ее высочество принцесса (тут я придавал своей интонации саркастический оттенок) не будет, поверьте, на вас в обиде, если вы откажетесь от союза с графиней-дурочкой. Я, так же как и вы, не увлечен этой дамой, но мне нужно ее состояние. Я играл с вами на это состояние и выиграл его; в тот день, как я на нем женюсь, вы получите все свои расписки и пять тысяч дукатов в придачу.

— В тот день, как я женюсь на графине, — перебил меня шевадье, вообразив, что я у него в руках, — у меня будет достаточно денег, чтобы уплатить сумму, вдесятеро превышающую мой долг (он был прав: состояние графини оценивалось чуть ли не в полмиллиона на наши деньги), и тогда я с вами расплачусь. Тем временем, если вы будете докучать мне вашими угрозами и оскорблениями, как пытались делать, я употреблю все влияние, каким, по вашим словам, располагаю, чтобы вас выслали из герцогства так же, как прошлого года выслали из Нидерландов.

Я не торопясь позвонил.

— Замор, — обратился я к здоровенному негру в наряде турка, моему слуге, — когда я позвоню вторично, вы этот пакет отнесете обер-



гофмейстеру, этот вручите его превосходительству барону де Маньи, а этот передадите одному из шталмейстеров его высочества наследного принца. Подождите в передней и никуда не отлучайтесь, покуда я не позвоню.

Мой черный слуга исчез, а я повернулся к мосье де Маньи и сказал:

— Первый пакет содержит ваше письмо ко мне, где вы, ручаясь за свою состоятельность, торжественно обещаете уплатить все, что вы мне должны; я приложил к нему и собственное мое письмо (ибо ожидал, что наткнусь на некоторое сопротивление с вашей стороны), где заявляю, что речь идет о моей чести и что я требую, чтобы это дело было доложено его высочеству вашему августейшему господину. Во втором пакете на имя вашего деда заключено письмо, в коем вы называете себя его наследником, а также моя просьба к нему подтвердить означенное обстоятельство. Последний пакет, адресованный его высочеству наследному принцу, — продолжал я с особенно грозной миной, содержит изумруд Густава-Адольфа, подаренный принцем принцессе, хотя вы отдали мне его в заклад как собственную фамильную драгоценность. Вы, должно быть, и в самом деле пользуетесь влиянием на принцессу, если сумели выманить у нее эту реликвию и ради того, чтобы уплатить свои карточные долги, склонили ее на шаг, от которого теперь зависит и ваша и ее жизнь.

— Негодяй! — вскричал француз вне себя от ярости и страха. — Так вы и принцессе угрожаете?

— Мосье де Маньи, — возразил я с насмешкой, — я принцессе не угрожаю: мне достаточно сказать, что вы украли изумруд.

У меня и в самом деле была такая уверенность: я догадывался, что бедная, ослепленная страстью принцесса непричастна к краже и что ее поставили перед совершившимся фактом. Историю изумруда мы узнали без больших хлопот. Когда нам понадобились деньги, — возясь с Маньи, я, естественно, запустил дела нашего банка, — дядюшка вызвался отвезти его безделки закладчику в Маннгейм. Еврей-закладчик, как оказалось, прекрасно знал историю изумруда; он сразу же спросил, как ее высочество решила расстаться с этой фамильной ценностью, и дядюшка весьма искусно вышел из затруднения: он сказал, что принцесса азартно играет, но ей не всегда удобно платить, таким-то образом изумруд и попал к нам. Дядюшка поступил весьма мудро, привезя изумруд обратно в С.; что же до других вещей, заложенных нам шевалье, то они особой ценности не представляли; о них по сей день никто не справлялся — я и сейчас не знаю, точно ли они принадлежали принцессе, и лишь высказываю предположение.

Несчастный молодой человек до того перетрусил, когда я обвинил его

в краже, что не догадался воспользоваться моими пистолетами, случайно лежавшими перед ним на столе, дабы разом свести счеты со своим обвинителем и собственной загубленной жизнью. Маньи уже, должно быть, понимал, сколь безрассудно и он, и злосчастная женщина, так забывшаяся ради презренного негодяя, играли с огнем, и что тайна их скоро станет общим достоянием. Однако судьбе угодно было, чтобы ужасное возмездие свершилось, и, вместо того чтобы умереть как мужчина, он трусливо пресмыкался предо мной; сломленный, потерянный, бросившись в отчаянии на диван, он разразился слезами и стал взывать ко всем угодникам, как будто их могла тронуть судьба такого ничтожества!

Итак, бояться было нечего; я позвал Замора, сказал, что сам отнесу пакеты, и запер их в секретер. Добившись своего, я поступил с моей жертвой благородно, — таков уж мой обычай, — объявил, что для большей сохранности отошлю изумруд за пределы страны, но поклялся честью, что верну его герцогине безвозмездно в тот день, когда она добьется у герцога согласия на мой союз с графиней Идой. Теперь, надеюсь, каждому ясно, какую я затеял игру; и пусть какой-нибудь непримиримый моралист обвинит меня; в непорядочности! Я отвечу ему, что в любви все дозволено и что такой бедняк, как я, ничем не должен гнушаться, чтобы преуспеть в жизни. Великих и богатых с улыбкою приглашают подняться по парадной лестнице успеха; но тот, кто беден и хочет лучшего, карабкается по стене или, не жалея кулаков и локтей, пробирается вверх по черной лестнице, или *pardi* [33], проникает в любую лазейку, сколь она ни узка и грязна, лишь бы вела вверх. Беззаботный лежебока уверяет, что высокое положение не стоит того, чтобы за него бороться, и называет себя философом. А я скажу, что он малодушный трус! Ибо что может быть дороже чести?! Честь для нас превыше всего, и мы добиваемся ее любой ценой.

Я сам придумал, как для Маньи лучше поехать на обратных, причем деликатно пощадил чувства обеих сторон. Я посоветовал ему отвести графиню Иду в сторону и сказать ей: "Сударыня, хоть я и не докучал вам изъявлением своих чувств, у вас и у герцога довольно доказательств моего великого к вам уважения, и мои притязания, сколь мне известно, получили бы поддержку его высочества, вашего августейшего опекуна. Мне известно милостивое желание герцога, чтобы искательство мое было принято благосклонно; но время, по-видимому, не в силах изменить ваши чувства к другому, а я не так низок, чтобы понуждать даму вашего имени и ранга к ненавистному браку, и, мне кажется, наилучший выход в том, чтобы я, для виду, сделал вам предложение без ведома герцога; вы ответите на него так, как, к великому моему сожалению, подсказывает вам сердце, и я отрекусь

от всяких притязаний, заявив, что после вашего отказа ничто, и даже воля герцога, не заставит меня возобновить мое сватовство".

Графиня Ида чуть не разрыдалась, услышав эти слова из уст мосье де Маньи; со слезами на глазах, как он мне рассказывал, она впервые пожала ему руку, благодаря за столь деликатный совет. Бедняжка и не подозревала, что француз нимало не способен на такие благородные чувства и что изящная форма, в которую он облек свой отказ от дальнейших ухаживаний, была всецело моим изобретением.

Как только он ретировался, мне надлежало выступить вперед, но, разумеется, крадучись, осторожно, чтобы не испугать мою даму, и в то же время твердо, дабы убедить ее в безнадежности ее мечтаний соединиться со своим убогим воздыхателем, младшим лейтенантом. Принцесса Оливия любезно взяла на себя эту часть задачи, она предупредила графиню Иду, что, хотя мосье де Маньи и отказался от ее руки, его высочество ее опекун намерен сам подумать о достойной для нее партии и что она должна забыть своего голодранца младшего лейтенанта. Да и в самом деле, где это видано, чтобы нищий проходимец позволил себе мечтать о такой невесте; пусть он хорошего роду, но какие еще у него заслуги?

Как только шевалье де Маньи ретировался, на его место нашлось, разумеется, множество других претендентов и среди них ваш покорнейший слуга, Баллибарри-младший. А тут, кстати, при дворе, в подражание дедовским обычаям, затеяли турнир, или так называемую "cartrousel" — состязание, в котором конные рыцари бьются на копьях или поддевают кольца на всем скаку; я облачился в одежду римского воина (серебряный шлем, пышный парик, кираса золоченой кожи, с богатыми украшениями, голубой бархатный плащ и малиновые сафьяновые полусапожки); и в этом роскошном одеянии я на своем гнедом скакуне Брайене сорвал три кольца и выиграл приз, одержав победу над всей придворной знатью и дворянами соседних государств, прибывшими на праздник. Наградой победителю был золоченый лавровый венок, а даровать ее должна была дама по его выбору. Я поскакал к галерее, где позади принцессы сидела графиня Ида, и, громко выкликая ее имя, попросил, чтобы она увенчала меня лаврами, тем самым объявив себя перед всей Германией искателем ее руки. Я заметил, что лицо ее покрылось восковой бледностью, меж тем как принцесса густо покраснела; и все же графиня Ида вынуждена была возложить на мою голову венок, после чего я пришпорил коня и понесся приветствовать герцога на противоположной стороне арены, заставляя моего гнедого выделывать самые диковинные прыжки и курбеты.

Этот триумф, как легко догадаться, не способствовал моей

популярности среди молодых придворных. Меня называли авантюристом, головорезом, шулером, самозванцем и надавали мне еще множество нелестных прозвищ; впрочем, я не замедлил заткнуть молодчикам рот. Остановив свой выбор на графе Шметтерлинге, самом богатом и храбром из молодых придворных, тоже, видимо, метившем на графиню Иду, я публично оскорбил его в ridotto [\[34\]](#), швырнув ему карты в лицо. На следующий день я поскакал за тридцать пять миль во владение курфюрста Б., где у меня была назначена встреча с графом, и дважды пронзил его мечом, после чего поскакал назад с моим секундантом, шевалье де Маньи, и в тот же вечер явился к герцогине на вист. Маньи сначала наотрез отказался меня сопровождать, но мне нужно было, чтобы он открыто взял мою сторону. Засвидетельствовав свое почтение ее высочеству, я подошел к графине Иде, отвесил ей нарочито низкий поклон, поглядел ей прямо в глаза, отчего она залилась краской, а затем обвел окружавших ее молодых придворных пристальным взглядом, пока каждый из них, *ma foi* [\[35\]](#), не постарался стушеваться и спрятаться за чьей-нибудь спиной. Я научил Маньи говорить, что графиня по уши в меня влюблена, и бедняге пришлось покориться и выполнить этот приказ наравне со многими другими. Несчастный молодой человек являл собой то, что французы называют *une sottie figure* [\[36\]](#), заступаясь за меня перед всеми, расхваливая на все лады, следуя за мною неотлучно! И это он, который до моего появления был здесь законодателем мод; он, считавший, что нищий род баронов де Маньи выше династии ирландских королей, моих славных предков; сотни раз высмеивавший меня, как наемного убийцу и беглого солдата, называвший меня вульгарным ирландским выскочкой. Теперь я мстил ему за это, и месть моя не знала границ.

Обращаясь к шевалье в самом избранном обществе, я называл его попросту "Максим" Я говорил ему: "Bonjour, Maxime, comment vas-tu?" [\[37\]](#) — в присутствии самой принцессы, с удовольствием наблюдая, как он кусает себе губы от ярости и унижения. Но я держал его в своей власти, и не только его, но и ее высочество — я, простой рядовой Бюловского полка. Отсюда вы можете заключить, на что способны талант и настойчивость, а также что великим мира сего лучше не иметь тайн — по возможности!

Я знал, что принцесса меня ненавидит, но это ни капли меня не трогало. Она знала, что я знаю все, и, видимо, была так предубеждена против меня, что считала бессердечным злодеем, способным предать женщину, хоть я никогда бы до этого не унился; и она трепетала передо мной, как ребенок перед строгим учителем. Она тоже мстила мне, чисто по-

женски, донимала в дни приемов шутками и насмешками, расспрашивала о моем дворце в Ирландии, о моих королевских предках, интересовалась, заступились ли за меня августейшие родичи, когда я служил солдатом в Бюловском пехотном полку, и больно ли там секли палками, — словом, смешивала меня с грязью. Благодарение создателю, я могу себе позволить снисходительно относиться к людям — я только смеялся ей в лицо. Пока она язвила меня и осыпала насмешками, я с удовольствием наблюдал за бедным Маньи, как он это переносит. Бедняга дрожал от страха, как бы под градом насмешек я не потерял самообладание и не выложил все, но моя месть выражалась иначе: когда принцесса на меня нападала, я возмещал свое унижение колкостями по его адресу, — так школьники играют в пятнашки или в "передай соседу". Эта моя тактика задевала ее высочество всего больней. При малейшем оскорблении, нанесенном де Маньи, ее корчило, как будто обиду нанесли ей самой. При всей своей ненависти, она с глазу на глаз просила у меня прощения; хоть гордость ее восставала, благоразумие брало верх и вынуждало великолепную принцессу унижаться перед нищим ирландцем.

Как только Маньи отступился от графини Иды, принцесса вернула ей свою благосклонность; теперь она делала вид, будто души в ней не чает. Трудно сказать, которая из них больше меня ненавидела, — принцесса, вся огонь, страсть и задорное кокетство, или графиня, воплощение горделивого величия. Последняя особенно давала мне чувствовать, как я ей омерзителен, а ведь мною не гнушались и куда более достойные дамы; я почитался в свое время одним из первых красавцев Европы, и ни один из этих придворных холопов не вышел против меня ни статностью, ни ростом. Но я не обращал внимания на ее дурацкие капризы, решив, что она будет моей, и дело с концом. Что же так влекло меня к ней — ее прекрасная наружность или душевное очарование? Ни то, ни другое! Бледная, худая, близорукая, долговязая и неловкая, графиня была, что называется, не в моем вкусе, — напротив; что же до ее душевных качеств, то, уж конечно, ничтожное создание, восплававшее к своему оборванцу кузену, не могло бы меня оценить. Я ухаживал за ее состоянием; признать, что она мне нравится, значило бы уронить себя в глазах света, обнаружив дурной вкус.

## **Глава XI, в которой счастье изменяет Редмонду Барри**

Итак, мои надежды на руку богатейшей наследницы Германии, — поскольку можно верить человеческим расчетам и поскольку наш успех зависит от наших талантов и рассудительности, — были близки к свершению. Меня во всякое время допускали в апартаменты принцессы, и никто не мешал мне встречаться с графиней Идой сколько душа захочет. Я не сказал бы, что она принимала меня благосклонно; сердце неопытной дурочки, как я уже упоминал, было отдано другому, недостойному; и сколь ни пленительна была моя наружность и мои манеры, трудно было ожидать, что она сразу забудет своего воздыхателя для молодого ирландского дворянина, так настойчиво за ней ухаживающего. Однако отпор, на который я наткнулся, ничуть меня не обескураживал. Я заручился могущественными союзниками и знал, что рано или поздно одержу победу. Я только ждал своего часа для решительного наступления. Кто мог предвидеть, какая ужасная катастрофа нависла над моей блестящей покровительницей, угрожая также и моим планам и надеждам!

Тем временем все, казалось, благоприятствовало моим желаниям, ибо что касается нерасположения графини Иды — образумить ее было бы гораздо легче, нежели можно предположить в такой нелепой конституционной стране, как Англия, где людей еще только берутся воспитывать в здравых началах повиновения монаршей воле, столь обычных для Европы времен моей молодости.

Я уже рассказал здесь, как через посредство Маньи принцесса была, можно сказать, повержена к моим стопам. От ее высочества требовалось только добиться согласия старого герцога, на которого она имела неограниченное влияние, и заручиться поддержкой графини Лилиенгартен (таков был романтический титул негласной супруги его высочества); стоило покладистому старику дать соизволение на этот брак, и его подопечной осталось бы только покориться. Мадам де Лилиенгартен, в силу ее положения, приходилось ладить с принцессой Оливией, которая могла в любой день взойти на престол. Старый герцог заметно дряхлел и, невзирая на чрезмерную тучность, любил покушать; когда его не станет, вдова будет крайне нуждаться в покровительстве владетельной герцогини.

Отсюда и взаимопонимание, установившееся между обеими дамами — говорили, что наследная принцесса не однажды в житейских затруднениях прибегала к помощи фаворитки. Через графиню Лилиенгартен ее высочество получала крупные субсидии для уплаты своих многочисленных долгов, на сей же раз она была так добра, что употребила свое влияние на мадам де Лилиенгартен в моих интересах, чтобы добиться для меня желанного приза. Не думайте, что все протекало гладко и что я не наталкивался на упорное сопротивление и отказы со стороны де Маньи; по счастью, я твердо шел к своей цели и располагал достаточными средствами, чтобы бороться с взбалмошностью этого слабохарактерного молодого человека. К тому же могу сказать, не хвалясь, что если знатная и могущественная принцесса меня презирала, то графиня (хотя герцог, говорят, вытащил ее из грязи) обладала лучшим вкусом и не уставала мною восхищаться. Она нередко изволила быть с нами в доле, когда играли в фараон, и уверяла, что такого красавчика, как я, не найти во всем герцогстве. Единственное, что от меня требовалось, это доказательство моего высокого происхождения, но я раздобыл себе в Вене такую родословную, которая удовлетворила бы и самого большого придиру. Да и то сказать, мне ли, потомку Барри и Брейди, было сдаваться каким-то немецким "фонам"! Но каши маслом не испортишь: я обещал мадам де Лилиенгартен десять тысяч луидоров в день моей свадьбы; она положилась на мое слово, слово игрока, и клянусь, я отдал бы ей эти деньги, даже если бы пришлось их занять из пятидесяти процентов.

Вот каким образом я, бедный беззащитный изгой, единственно силою дарованных мне талантов, а также честностью и дальновидностью, обрел могущественных покровителей. Даже его высочество принц Виктор был ко мне расположен. Когда его любимый конь заболел колером, я приготовил пилюлю, какую дядюшка Брейди обычно выхаживал своих лошадей, и лошадь поправилась, после чего его высочество частенько изволил меня замечать. Он пригласил меня на охоту и на соревнования в стрельбе, где я показал свое искусство, и раза два даже беседовал со мной о моих видах на будущее, сожалея, что я избрали карьеру игрока, а не какую-нибудь другую, более положительную стезю.

— Сир, — сказал я ему, — если мне дозволено говорить с вашим высочеством откровенно, игра для меня лишь средство к высшей цели. Чем был бы я сейчас, если бы не игра! Я все еще служил бы рядовым в гренадерском полку короля Фридриха. Я принадлежу к древнему роду, давшему своей стране немало повелителей; гонения отняли у нас наши обширные земли, верность дядюшки нашей исконной религии привела его

к изгнанию из родного отечества. Я также решил искать отличий на военной службе, но, как высокородный дворянин, не стерпел поношения, своих начальников-англичан и бежал со службы — лишь для того, чтобы угодить в еще более жестокое и, казалось, беспросветное рабство, доколе счастливая звезда не послала мне избавителя в лице дядюшки, и только природное мужество и присутствие духа позволили мне воспользоваться представившейся возможностью побега. С тех пор мы существуем — я этого не отрицаю — игрой, но жаловался ли кто, что мы его обобрали? И все же когда бы мне подвернулось изрядное место с приличным доходом, я презрел бы свое ремесло и снисходил бы до карт лишь от случая к случаю, как благородный джентльмен, играющий для собственного удовольствия. Вы можете, ваше высочество, запросить берлинского резидента, запятнал ли я себя чем-нибудь на военной службе. Я чувствую в себе способности куда более высокого порядка и с величайшей готовностью применю их на деле, если, как я надеюсь, судьба пошлет мне такую возможность.

Искренность моих слов произвела на его высочество впечатление, и он соизволил сказать, что верит мне и что я всегда найду в нем друга.

Заручившись поддержкой двух герцогов, герцогини и правящей фаворитки, я, конечно, считал, что близок и цели; и я, пишущий эти строки, должен был бы, по логике вещей, быть сейчас владельцем принцем; если же меня постигла неудача, то моей вины тут нет, меня погубила злополучная привязанность герцогини к ничтожному, глуповатому и трусливому французу. Тяжело было наблюдать эту любовь в ее расцвете, но конец ее был поистине ужасен. Принцесса, в сущности, и не скрывала своих чувств. Достаточно было Маньи удостоить кого-нибудь из придворных дам малейшим вниманием, как в ней просыпалась ревность, и она обрушивала на невольную обидчицу всю ярость своего несдержанного языка. Она посылала ему в день с полдюжины записок; при его появлении на приемах или в тесном кругу приближенных лицо ее так оживлялось, что все обращали внимание. Удивительно, как муж много раньше не уличил неверную! Но принц Виктор был человек возвышенной и суровой души, ему и в голову не приходило, что принцесса может в такой мере уронить свое высокое звание, забыть стыд и честь. Когда ему намекали, что принцесса отличает своего шталмейстера перед другими придворными, он тут же обрывал доказчика, сурово воспрещая ему возвращаться к этой теме.

— Принцесса легкомысленна, — говаривал он, — она воспитана при дворе, где царят фривольные нравы; но все ее шалости идут не дальше кокетства; она не способна на измену: ее высокий род, мое имя и наши дети стоят на страже ее чести.



И он уезжал инспектировать армию и пропадал неделями или же, затворясь на своей половине, проводил целые дни в одиночестве; при дворе появлялся редко — лишь для того, чтобы на утреннем выходе отвесить ее высочеству низкий поклон или подать руку на торжественном празднестве, к посещению какового обязывал его этикет. Принц был человек простых вкусов: я не раз видел, как, забравшись в сад, этот рослый нескладный ученый и воин бегал взапуски или играл в мяч со своим маленьким сыном и дочкой, которых навещал раз десять на дню под любым предлогом. А между тем сиятельных малюток каждое утро приводили к маменьке в часы ее туалета, но она оставалась к ним безучастна, за исключением одного лишь случая, когда герцог Людвиг-младший впервые облачился в свою крошечную форму полковника гусарского полка, пожалованную ему императором Леопольдом, его крестным. День или два принцесса Оливия повозилась с сыночком, а потом охладела к нему, как ребенок охладевает к игрушке. Помню, как-то на утреннем выходе сынишка белым рукавом мундира нечаянно стер румяна с ее лица: ее высочество так разгневалась, что закатила ему пощечину, и мальчика в слезах увели в детскую. О женщины, сколько страданий причинили вы на этой земле! В какие трясины несчастья не ступали мужчины беспечно, с улыбкою на лице, не имея даже такого оправдания, как страсть, движимые лишь фатовством, тщеславием и бравадой! Мужчины играют этим опасным обоюдоострым орудием, словно оно не может причинить им ни малейшего вреда. Я, знающий жизнь лучше, чем большинство людей, доведись мне иметь сына, на коленях молил бы его избегать женщин, как смертельного яда. Вступив в любовную связь, вы самую жизнь свою ставите под угрозу; вы не знаете, откуда обрушится на вас беда; минутное безрассудство может принести горе целым семействам, погубить милых вашему сердцу невинных людей.

Когда я увидел, как запутался несчастный мосье де Маньи, я, несмотря на все мои к нему претензии, стал уговаривать его бежать. У него были свои комнаты в замке, наверху, над апартаментами принцессы (огромное здание вмещало целый город благородной челяди), но ослепленный глупец не желал двинуться с места, хотя он не мог бы сослаться даже на любовь к принцессе.

— Как ужасно она косит! — говаривал он. — И что у нее за фигура, одно плечо выше другого. А воображает, будто никто не видит ее уродства. Она посвятила мне стихи, списав их у Грессе и Кребийона, и выдает их за собственные. А между тем они так же мало принадлежат ей, как ее шиньон.

Бедный малый и не подозревал, что балансирует над пропастью. Мне кажется, эта связь прельщала его главным образом тем, что он мог

хвалиться своей победой в письмах к приятелям в парижских *petites maisons*, где ему хотелось слыть остряком и *vainqueur de dames* [38].

Однако безрассудство молодого человека, его игра с огнем представляла опасность и для моих планов, и я не раз обращался к нему с настойчивыми увещаниями.

Обычно мои советы были для него убедительны, это вытекало уже из характера наших отношений: в самом деле, бедный мальчик ни в чем не мог мне отказать, и я часто говорил ему это со смехом, к великому его неудовольствию. Но я воздействовал на него не только угрозами, не только силою своего законного авторитета, но и деликатностью и великодушием; взять хотя бы то, что я обещал вернуть принцессе фамильный изумруд, который, как читателю уже известно, достался мне от ее беззастенчивого поклонника.

Я решился на этот шаг с соизволения дядюшки, — вот, кстати, лишний образец житейской мудрости и редкого такта этого смышленного человека.

— Торопись с твоим делом, Редмонд, мой мальчик, — говорил он мне. Шашни ее высочества с Маньи добром не кончатся, и развязка уже не за горами. А тогда что будет с твоими надеждами на союз с графиней? Куй железо, пока горячо! Добейся ее еще до конца месяца, а там мы бросим картеж и заживем в нашем швабском замке вельможами. Да смотри, вовремя отделайся от изумруда, добавлял он. — В случае чего мы не оберемся с ним хлопот.

Только по совету дядюшки решился я расстаться с этой драгоценностью, которую иначе, ни за что бы не выпустил из рук. И счастье наше, что я от нее избавился: как вы увидите из дальнейшего, это необходимо было сделать.

Я продолжал нажимать на Маньи. Кроме того, сам я серьезно переговорил с графиней Лилиенгартен, и она обещала похлопотать за меня перед его высочеством, правящим герцогом; мосье де Маньи, со своей стороны, должен был, по моему наущению, просить принцессу Оливию замолвить за меня словцо на тот же предмет. Обе дамы насели на государя, и его высочество (за ужином из устриц и шампанского) дал свое согласие, а ее высочество наследная принцесса соизволила лично сообщить графине Иде желание герцога, чтобы она отдала свою руку молодому ирландскому дворянину, шевалье Редмонду де Баллибарри. Это было сообщено ей в моем присутствии, и хотя молодая графиня с возгласом: "Ни за что на свете!" — хлопнулась в обморок и упала к ногам своей госпожи, сия чувствительная сцена не произвела на меня ни малейшего впечатления; напротив, я уверился, что желанный приз в моих руках.

В тот вечер я вернул шевалье де Маньи изумруд, взяв с него слово, что он отдаст его принцессе; теперь единственным камнем преткновения на моем пути был наследный принц, которого одинаково боялись все — отец, супруга и фаворитка. Ему могло не понравиться, что богатейшая наследница в его владениях достанется в супруги пусть и благородному, но нищему иностранцу. Чтобы сообщить эту новость принцу Виктору, требовалось время. Принцесса должна была улучить минуту, когда он будет в добром расположении духа. На принца временами еще находило его страстное увлечение женой, и в эти дни он ни в чем ей не отказывал. Было решено дожидаться такой минуты или другой подходящей okazji.

Но судьба пожелала, чтобы принцесса никогда больше не увидела мужа у своих ног. Ее безумствам, как и моим надеждам, был уготован страшный конец. Несмотря на свои обещания, Маньи так и не вернул изумруда принцессе Оливии.

Из случайного разговора со мной он узнал, что нас с дядюшкой в трудную минуту выручает Мозес Лева, гейдельбергский банкир, ссужая нам крупные суммы под наши ценности, и безрассудный юноша отправился к нему, чтобы заложить у него изумруд. Мозес Лева мгновенно узнал изумруд и, не торгуясь, дал под него спрошенную сумму, которую шевалье не замедлил спустить за игорным столом, — нам он, разумеется, не сообщил, откуда у него такие капиталы, и мы предполагали, что он черпает их у своего неизменного банкира, принцессы. Таким образом, много золотых столбиков перекочевало из его карманов в нашу денежную шкатулку в те вечера, когда мы держали банк, — то на придворных празднествах, то у себя дома, то в покоях мадам де Лилиенгартен (которая в этих случаях оказывала нам честь, входя с нами в половинную долю).

Итак, деньги у Маньи вскоре разошлись. Но хотя у еврея оставался в закладе изумруд, стоивший, конечно, раза в три больше взятой под него суммы, банкир не собирался ограничиться этой данью и вскоре наложил на несчастного шевалье свою властную руку. Его приятели и единоверцы в Х. - маклеры, банкиры и барышники, промышлявшие кто чем мог при дворе, должно быть, сообщили гейдельбергскому собрату, каковы отношения между принцессой и Маньи, и негодяй решил выжать из своих жертв как можно больше. Тем временем мы с дядюшкой и не подозревали о заложенной под нашими ногами mine — и чувствовали себя на гребне успеха, ибо счастье благоприятствовало нам и в картах, и в той, более крупной, матримониальной игре, которую мы затеяли.

Не прошло и месяца, как еврей-банкир начал шантажировать де Маньи. Он сам явился в Х. вымогать новые проценты, иначе говоря,

требовать платы за молчание, и грозился продать изумруд. Маньи дал ему денег — принцесса снова выручила своего трусливого любовника. Однако успех только разжег аппетит бессовестного вымогателя Я не знаю, сколько было стребовано и уплачено за злополучный камень, — знаю лишь, что он всех нас погубил.

Как-то вечером, мы, по своему обыкновению, держали банк у графини Лилиенгартен, и Маньи, опять бывший при деньгах, то и дело швырял на сукно все новые столбики золота — ему, как обычно, не везло. В разгар игры ему принесли записку, и, читая ее, он страшно побледнел. Но хотя в тот вечер он терял ставку за ставкой, он все же сыграл еще несколько талий, с тревогой оглядываясь на часовую стрелку, и наконец, спустив, должно быть, последний столбик, вскочил со страшным проклятием, испугавшим кое-кого из более чинной публики, и ринулся к выходу. За окном послышался беспорядочный конский топот, но мы были слишком заняты, чтобы поинтересоваться, что там происходит.

Вскоре кто-то из вошедших в зал сообщил графине:

— Вот так история! В Королевском лесу нашли убитым еврея-банкира, и, представьте, нашего Маньи арестовали тут же по выходе из зала.

Услышав эту странную новость, игроки поспешили разойтись, и мы на этот вечер закрыли банк. Маньи сидел рядом со мной (метал дядюшка, а я выплачивал выигрыши и сгребал ставки). Заглянув под его стул, я нашел брошенную им скомканную записку, в которой прочел следующее:

"Если это сделал ты, садись на лошадь вестового, который доставит тебе мою записку, это лучшая моя лошадь. В каждой кобуре ты найдешь по сотне луидоров, пистолеты заряжены. Тебе открыты оба пути — ты понимаешь, о чем я говорю. Через четверть часа я узнаю нашу судьбу: обещен ли я и осужден увидеть твою смерть; виновен ли ты и показал себя трусом, или все еще достоин имени

М."

Я узнал руку старого генерала де Маньи. Когда мы с дядюшкой направлялись в тот вечер домой, поделив с графиней Лилиенгартен весьма крупную выручку в банке, настроение наше было сильно испорчено чтением записки. "Что же это значит? — спрашивали мы себя. — То ли Маньи ограбил еврея, то ли его шашни стали известны принцу?" И в том и в другом случае мои притязания на графиню Иду потерпели серьезный урон; постепенно до меня стало доходить, что моя "козырная карта"

разыграна и, по всей вероятности, бита.

И она действительно была бита, хоть я и сейчас стою на том, что играл умно и с большим присутствием духа. После ужина (из осторожности мы предпочитали не есть за игрой) я так разволновался, что уже в полночь решил совершить вылазку в город — узнать, почему арестован Маньи. Но у порога наткнулся на часового, который и сообщил мне, что мы с дядюшкой взяты под стражу.

Шесть недель просидели мы под домашним арестом, за нами был установлен такой надзор, что сбежать не было возможности, даже если бы мы думали о побеге; но, не чувствуя за собой вины, мы ничего не боялись. Наша жизнь была у всех на виду, и мы не только не страшились допроса и следствия, но даже призывали их. За эти шесть недель произошли весьма крупные и трагические события, о коих мы узнали по выходе из заключения, но только в самых общих чертах, как знала о них вся Европа, — подробности остались нам неизвестны, и только много лет спустя довелось мне их услышать. Я привожу их здесь в том виде, в каком они были рассказаны мне дамою, которая из всех людей на свете имела наибольшую возможность ознакомиться с ними из первых рук. Но пусть лучше ее рассказ послужит содержанием следующей главы.

## Глава XII, повествующая о трагической судьбе принцессы X

Спустя двадцать с лишним лет после событий, описанных в предыдущих главах, я как-то прогуливался с миледи Линдон по ротонде парка Ранела. Стоял 1790 год, эмиграция французской знати уже началась, престарелые графы и маркизы толпами высаживались на английские берега, но это были еще не те изможденные, унылые тени, которые так примелькались нам несколько лет спустя; нет, эти беглецы были здоровы и благополучны, и они вывезли с собой немало свидетельств французского великолепия и роскоши. Итак, я прогуливался с миледи Линдон, и сия достойная матрона, вечно донимавшая меня бешеной ревностью и радовавшаяся каждому предлогу мне досадить, углядела в толпе иностранку, смотревшую на меня как-то особенно пристально, и, конечно, не преминула спросить, что это за чудовищно жирная немка строит мне глазки? Напрасно я рылся в памяти: я чувствовал, что мне знакомо это лицо (как жена правильно заметила, оно было жирное и обрюзглое), но так и не узнал той, что в свое время считалась одной из первых красавиц Германии.

А между тем это была не кто иная, как мадам Лилиенгартен, любовница, или, как некоторые утверждали, морганатическая супруга старого герцога X., отца герцога Виктора. Спустя несколько месяцев после кончины старшего герцога она докинула X. и, по слухам, поселилась в Париже где какой-то ловкий проходимец, польстившись на ее капиталы, женился на ней, что, впрочем, не помешало ей сохранить свой квази-королевский титул и претендовать, под дружный смех посещавших ее парижан, на почести и церемониал, подобающие вдовствующей монархине. В ее аудиенц-зале был воздвигнут трон, и слуги, а также льстецы и угодники, обивавшие ее пороги в чаянии подачек, именовали мадам Лилиенгартен не иначе, как "Altesse" <sup>[39]</sup>. Говорили, что она злоупотребляет спиртными напитками, и лицо ее, надо признать, носило следы этой привычки, — куда девалась ее бело-розовая наивно-добродушная красота, когда-то пленившая монарха, который не пожалел для нее графской короны!

Старая дама так и не остановила меня в парке, но ей не стоило труда

узнать мой адрес, — я был в ту пору не менее популярен в Лондоне, чем принц Уэльский, мой дом на Беркли-сквер был известен каждому, — по этому-то адресу она и прислала мне на следующее утро письмо: "Старинная приятельница мосье де Баллибарри, — говорилось в нем (на чудовищном, кстати, французском), желала бы встретиться с шевалье, потолковать о прежних счастливых временах. Розина де Лилиенгартен (возможно ли, чтобы Редмонд Баллибарри ее забыл?) будет все утро у себя дома на Лейстерфилдс в ожидании того, кто не прошел бы мимо нее так равнодушно двадцать лет тому назад".

Это и впрямь была Розина де Лилиенгартен — такую пышно распустившуюся Розину не часто встретишь. Я нашел ее в довольно приличном бельэтаже на Лейстерфилде (бедняжка спустилась потом гораздо ниже), за чашкой чаю, почему-то сильно отдававшего коньяком, и после обычных приветствий, уместных в жизни, но утомительных в повествовании, и беспредметных разговоров о том, о сем она вкратце поведала мне о событиях, происшедших в замке X., - мне хочется озаглавить их "Трагедия принцессы".

— Вы, конечно, помните мосье де Гельдерна, министра полиции. Он был голландец по происхождению — мало того, из голландских евреев. Но хотя это пятно на гербе министра не было ни для кого секретом, всякое сомнение в чистоте его родословной приводило его в бешенство. Заблуждения своих предков он старался искупить неистовыми изъятиями набожности и суровыми подвигами благочестия. Каждое утро посещал церковь, каждую неделю ходил к исповеди, а уж протестантов и евреев ненавидел, будто какой-нибудь инквизитор. Он не пропускал случая доказать свое рвение, преследуя тех и других, едва лишь к этому представлялась возможность.

Гельдерн смертельно ненавидел принцессу: как-то из детской шалости она надсмеялась над его происхождением, то ли приказав за столом убрать от него свинину, то ли нанеся ему другую вздорную обиду; и точно так же кипел он злобой на старого барона де Маньи, прежде всего потому, что тот был протестант, а кроме того, надменный старик однажды, в припадке брюзгливости, публично от него отвернулся, выразив этим свое презрение к проходимцу и наушнику. В государственном совете они вечно грызлись, и только из уважения к августейшим повелителям старый, барон сдерживал свой нрав и не слишком резко проявлял свое презрение к полицейскому сатрапу.

Итак, Гельдерн из ненависти задумал погубить принцессу, но был у него, по-моему, и более существенный мотив — корысть. Помните, кого

избрал герцог в супруги после смерти своей первой жены? Принцессу из дома Ф. Два года спустя Гельдерн построил себе роскошный замок, как я подозреваю, на те самые деньги, что уплатило ему семейство Ф. за его хлопоты в пользу этого брака.

Отправиться к принцу Виктору и просто донести ему о том, что стало уже притчей во языцех, отнюдь не входило в намерения Гельдерна. Он понимал, что человек, который явится к принцу с такими ужасными разоблачениями, сам себе выроет могилу. Тут надо было действовать исподволь, чтобы истина сама открылась его высочеству. И когда время назрело, министр стал искать путей к достижению своей цели. У него имелись соглядатаи в домах как старшего, так и младшего де Маньи; вас это не должно удивлять, ведь вам знакомы наши континентальные порядки. Все мы засылали друг к другу ищеек. Ваш черный слуга (помнится, его звали Замор) каждое утро являлся ко мне с докладом, и я занимала своего милого старого герцога рассказами о том, как вы с дядюшкой практикуетесь по утрам в пикет или в кости, и о вечных ваших ссорах и интригах. Мы собирали такие сведения обо всех в городе, чтобы позабавить нашего милого старичка. Лакей мосье де Маньи являлся с донесениями и ко мне, и к мосье Гельдерну.

Я знала, что изумруд заложен; бедняжка принцесса брала деньги у моего казначея и для подлеца Лева, и для своего сквернавца де Маньи. Мне по сию пору трудно понять, как принцесса ему доверилась, но ведь женская любовь слепа, вы, должно быть, замечали, милый мосье де Баллибарри, что выбор женщины обычно падает на недостойного.

— Не всегда, мадам, — вставил я. — Ваш покорный слуга не раз бывал предметом сердечной склонности.

— Что ж, это нисколько не опровергает мою мысль, — сухо возразила старая дама и продолжала свой рассказ. — Еврей, державший изумруд в закладе, после бесконечных торгов с принцессой решился наконец с ним расстаться за очень крупную сумму. Однако он совершил величайший промах, привезя с собой драгоценный залог в Х., где его ожидала встреча с шевалье, который уже получил от принцессы условленную сумму и только ждал возможности передать ее из рук в руки.

Свидание происходило на квартире у де Маньи, и слуга слышал за дверью их разговор от слова до слова. Молодой человек, швырявшийся деньгами, когда они попадали ему в руки, с такой легкостью предложил банкиру выкуп, что тот сразу же ударился на попятный и с обычным бесстыдством запросил вдвое больше условленного.

Тут шевалье, потеряв терпение, бросился на негодея и, наверно, убил



бы его, если бы не подрос слуга. Перепуганный закладчик кинулся к нему искать защиты, и Маньи, — он хоть и вспыльчив был и горяч, но сердце имел отходчивое, — только приказал слуге спустить негодя с лестницы и тут же думать о нем забыл.

Быть может, шевалье и рад был его спровадить, чтобы получить в свое распоряжение большую сумму — четыре тысячи дукатов — и лишний раз попытать судьбу; как вы знаете, он именно это и сделал в тот вечер за вашим карточным столом.

— Ваша светлость была с нами в половинной доле, — напомнил я, — вы знаете, много ли мне было проку от этих выигрышей.

— Слуга выпроводил из замка трясущегося израилита и доставил в дом к одному из его собратьев, где тот обычно останавливался, а сам, не теряя времени, отправился в канцелярию его превосходительства министра полиции и передал ему дословно весь разговор между евреем и своим хозяином.

Гельдерн похвалил своего соглядатая за расторопность и преданность, подарил ему кошелек с двадцатью дукатами и обещал устроить его судьбу, как великие люди обычно обещают своим клеветам: вы, мосье де Баллибарри, знаете, сколь редко такие обещания выполняются.

— А теперь ступай разнюхай, когда еврей намерен убраться восвояси, да не передумал ли он и не готов ли взять выкуп, — сказал мосье Гельдерн.

Слуга пошел выполнять поручение. Тем временем Гельдерн для большей верности надумал устроить у меня карточный вечер; он, как вы, может быть, помните, пригласил и вас с вашим банком. И, уж конечно, нашел способ уведомить Максима де Маньи, что у мадам де Лиленгартен состоится фараон. От такого приглашения бедный малый никогда не отказывался.

Мне были памяты все эти обстоятельства, и я слушал, затаив дыхание, пораженный коварством бесчеловечного министра полиции.

— Вскоре соглядатай вернулся и доложил, что, по словам челяди того дома, где стоял гейдельбергский банкир, он еще сегодня засветло выедет из Х. Он путешествует один на старой кляче, в самом плохоньком кафтане, как оно водится у этой братии.

— Послушай, Иоганн, — сказал министр, ласково хлопая по плечу своего разомлевшего соглядатая, — ты мне все больше и больше нравишься. Я тут думал без тебя, какой ты сметливый парень и как верно мне служишь. Скоро у меня будет возможность наградить тебя по заслугам. А какой дорогой поедет мошенник еврей?

— Он собирается заночевать в Р.

— И, стало быть, ему не миновать Королевского леса. Скажи, Иоганн Кернер, могу я рассчитывать на твою храбрость?

— Благоволите испытать меня, ваше превосходительство, — сказал слуга, и глаза его засверкали. — Я прослужил всю Семилетнюю войну, и не было случая, чтобы я сплеховал в деле.

— Тогда слушай. Надобно забрать у еврея изумруд. Уже то, что мерзавец держит его у себя, величайшая крамола. Тому, кто доставит мне изумруд, я обещаю пятьсот луидоров. Ты понимаешь, почему его надо вернуть ее высочеству. Мне незачем тебе объяснять.

— Вы получите его нынче же вечером, — сказал слуга. — А только случись что, надеюсь, ваше превосходительство от меня не отступится?

— Вздор! — сказал министр. — Половину этой суммы получишь вперед, вот как я тебе доверяю. Ничего не случится, только действуй с умом. Лес там тянется на четыре лиги, а еврей не шибко скачет. На дворе будет ночь, пока он доберется — ну, скажем, до старой Пороховой мельницы, что стоит в самой чаще. Почему бы тебе не перегородить дорогу веревкой да тут же на месте с ним и не поладить? Возвращайся к ужину. Если встретишь дозор: скажи: "Все лисы на свободе", — это сегодняшней пароль — и поезжай себе вперед, никто ни о чем тебя не спросит.

Слуга убежал, ног не чуя от радости. И в то время как Маньи терял деньги за нашим карточным столом, слуга его подкараулил еврея в Королевском лесу в глухом месте, издавна именуемом Пороховой мельницей. Лошадь еврея споткнулась о протянутую веревку, и когда ездок с глухим стоном свалился наземь, Иоганн Кернер в маске и с пистолей напал на него и стал требовать денег. Вряд ли он собирался убить еврея, разве что тот станет сопротивляться и понадобятся более крутые меры.

Впрочем, он и не убил его: пока еврей визгливо молил о пощаде, а грабитель страдал его пистолей, подоспел дозор и взял под стражу обоих — и разбойника и потерпевшего.

Кернер разразился проклятьем.

— Черт вас принес так рано, — сказал он полицейскому сержанту и добавил: — "Все лисы на свободе".

— Кое-какие уже попались, — хладнокровно возразил сержант и связал парню руки той самой веревкой, которую тот протянул, чтобы захватить еврея. Слугу посадили на лошадь позади полицейского, тем же порядком пристроили банкира, и к вечеру отряд вернулся в город.

Пленников доставили в полицейскую часть, а поскольку там случайно оказался министр, его превосходительство самолично учинил розыск. Обоих задержанных тщательно обыскали. У еврея забрали все его бумаги и

футляры с драгоценностями; в потайном кармане обнаружили изумруд. Что же до соглядатая, то министр сказал, гневно на него глядя:

— Да это же слуга шевадье де Маньи, одного из шталмейстеров ее высочества! — И, не слушая оправданий несчастного, повелел его бросить в каземат.

Приказав подать себе лошадь, он тут же поскакал в замок к принцу и попросил немедленной аудиенции. Как только его пропустила стража, он предъявил его высочеству изумруд.

— Этот камень, — сказал он, — был найден у гейдельбергского еврея, который за последнее время зачастил к нам в город; у него какие-то дела с шталмейстером ее высочества, шевадье де Маньи. Нынче утром слуга шевадье вышел из дворцовых ворот вместе с евреем; позднее люди слышали, что он выспрашивает, какой дорогой старик поедет обратно; он, видимо, следовал за своей жертвой, а может быть, поджидал в лесной чаще; мои дозорные в Королевском лесу наткнулись на него, когда он шарил у еврея в карманах. Человек этот во всем запирается, но на нем найдены большие деньги в золотых червонцах; и хотя мне было нелегко прийти к такому решению — заподозрить человека с именем и репутацией мосье де Маньи, — все же я считаю нашим долгом допросить шевадье по этому делу. Поскольку же мосье де Маньи находится на личной службе ее высочества и, как я слышал, пользуется ее доверием, я не посмел задержать его без соизволения вашего высочества.

Разговор этот происходил при шталмейстере принца, друге старого барона де Маньи. Услышав страшную новость, он поспешил к старому генералу рассказать, в чем обвиняют его внука. Быть может, и его высочеству было благоугодно, чтобы его старый друг и боевой наставник получил эту возможность спасти честь семьи: во всяком случае, начальник конницы мосье де Хенгст, герцогский шталмейстер, был милостиво отпущен и беспрепятственно отправился к барону, чтобы сообщить, какое ужасное обвинение тяготеет над несчастным шевадье.

Возможно, старик предвидел нечто подобное, потому что, выслушав Хенгста (как этот последний мне рассказал), он лишь произнес: "Да сбудется воля божья!" Некоторое время он и пальцем не хотел пошевелить в этом деле и, только поддавшись уговорам друга, написал то самое письмо, которое Максим де Маньи получил за карточным столом.

Пока шевадье проигрывал деньги ее высочества, полиция произвела у него обыск и обнаружила сотни доказательств — не совершенного злодеяния, но его преступной связи с принцессой: ее подарки и страстные послания, а также черновики его собственных писем, отправленных в

Париж таким же юным повесам, как он сам. Ознакомившись с этими бумагами, министр полиции собрал их в папку и, запечатав, передал его высочеству принцу Виктору. Точнее сказать, я догадываюсь, что министр с ними ознакомился, потому что, вручая их наследному принцу, заявил, что, во исполнение приказа его высочества, он конфисковал бумаги шеваляе, но что сам он, Гельдерн, разумеется, в них не заглянул. А так как его нелады с обоими господами де Маньи достаточно всем известны, то он и просит его высочество назначить для расследования какое-нибудь другое официальное лицо.

Все это происходило в то время, когда шеваляе был прикован к игорному столу. Ему отчаянно не везло — это вам, мосье де Баллибарри, в те дни валило счастье. Он упорно ставил и скоро потерял свои четыре тысячи дукатов. Тут пришла записка его дяди, и так был велик азарт, владевший этим отчаянным игроком, что, прочитав ее, он сразу же спустился во двор, где ждала оседланная лошадь, забрал деньги, которые несчастный старик сунул в седельные кобуры, поднялся наверх, поставил — и в мгновение их проиграл; когда же решил бежать, было уже поздно: его схватили у меня в прихожей, как и вас, когда вы воротились к себе домой.

Едва его привели в кордегардию под конвоем, как старый генерал, дожидавшийся там, бросился ему на грудь и обнял — впервые, говорят, за много лет.

— Он здесь, господа, — воскликнул генерал, рыдая, — слава богу, он непричастен к грабежу! — а потом упал в кресло, не в силах совладать с чувствами, которые, по словам присутствовавших, было тяжело наблюдать у человека столь прославленной храбрости, известного своей суровостью и хладнокровием.

— Грабеж?! — воскликнул молодой человек. — Клянусь небом, руки у меня чисты! — И тут между ними разыгралась сцена трогательного примирения, после чего молодого человека отвели из кордегардии в тюрьму, откуда ему уже не суждено было выйти.

В ту ночь герцог ознакомился с бумагами, оставленными у него Гельдерном. Он, видимо, только что приступил к их чтению, когда отдал приказ о вашем аресте; ведь вы были взяты под стражу в полночь, а Маньи — в десять часов вечера; после этого старый барон еще заезжал к его высочеству протестовать против ареста внука и был встречен ласково и милостиво. Его высочество заявил, что уверен в невиновности молодого человека, тому порукой знатное происхождение и кровь, текущая в его жилах. Но против него тяжкие улики: известно, что он в этот день беседовал с евреем с глазу на глаз; что у него имелись на руках большие

деньги, которые он тут же проиграл, и заимодавцем его был, по-видимому, тот же еврей; что он отправил слугу вслед за евреем, а тот, узнав, когда банкир уезжает, подстерег его на пути и ограбил. На шевалье пало тяжкое подозрение, и простая справедливость требует, чтобы его взяли под стражу; тем временем, пока он не докажет свою невиновность, его будут содержать не в позорном заточении, а сообразно имени и заслугам его славного деда. С этим уверением и дружеским рукопожатием принц отпустил в тот вечер генерала де Маньи; и ветеран удалился на отдых, почти утешенный в своей горе и уверенный в скором освобождении Максима.

Наутро, едва рассвело, принц, видимо, читавший те письма всю ночь напролет, в гневе кликнул пажа, спавшего в комнате через коридор, приказал подать лошадей, которых всегда держали для него взнузданными на конюшне, и, бросив всю пачку в шкатулку, передал ее пажу с приказом следовать за ним с этой ношей. Юный паж (мосье де Вайсенборн) рассказал это юной даме, принадлежавшей в то время к моему двору, — теперь она мадам де Вайсенборн, мать многочисленного семейства.

По рассказам пажа, с его августейшим господином произошла за эту ночь разительная перемена, — он еще не видал его таким. Глаза налились кровью, лицо было мертвенно-бледное, платье висело, как на вешалке, и этот человек, всегда являвшийся на смотре подтянутый и аккуратный, как любой его сержант, скакал на заре по пустынным улицам с непокрытой головой и развевающимися по ветру непудреными волосами, производя впечатление сумасшедшего.

Паж со шкатулкой в руках грохотал следом, еле поспевая за своим господином; так они проскакали от замка до города и через весь город до усадьбы генерала. Часовые у подъезда испугались при виде странной фигуры, бежавшей к ним от ворот, и, не узнав герцога, скрестили штыки и преградили ему дорогу. "Дурачьё! — воскликнул Вайсенборн. — Да ведь это же принц!" Он дернул ручку звонка, словно то был набатный колокол, привратник не спеша распахнул дверь, и его высочество ринулся к спальне генерала — все так же провожаемый пажом со шкатулкой.

— Маньи, Маньи! — загремел принц, барабаня в запертую дверь. Вставайте! — И на испуганные вопросы за стеной отвечал: — Это я, принц Виктор! Вставайте! — Наконец дверь открылась, и генерал, показавшийся на пороге в *robe de chambre* <sup>[40]</sup>, пригласил принца войти. Паж внес шкатулку и получил приказ дожидаться в прихожей. Однако в спальню мосье де Маньи открывались из прихожей две двери — большая, которая, собственно, и была входом, и маленькая, ведущая, как это часто бывает в домах на континенте, в небольшой чулан за альковом, где стоит кровать.

Эта дверца была открыта, и мосье де Вайсенборн видел и слышал все, что происходило рядом.

Встревоженный генерал спросил, какой причине он обязан столь ранним визитом его высочества, на что принц ответил не сразу: он вперился в старика безумными очами и забежал по комнате взад и вперед.

Наконец он сказал: "Вот причина!" — и ударил кулаком по шкапулке; спохватившись, что с ним нет ключа, он бросился к двери со словами: "Должно быть, он у Вайсенборна", — но заметил висящий на стене *couteau de chasse* <sup>[41]</sup>, сорвал его с крюка, сказав: "И это стодится", — и принялся ковырять им ларчик красного дерева. Кончик ножа сломался, принц злобно выругался, но продолжал орудовать обломком, больше отвечавшим его цели, чем длинное заостренное лезвие, и наконец взломал сундучок.

— Какой причине? — спросил он с горьким смехом. — Вот — вот — и вот, читайте! Причин не оберешься! А вот и еще — прочтите и это! А как вам нравится это? Тут еще чей-то портрет, а, вот и она сама! Узнаете, Маньи? Да, да, моя жена, принцесса! Зачем только вы и ваш проклятый род прибыли сюда из Франции, чтобы насаждать вашу дьявольскую распущенность всюду, куда ступит нога ваша, разрушать честные немецкие семьи? Что видели вы и все ваши от моих кровных, кроме милости и доверия? Мы приютили вас, бездомных бродяг, и вот награда! — И он швырнул генералу всю пачку: тот понял все с первого слова — он, видимо, давно уже о многом догадывался — и безмолвно поник в своих креслах, закрыв лицо руками.

Принц продолжал жестикулировать, голос его срывался на крик.

— Если бы кто-нибудь так оскорбил вас, Маньи, прежде чем вы произвели на свет отца этой лживой гадины, этого бесчестного игрока, вы знали бы, где искать отмщения. Вы убили бы его! Да, убили бы! Но кто скажет, где искать отмщения мне? Я не имею здесь себе равных. Я не могу встретиться с этим щенком французом, с этим версальским соблазнителем и лишить его жизни, как сделал бы человек равного ему звания.

— Кровью Максима де Маньи, — возразил старик надменно, — не погнушается ни один христианский государь.

— Да и могу ли я ее пролить? — продолжал принц. — Вы знаете, что не могу. Мне отказано в праве, которое дано любому европейскому дворянину. Что же прикажете мне делать? Послушайте, Маньи, я был сам не свой, когда ворвался к вам, я не знал, как быть. Вы служили мне тридцать лет, вы дважды спасли мне жизнь; моего старика отца окружают одни лишь мошенники и потаскухи, среди них нет ни одного честного человека — только вы — и вы спасли мне жизнь: скажите же, что мне

делать? — Так, начав с оскорблений, бедный отчаявшийся принц принялся умолять старика и наконец пал к его ногам и разрыдался.

При виде отчаяния, овладевшего принцем, старый де Маньи, обычно такой суровый и холодный, и сам, как рассказывал мне мой осведомитель, утратил над собой власть. Холодный, надменный старик впал в хнычущее слабоумие дряхлости. Куда девалось его чувство собственного достоинства! Он пал на колени, бормоча бессвязные, бессмысленные слова утешения; это было так ужасно, что у Вайсенборна не хватило духу наблюдать эту сцену; он отвернулся и ничего уже не видел и не слышал.

Однако из того, что произошло в ближайшие дни, нетрудно заключить, чем кончилась их долгая беседа. Покидая старого слугу, принц забыл у него роковой ларчик с письмами и послал за ним пажа. Когда юноша вошел в опочивальню, старик стоял на коленях, погруженный в молитву, и только вздрогнул и испуганно оглянулся, услышав, что Вайсенборн берет со стола ларчик. Принц уехал в свой охотничий замок в трех лигах от Х., а спустя три дня Максим де Маньи скончался в тюрьме. Умирая, он показал, что был замешан в попытке ограбить еврея и, не снеся позора, решил покончить с собой.

Никто не знает, что сам генерал снабдил внука ядом в его узилище; говорили, правда, будто он его застрелил, но это неверно: генерал отнес внуку отравленное питье, которое должно было оборвать его жизнь. Он пояснил бедному юноше, что тому не миновать позорной кары; так не лучше ли, во избежание огласки и бесчестья, самому предаться своей судьбе? Но, как вы услышите дальше, несчастный покончил счеты с жизнью не по своему почину и не раньше, чем испробовал все пути к бегству.

Что до генерала де Маньи, то вскоре после смерти внука и кончины моего почитаемого герцога он окончательно впал в слабоумие. Когда его высочество уже сочетался браком с принцессой Марией фон Ф, и однажды гулял с молодой супругой в Английском парке, им встретился старик Маньи: с тех пор как с ним случился удар, его часто вывозили на солнце в покойных креслах.

— Моя жена, Маньи, — ласково сказал принц, пожимая ветерану руку, и добавил, обращаясь к жене: — Генерал де Маньи в Семилетнюю войну спас мне жизнь.

— Так, значит, вы ее простили? — спросил старик. — Но тогда верните и мне бедняжку Максима! — Он, видимо, забыл о смерти принцессы Оливии.

И принц, помрачнев, пошел дальше.

— А теперь, — сказала мадам фон Лилиенгартен, — мне остается рассказать вам еще одну печальную историю — о смерти принцессы Оливии. Но предупреждаю: она еще более ужасна, чем то, что вы уже слышали.

С этой оговоркой старая дама возобновила свой рассказ.

— Трусость Маньи ускорила гибель чувствительной, слабонервной принцессы, если не явилась ее причиной. Он нашел средства снестись с ней из тюрьмы, и ее высочество, в то время еще не подвергшаяся открытой опале (оберегая честь семьи, герцог вменил в вину Маньи только участие в грабеже), — ее высочество прилагала все усилия, чтобы подкупить тюремщиков и помочь узнику вырваться на свободу. Она окончательно потеряла голову и, презрев всякое благоразумие и терпение, бросалась от одного плана к другому, ибо герцог, не знавший пощады, окружил узника такой охраной, что ни о каком побеге не могло быть и речи. То она пыталась заложить брильянты короны придворному банкиру, но тот, разумеется, был вынужден отказаться от подобной сделки. То, как передавали, бросилась на колени перед министром полиции Гельдерном и предложила ему и вовсе немислимую взятку. Наконец она с истерическими воплями приступила к моему бедняжке герцогу, а уж он в свои преклонные годы, при своих недугах и вкусе к легкой, беспечальной жизни, был и вовсе не подготовлен к таким бурным сценам. Ее неистовство, ее отчаяние так подействовали на его августейшее сердце, что с ним сделался припадок, и я рисковала его потерять. Не сомневаюсь, что эти происшествия и свели его в безвременную могилу: ибо страсбургский пирог, в коем склонны были видеть причину его внезапной смерти, не мог бы так ему повредить, я глубоко уверена, если б его доброе, отзывчивое сердце не было потрясено этими свалившимися на него чрезвычайными событиями.

За всеми метаниями ее высочества зорко, хоть и неприметно, следил ее супруг, принц Виктор; наведавшись к своему августейшему родителю, он строго предупредил его, что если его высочество (мой герцог) осмелится оказать содействие принцессе в ее попытках освободить Маньи, он, принц Виктор, открыто предъявит ей и ее любовнику обвинение в государственной измене и, воззвав к ландтагу, примет меры к низведению отца с престола, как неспособного к управлению. После этого мы, разумеется, ничего уже не могли сделать, и Маньи был предоставлен своей участи.

Как вы уже знаете, она решилась внезапно. Министр полиции Гельдерн, начальник конницы Хенгст и полковник личной гвардии принца явились к Маньи в тюрьму спустя два дня после того, как генерал оставил



ему отравленный кубок, — у осужденного не хватило мужества его испить. Гельдерн пригрозил, что, если он не воспользуется этой возможностью уйти из жизни, к нему безотлагательно будут применены насильственные меры: в тюремном дворе стоит отряд гренадеров, который только ждет приказа его прикончить. Объятый животным страхом, Маньи с воплями бросился к ногам своих палачей и стал униженно ползать от одного к другому; наконец, отчаявшись тронуть их сердца, он выпил отравленное питье и через несколько минут испустил дух. Так бесславно погиб этот бедный молодой человек.

Два дня спустя в "Придворных известиях" появилось извещение о его смерти; в нем говорилось, что мосье М., замешанный в покушении на жизнь еврея-банкира, не снес угрызений совести и покончил с собой в тюрьме, выпив яду! Далее следовало обращение к молодым людям герцогства, призывавшее их бежать греховного соблазна игры, ибо это она явилась причиной гибели молодого человека и обрушила непоправимое горе на седую голову одного из благороднейших и достойнейших герцогских слуг.

Хоронили Маньи с подобающей скромностью, за гробом следовал старый генерал. После похорон к подъезду генерала подкатила карета с обоими герцогами. Перебывали у него и все первые сановники двора. На следующий день он, как обычно, участвовал в параде на Арсенальной площади, и герцог Виктор, инспектировавший арсенал, вышел оттуда, опираясь на руку храброго старого воина. Принц всячески подчеркивал свое уважение к старику; он не преминул в который уже раз — поведать своим офицерам историю о том, как в деле при Росбахе, в коем X-ский контингент сражался вместе с войсками злополучного Субиза, генерал, бросившись между ним и французским драгуном, не только принял на себя удар, предназначенный его господину, но и убил негодя, и герцог напомнил фамильный девиз генерала: "Magny sans tache" <sup>[42]</sup>, добавив, что именно таким и показал себя его храбрый друг и боевой наставник. Эта речь произвела впечатление на всех, кроме самого генерала, он только поклонился и промолчал. Однако слышали, как на обратном пути он бормотал: "Magny sans tache, Magny sans tache". В ту ночь его разбил паралич, от которого он оправился лишь отчасти.

До этих пор от принцессы удавалось скрыть известие о смерти Максима. Был даже отпечатан предназначенный для нее номер газеты без сообщения о его самоубийстве. Однако спустя несколько дней, уж не знаю каким образом, до нее дошла трагическая весть. Услышав ее, принцесса, как рассказывали приближенные дамы, страшно вскрикнула и замертво

упала на землю. А придя в себя, села на полу и стала бредить, как безумная, пока ее не отнесли на кровать и не позвали врача. Долго лежала она в нервной горячке. Принц регулярно посылал справляться о ее здоровье; судя по тому, что он повелел приготовить и заново обставить свой замок Шлангенфельз, можно было предположить, что он намерен заточить ее, как это сделали в свое время с несчастной сестрой его британского величества в Целле.

Принцесса не раз посылала к его высочеству, требуя свидания, на что он неизменно отвечал отказом, обещая встретиться с ее высочеством, когда позволит ее здоровье. В ответ на одно из неистовых посланий принцессы он послал ей в конверте изумруд — символ, в котором сплелась вся эта темная интрига.

Принцесса совсем обезумела; она клялась своим дамам, что единый локон ненаглядного Максима ей дороже, чем все драгоценности мира; требовала свою карету, клянясь, что поедет приложиться к его могиле; раструбила всем про его невиновность и призывала небесную кару и месть своих родичей на голову убийцы. Услышав про эти речи (его высочеству, разумеется, обо всем докладывали), принц, говорят, уставил на доказчика один из своих убийственных взоров (я помню их и посеючас) и сказал: "Этому надо положить конец".

Весь этот день и следующий принцесса Оливия провела, диктуя исступленные письма своему светлейшему отцу, а также королям Французскому, Испанскому и Неаполитанскому, равно как и другим своим родственникам и свойственникам, в бессвязных выражениях умоляя защитить ее от палача и убийцы, ее супруга, осыпая его особу ужаснейшей бранью и в то же время признаваясь в своей любви к убиенному Маньи. Тщетно дамы, еще хранившие ей верность, доказывали, как бесполезны эти письма и сколь опасны заключенные в них безрассудные признания; она продолжала их диктовать и отдавала на сохранение своей второй камеристке, француженке по происхождению (ее высочество всегда питала пристрастие к этой нации), а та, располагая ключом от потайной шкатулки, каждое ее послание относила Гельдерну.

Если не считать, что отменены были все приемы, при дворе принцессы соблюдался обычный ритуал. По-прежнему ее окружали придворные дамы, по-прежнему несли они свои несложные обязанности, предписанные этикетом. Однако из мужчин допускались только слуги, лейб-медик и духовник; когда же принцесса пожелала как-то выйти в сад, гайдук, стоявший на часах у дверей, доложил ее высочеству, что, по распоряжению принца, ей запрещено покидать свои апартаменты.

Покои принцессы, если вы помните, равно как и апартаменты принца Виктора, выходят на площадку мраморной лестницы X-ского замка. Просторная площадка, уставленная диванами и скамьями служила своего рода приемной, придворные и чиновники собирались здесь к одиннадцати часам приветствовать его высочество, когда он отправлялся на смотр. В этот час и гайдуки, несущие стражу в покоях принцессы, выходили со своими алебардами и брали на караул. Из апартаментов принца появлялись пажи со словами: "Его высочество, господа!" — раздавалась барабанная дробь, и приближенные вставали со скамей у балюстрады, чтобы приветствовать высочайший выход.

И вот, будто сама судьба толкала ее навстречу гибели; однажды, когда стража покинула свой пост, принцесса, зная, что принц, по обыкновению, стоит на площадке и беседует с придворными (бывало, он всякий раз заходил поцеловать ей руку), — принцесса, которая все утро проявляла лихорадочное беспокойство, жаловалась на духоту и требовала, чтобы все двери в ее покоях стояли настежь, дождавшись, когда стражи уйдут с поста, стремительно, проявляя все признаки безумия, бросилась к выходу, распахнула дверь и, прежде чем кто-либо успел сказать хоть слово, прежде чем фрейлины могли ее догнать, предстала перед принцем Виктором, который, как обычно, замешкался на площадке; преградив ему дорогу к лестнице, она закричала в неудержимой ярости:

— Внимание, господа! Этот человек убийца и обманщик! Он заманивает в ловушку честных дворян и расправляется с ними в тюрьме! Знайте же, что и я заключена в тюрьму, и мне предстоит та же участь; палач, убивший Максима де Маньи, может в любую ночь перерезать мне горло. Я взываю к вам, господа, и ко всем европейским государям, моим королевским родичам, и требую, чтобы меня избавили от этого изверга и тирана, этого обманщика и изменника! Заклинаю вас, как честных людей, доставить эти письма моим родичам и рассказать, при каких обстоятельствах они попали к вам в руки! — С этими словами несчастная женщина принялась разбрасывать письма среди ошеломленной толпы.

— Не смейте никто нагнуться! — загремел принц. — Мадам де Глейм, так-то вы следите за своей больной? Позвать сюда врачей принцессы! У ее высочества тяжелое мозговое заболевание. Господа, прошу всех разойтись!

Принц продолжал стоять на площадке, наблюдая, как его приближенные спускаются по лестнице.

— Если она сдвинется с места, ударь ее алебардой, — предупредил он часового, и тот, не долго думая, приставил к груди принцессы острие алебарды. Испугавшись, она попятилась назад, в свои покои.

— А теперь, мосье Вайсенборн, соберите эти бумаги, — приказал принц. Предшествуемый пажами, он удалился на свою половину и не выходил до тех пор, пока каждый клочок крамольных писем не обратился в пепел.

На следующий день "Придворные известия" вышли с бюллетенем за подписью трех врачей. Он гласил: "Ее высочество наследная принцесса заболела воспалением мозга и провела тяжелую, бессонную ночь". Такие сообщения появлялись теперь ежедневно. Весь штат придворных дам, за исключением двух камеристок, был распущен. Дверь на лестницу охранялась снаружи и изнутри. Все окна были заколочены, чтобы исключить возможность побега.

Вам известно, что произошло десять дней спустя: всю ночь трезвонили колокола, призывая верующих молиться за несчастную *in extremis* [\[43\]](#). А наутро газета, вышедшая в траурной рамке, сообщала, что ее высочество принцесса Оливия-Мария-Фердинанда, супруга его светлости Виктора-Луи-Эммануэля, наследного принца Х., скончалась в ночь на 24 января 1769 года.

Но знаете ли вы, как она скончалась? И тут мы опять натываемся на тайну. Паж Вайсенборн был причастен к этой темной трагедии; и тайна эта так ужасна, что, клянусь, до самой смерти принца Виктора я никому о ней не заикнулась.

После рокового *esclandre* [\[44\]](#), учиненного принцессой, принц послал за Вайсенборном и, обязав его торжественной клятвой держать все дело в строжайшем секрете (Вайсенборн только много лет спустя доверился жене — поистине, нет тайны, в которую женщина не проникла бы, если захочет), дал ему следующее загадочное поручение:

— Против Страсбурга, на той стороне реки, где Кель, живет человек, чей адрес узнать нетрудно, он заключен в самом его имени, его зовут *Monsieur de Strasbourg*. Расспросите о нем без излишнего шума и, по возможности, не привлекая внимания! Пожалуй, самое разумное — отправиться на поиски в Страсбург, где человек этот хорошо известен. Возьмите с собой кого-нибудь из близких друзей, на кого вы можете положиться; не забудьте, что жизни — ваша и его — зависят от сохранения этой тайны. Выберите время, когда мосье Страсбур будет один или в крайнем случае в обществе слуги, который живет у него постоянно (я был у этого человека случайно лет пять назад, возвращаясь из Парижа, и снова вынужден к нему обратиться в нынешних трудных моих обстоятельствах). Оставьте карету у ворот, под покровом темноты; оба вы с товарищем

наденьте маски, войдите к нему в дом и отдайте ему кошелек с сотней луидоров, пообещав вдвое большую сумму по его возвращении из поездки. Откажется — возьмите силой, а станет упираться, пригрозите убить на месте. Посадите его в карету с опущенными занавесками и следите за ним по очереди всю дорогу, не спуская глаз. При малейшей попытке крикнуть или как-нибудь дать о себе знать пригрозите убить его. Поместите его в Старой башне, где для него будет приготовлена комната; как только он сделает свое дело, вы доставите его домой так же быстро и незаметно, как увозили оттуда.

Вот какое загадочное распоряжение отдал принц Виктор пажу; и Вайсенборн, выбрав себе спутником лейтенанта Бартенштейна, немедленно отправился в это странное посольство.

Между тем в замке все притихло, казалось, двор погружен в глубокий траур, бюллетени "Придворных известий" по-прежнему сообщали о затянувшейся болезни принцессы. И хотя за ней ходили только считанные люди, по городу распространились зловещие и на удивление обстоятельные слухи, будто состояние ее все ухудшается; она-де впадает в буйство; пытается наложить на себя руки; воображает себя бог знает кем, то одним, то другим лицом. Во все концы были отряжены нарочные уведомить близких о ее болезни, да особые гонцы поскакали в Париж и Вену, как говорили, чтобы заручиться помощью врачей, искусных во врачевании болезней мозга. Все это делалось лишь для виду: никто на самом деле не желал выздоровления принцессы.

В тот день, когда Вайсенборн и Бартенштейн воротились из своей поездки, было объявлено, что здоровье ее высочества принцессы резко ухудшилось; ночью по городу разнесся слух, что она при смерти, а между тем именно этой ночью несчастная собиралась бежать.

Принцесса питала неограниченное доверие к своей камеристке-француженке, которой было поручено ходить за больной, и с этой женщиной был у нее составлен план побега. Оливия должна была захватить свою шкатулку с драгоценностями; ее уверили, будто потайная дверь в одной из ее комнат ведет к наружным воротам замка; ей также передали письмо якобы от свекра, где сообщалось, что в условный час ее будет ждать запряженная карета, которая доставит ее в Б., а оттуда она снесется со своими близкими и отдастся под их защиту.

Доверившись своей наперснице, бедная женщина отправилась в эту экспедицию. Потайной ход, проложенный в современной части здания, на самом деле вел в древнюю так называемую "Совиную башню" в наружной стене замка. Потом эту башню срыли — по весьма понятной причине.

И вот где-то по дороге свеча в руках камеристки погасла; принцесса испугалась, но крик застрял у нее в горле, когда кто-то в темноте схватил ее за руку и чей-то голос произнес: "Молчать!" В следующее мгновение некто в маске (то был сам герцог) бросился к ней и заткнул ей рот платком; несчастную жертву, связанную по рукам и ногам и лишившуюся чувств от страха, отнесли в заброшенную сводчатую комнату, где ожидавший незнакомец привязал ее к креслу. Тот человек в маске, что заткнул принцессе рот, подошел и, обнажив ей шею, сказал:

— Лучше сделать это сейчас, пока она в обмороке.

Пожалуй, оно и правда было бы лучше. Но принцесса очнулась, и хотя ее исповедник, присутствовавший при этой сцене, поспешил к ней, чтобы приготовить ее к неизбежной каре и тому новому состоянию, в которое она должна была перейти, несчастная, оглядевшись, разразилась ужасными криками, проклиная герцога, палача и тирана, и призывая Маньи, своего возлюбленного Маньи.

И тогда герцог сказал спокойно: "Помилуй, господи, ее грешную душу!" Он, исповедник и Гельдерн, второй свидетель этой сцены, преклонили колена: герцог уронил платок, и тут Вайсенборн потерял сознание; а между тем мосье де Страсбург, захватив в кулак волосы на затылке Оливии, отсек истошно кричащую голову от бедного грешного тела. Да сжалится небо над ее душой!

Такова история, которую поведала мне мадам де Лилиенгартен; читателю нетрудно заключить отсюда, что случилось с дядюшкой и со мной; после шести недель домашнего ареста нас отпустили на свободу, но с приказом немедленно покинуть пределы герцогства, да еще под эскортом отряда драгун. Нам разрешили продать наше имущество; однако деньги, оставшиеся за нашими должниками, так и пошли прахом, равно как и мои надежды на брак с графиней Идой.

Спустя шесть месяцев старый герцог скончался от удара, и герцог Виктор вступил на престол. С этого времени в X. вывелись добрые обычаи: на карты был наложен запрет; оперу и балет — марш-марш! — выслали по этапу; войска, запроданные старым герцогом за границу, были отозваны домой. С ними воротился и нищий кузен-лейтенант и женился на графине Иде. Были ли они счастливы в супружестве, я не могу вам сказать. На мой взгляд, женщина с такой ничтожной душой и не заслуживала особого счастья.

Правящий ныне герцог женился четыре года спустя после кончины своей первой супруги; что же до Гельдерна, он уже не министр полиции, но это не помешало ему построить роскошный дворец, о котором поминала

мадам де Лилиенгартен. Никто не знает, что случилось с второстепенными героями этой ужасной трагедии. Из них только мосье де Страсбур воротился к исполнению своих обязанностей. Что до остальных — еврея, камеристки и Кернера, шпионившего за Маньи, то история о них умалчивает. Острые орудия, с помощью которых сильные мира достигают своих целей, обычно ломаются при употреблении, и не слышать, чтобы хозяева особенно сокрушались об их печальной участи.

## Глава XIII

### Я продолжаю вести жизнь светского щеголя

Как поглядишь, я исписал кучу листков, а между тем главная и наиболее увлекательная часть моей истории все еще впереди, та часть, где речь пойдет о моей жизни в Англии и Ирландии и о заметной роли, какую я играл, подвизаясь среди славнейших сынов обеих стран, будучи и сам не последней спицей в колеснице. Итак, чтобы воздать должное этой части моих записок, куда более важной, чем все мои приключения на чужбине (хотя описание последних составило бы томы увлекательнейших рассказов), я постараюсь всемерно сократить повесть о моих путешествиях по Европе и моих успехах при континентальных Дворах и перейти к рассказу о том, что ожидало меня Дома. Достаточно сказать, что не было в Европе столицы, исключая захудалый Берлин, где молодого шевалье де Баллибарри не ценили бы по заслугам и где весь цвет общества, все мужественные, благородные, прекрасные его представители не были бы им заняты. Я выиграл у Потемкина восемьдесят тысяч рублей в Зимнем дворце в Петербурге, которых каналья-фаворит и не подумал мне уплатить; я сподобился видеть его высочество шевалье Чарльза Эдварда пьяным в дым что твой римский носильщик; дядюшка сыграл несколько партий в бильярд с известным лордом Ч. в Спа и, уж будьте покойны, не остался в накладе. Собственно говоря, это мы с ним вдвоем придумали славную штучку, благодаря которой не только выставили его на посмешище, но и достигли кой-чего посущественнее. Милорд понятия не имел, что один глаз у шевалье де Барри вставной; и когда дядюшка самым невинным образом предложил сразиться с ним на льготных условиях, закрыв один глаз повязкой, — благородный лорд, вознадеясь нас обыграть (а такого азартного игрока свет не видывал), принял условие, и мы нагрели его на знатную сумму.

Я не стану также распространяться о моих победах среди прекрасной половины человеческого рода. Будучи одним из самых блестящих, высоких, статных и красивых мужчин в Европе, я обладал огромными преимуществами, которыми, как человек предприимчивый, умел распорядиться. Но когда речь заходит о таких предметах, я глух и нем. Очаровательная Шувалова, черноокая Шотарска, смуглая Вальдес, кроткая



Хегенхейм, блестящая Ланжак, вы, нежные сердца, когда-то бившиеся для пылкого молодого ирландского дворянина, где вы теперь? Хоть кудри мои поседели, взор потускнел и сердце охладело с годами, изведав скуку, разочарование, измену друзей, — достаточно мне откинуться в моем кресле и предаться воспоминаниям, как милые образы из дымки прошлого вновь встают передо мной и манят улыбками, ласковыми словами, лучистыми взорами! Вам, нынешним, не найти таких красавиц и не увидеть таких манер! Взгляните на дам, толпящихся в королевской гостиной, зашитых в тесные белые атласные чехлы, с талией чуть ли не под мышками, и сравните их с грациозными фигурками былых времен! Когда мы с Корали де Ланжак танцевали на балах в Версале по случаю рождения первого дофина, ее фижмы насчитывали восемнадцать футов в окружности, а каблучки ее прелестных mules <sup>[45]</sup> возвышались на четыре дюйма над полом; кружева на моем жабо стоили тысячу крон, и одни только пуговицы на пурпурном бархатном кафтане обошлись мне в восемьдесят тысяч ливров. А что видим мы теперь? Мужчины одеты не то как грузчики, не то как квакеры или кучера наемных карет, а женщины по преимуществу раздеты. Куда делось изящество, изысканность, рыцарственная галантность того старого мира, частицей коего являюсь я? Подумать только, что законодателем лондонских мод стал какой-то Брммль <sup>[46]</sup> вульгарный субъект без роду и племени, которому так же не дано танцевать менуэт, как мне говорить по-ирокезски; который не способен раздавить бутылку, как заправский джентльмен; который никогда не отстаивал свою честь со шпагою в руке, — а ведь именно этими подвигами утверждало себя мое поколение в то доброе старое время, когда выскочка-корсиканец еще не успел пустить под откос весь дворянский мир! О, еще бы хоть раз увидеть мою Вальдес, как в тот день, когда я впервые встретил ее на берегу желтого Мансанареса, в запряженной восьмеркой мулов карете и с целой свитой кавалеров! О, еще хоть раз прокатиться с моей Хегенхейм по саксонским снегам в ее золоченых санях. А вероломная Шувалова! Но лучше сносить измену таких женщин, чем нежность других. Я ни одну из них не вспомню без волнения! В моем небогатом музее памятков хранятся локоны каждой из них! Храните ли вы мои локоны, милые голубки, вернее те из вас, кого не сломали тревоги и огорчения целого пятидесятилетия? До чего же изменился их цвет с того дня, как Шотарска повесила мою прядь себе на шею, после нашего поединка с графом Бернацким в Варшаве!

В те дни я знать не знал этих ваших приходо-расходных книг — их прилично вести разве что нищему. Я ничего никому не был должен. Я

платил по-царски за все, что ни брал, а брал я все, чего душа захочет. Должно быть, у меня были тогда огромные доходы. Моим приемам, моим выездам мог бы позавидовать вельможа самого высокого ранга — а ведь найдутся же мерзавцы, которые на том основании, что я взял приступом леди Линдон и женился на ней (как вы вскоре услышите), назовут меня нищим проходимцем и станут утверждать, будто брак этот был неравным. Шутка ли — нищий! Это я, к чьим услугам были все богатства Европы! Проходимец! Но то же самое можно сказать о заслуженном юристе или храбром солдате да, в сущности, о любом человеке, который сам пробивает себе дорогу в жизни. Моей профессией была игра; в этой области я в свое время не знал соперников. Ни один человек в Европе не мог устоять против меня при условии, что игра велась честная! Мои доходы были так же надежны (лишь бы я был здоров и занимался своим делом), как у того богача, что получает с капитала свои три процента, или у разжиревшего сквайра, коему барыш приносят его акры. Урожай может так же подвести вас, как и собственное искусство. Он так же зависит от капризов счастья, как талия, прометанная искусным банкометом; а вдруг случится засуха, или ударит мороз, или налетит гроза, и ваша карта бита; но от этого ни сквайр, ни игрок не станут авантюристами.

Милые тени прошлого, воспоминание о вас приносит мне одну лишь безоблачную радость! К сожалению, я не сказал бы этого о другой леди, которая отныне будет играть значительную роль в драме моей жизни — о графине Линдон, с которой я имел несчастье познакомиться в Спа вскоре после того, как события, описанные в предыдущей главе, заставили меня покинуть Германию.

Гонория, графиня Линдон, виконтесса Буллингдон в Англии и баронесса Линдон, владетельная госпожа замка Линдон в Ирландском королевстве, была в свое время хорошо известна в высших кругах, и нет необходимости вдаваться в историю ее семьи — читатель найдет эти сведения в любой "Книге пэров", какая окажется у него под рукой. Нечего и говорить, что все эти титулы она унаследовала по праву рождения. Ее поместья в Девоне и Корнуолле принадлежали к числу самых обширных в этих краях, и не менее богатыми были ее ирландские владения; мне уже пришлось упомянуть о них в самом начале этих записок, поскольку они граничили с моими родовыми землями в Ирландском королевстве; несправедливые конфискации земли во времена Елизаветы и ее родителя как раз и привели к убавлению моих акров и приумножению и без того огромных владений дома Линдон.

Когда я встретился с графиней в Собрании на водах в Спа, она была

замужем за своим кузеном, досточтимым сэром Чарльзом Реджинальдом Линдоном, кавалером ордена Бани, послом Георга II и Георга III при некоторых второстепенных дворах Европы. Сэр Чарльз Линдон пользовался известностью как остро слов и бонвиван; в сочинении любовных эклог он соперничал с Хэнбери Уильямсом, а в остроумии с Джорджем Селвином; подобно Хорри Уолполу, это был *homme de vertu*, муж совета и разума (кстати, он вместе с Уолполом и мистером Греем проделал часть их кругосветного путешествия), короче говоря — один из самых изысканных и просвещенных людей своего времени. Я познакомился с этим джентльменом, как обычно, за карточным столом, коего он был ревностным завсегдатаем. Меня восхищала та бесшабашность и галантность, с какой он предавался любимой забаве; ибо хоть он и страдал подагрой и множеством других болезней, хоть и терпел невыносимые муки и, как инвалид, передвигался в креслах, — каждое утро и каждый вечер этот немощный калека являлся на свой пост за восхитительным зеленым сукном; и если, как не раз случалось, его воспаленные пальцы были не в силах удержать стопку с игровой костью, это не мешало ему объявлять очко, а уж метал за него слуга или приятель. Меня восхищает в таких людях их непреклонный нрав. С подобной настойчивостью многого добьешься в жизни.

Имя мое к тому времени приобрело громкую известность в Европе; слава о моих похождениях, поединках и о моей отважной игре опережала меня повсюду, и где бы я ни появлялся на публике, вокруг меня толпились люди. Я мог бы показать вам кучи надушенных записок, в доказательство того, что моего знакомства искали не одни джентльмены; но хвастаться не в моих привычках, я говорю о себе лишь в тех случаях, когда необходимость заставляет меня рассказать о том или другом приключении, прогремевшем на всю Европу. Итак, наше знакомство с сэром Чарльзом Линдоном началось с того, что досточтимый кавалер выиграл у меня семьсот гиней в пикет (в этой игре он был мне достойным противником), — я проиграл ему эти деньги и глазом не сморгнув, мало того, уплатил ему их пунктуально в срок, все до последней монеты. Да и вообще, надо отдать мне справедливость, теряя деньги за игорным столом, я нисколько не злился на удачливого противника и, встречаясь с сильнейшим игроком, всегда признавал его превосходство и поздравлял его с победой.

Линдону было лестно обыграть такую знаменитость, и у нас завязалось нечто вроде приятельских отношений; некоторое время мы, правда, ограничивались обычными знаками учтивости, встречаясь у минеральных источников или за ужином в казино, однако постепенно

сошлись короче. Это был на редкость прямой человек (в то время знатные люди держали себя куда высокомернее, чем мы это видим сейчас). Он часто говаривал мне своим небрежно-презрительным тоном:

— Что за черт, мистер Барри, у вас манеры цирюльника, мне думается, мой черный грум воспитан лучше вашего, но есть в вас что-то самобытное, лихое, и вы мне нравитесь, сэр: похоже, что вы решили отправиться к чертям собачьим своей собственной непроторенной дорогой.

Я благодарил его, смеясь, за столь лестное мнение и отвечал, что, поскольку ему предстоит отбыть на тот свет значительно раньше моего, я буду ему крайне обязан, если он прибережет для меня уютное местечко.

Его забавляли мои рассказы о нашем фамильном достоянии и о великолепии замка Брейди, он смеялся от души и не уставал их слушать.

— Держитесь карт, дитя мое, — советовал он мне, когда я поведал ему о моих незадачливых матримониальных происках и о том, как я чуть не завладел богатейшей наследницей Германии. — Что угодно, только не женитесь, мой безыскусный ирландский простачок (ему нравилось придумывать для меня десятки забавных прозвищ). Совершенствуйте свои незаурядные таланты по игрецкой части; но помните, женщина скрутит вас в бараний рог.

Я отрицал это, ссылаясь на случаи, когда мне удавалось укротить строптивейших представительниц слабого пола.

— Они вас доконают рано или поздно, мой Алкивиад из Типперэри. Стоит вам жениться, и, — попомните мое слово, — ваша песенка спета. Возьмите хоть меня. Я женился на своей кузине, самой родовитой и богатой наследнице в Англии, женился чуть ли не против ее желания (тут по лицу сэра Чарльза Линдона скользнула легкая тень). Женщина она слабая, сами увидите, сэр, до чего слабая, но это не мешает ей быть моей тиранкой. Она отравила мне жизнь. Глупа как пробка, а обошла одного из умнейших людей в христианском мире. Она чертовски богата, но почему-то я никогда не бывал так беден, как женившись на ней. Я рассчитывал женитьбой поправить свои обстоятельства, а она только сделала меня несчастным и вскорости сведет в могилу. И то же самое постигнет моего преемника, когда меня не станет.

— А велики ли у миледи доходы? — поинтересовался я.

На каковой вопрос сэр Чарльз разразился оглушительным хохотом, заставив меня покраснеть за свою неловкость. Видя его в столь плохом состоянии, я, естественно, прикинул в уме, на что может рассчитывать предприимчивый человек в рассуждении его вдовы.

— Боже сохрани! — воскликнул он, смеясь. — Чур, чур, мистер

Барри! Не вздумайте когда-нибудь занять мое место, если дорожите своим покоем. К тому же вряд ли леди Линдон снизойдет до...

— До кого?.. Извольте объясниться, сэр! — вскричал я в бешенстве.

— Сие не суть важно. Но только любой человек, который на это отважится, будет горько каяться. Черт бы ее побрал! Если бы не честолюбивые планы моего родителя, да и мои в какой-то мере (он был ее дядей и опекуном, и нам не хотелось выпускать из семьи такое состояние), я мог бы по меньшей мере умереть спокойно; помаленьку донес бы свою подагру до могилы, живя в скромной квартире в Мэйфэре, и в любом английском доме были бы мне рады, — а теперь у меня самого их шесть, и в каждом ад и скрежет зубовой. Бойтесь величия, мистер Барри! Да будет мой пример вам остережением. С тех пор как я женился на богатстве, несчастнее нет никого на свете. Взгляните на меня! Пятидесяти лет от роду я схожу в гроб жалким калекой. Женитьба состарила меня лет на сорок. Когда я связался с леди Линдон, я выглядел моложе всех моих сверстников. О, жалкий глупец! Точно мало мне было моего пенсионера, моей неограниченной свободы и самого лучшего общества, какое знает Европа; и все это я потерял, женившись на ней, и стал несчастным человеком. Да будет мой пример вам остережением, капитан Барри, держитесь лучше карт!

Хоть мы с сэром Линдоном были приятелями, он принимал меня только в своих апартаментах, в другие же помещения отеля, где он стоял, меня не допускали. Его супруга жила отдельно — трудно было понять, зачем они путешествуют вместе. Леди Линдон была крестницей престарелой Мэри Уортли Монтегью и, подобно этой знаменитой женщине, являвшей осколок минувшего века, притязала на то, чтобы слыть синим чулком и *bel esprit* <sup>[47]</sup>. Леди Линдон сочиняла стихи по-английски и итальянски, — желающие найдут их на страницах журналов той поры; вела переписку с несколькими европейскими *savants* <sup>[48]</sup> по таким вопросам, как история, естествознание, древние языки, а наипаче богословие. Особенное удовольствие доставляло ей обсуждать всякие controverзы с аббатами и епископами; ее присяжные льстецы клялись, что она ученостью затмила мадам Дасье. Любой искатель приключений, вообразивший, что ему удалось открыть новый закон в химии, или античную статуэтку, или рецепт философского камня, мог рассчитывать на ее покровительство. Ей были посвящены многочисленные ученые труды, и не было стихокропателя в Европе, который не сочинил бы сонета в ее честь, величая ее то Линдонирой, то Калистой. Ее комнаты были забиты мерзейшими

китайскими уродцами и прочими *objets de vertu* [49].

Ни одна женщина столько не трубила о своих принципах и ни одна не поощряла столь открытых ухаживаний. В те поры у джентльменов волокитство было возведено в своего рода культ, о каком понятия не имеет нынешнее, прозаическое, бесхитростное время. Сердцееды, стар и млад, изливали свои чувства в потоках мадригалов и посланий, изощряясь в таких комплиментах, от которых у любой здравомыслящей леди в наши дни глаза полезли бы на лоб, настолько старосветская галантность чужда нынешним нравам.

Леди Линдон путешествовала целым маленьким двором. Во главе кортежа из полудюжины экипажей ехала сама ее милость с компаньонкой (какой-нибудь потертой дамой чистых кровей), а также ее птицы, ее пудели и дежурный *savant*; за ними следовала секретарша с оравой горничных, которым, невзирая на все труды, не удавалось привести свою барыню в приличный вид, и она всегда выглядела сущей неряхой. Сэр Чарльз путешествовал особняком в собственной колеснице, а дальше тянулись рыдваны с многочисленной челядью.

Я чуть не упустил из виду экипаж, где сидел капеллан ее милости, мистер Рант, исполнявший также обязанности гувернера при ее сыне, маленьком виконте Буллингдоне — понуром заброшенном мальчугане, которого отец не замечал, а мать допускала только минуты на две на свои утренние приемы, чтобы учинить ему небольшой экзамен из истории или латинской грамматики. Все остальное время мальчик был целиком предоставлен себе и попечениям своего гувернера.

Зрелище этой Минервы, которую я порой встречал в общественных местах, окруженную роем нищих аббатов и школьных учителей, льстивших ей напропалую, сперва сильно меня испугало и не побудило искать ее знакомства. У меня не было никакого желания смешаться с толпой убогих почитателей, составляющих арьергард каждой знатной дамы, — этих полудрузей, полулакеев, которые слагают ей стихи, посвящают ей послания и состоят у нее на посылках в чаянии нещедрой барской милости вроде приставного стула в ложе на представлении комедии или прибора за обеденным столом.

— Не бойтесь, — говорил мне Чарльз Линдон, который особенно охотно злословил и острил по адресу своей супруги, — моя Линдонира знать вас не хочет. Она не выносит ирландского акцента и предпочитает тосканский. От вас, говорит, несет конюшной, вас будто бы нельзя пускать к дамам. В воскресенье на прошлой неделе, когда я последний раз был удостоен ее беседы, она сказала мне: "Не понимаю, сэр Чарльз Линдон, как

джентльмен, представлявший особу своего государя, позволяет себе бражничать и играть в карты с каким-то ирландским шулером!" Полноте, сэра, не сердитесь! Не забывайте, что я калека, да и сказала это Линдонира, а не я.

Это меня задело, и я решил познакомиться с леди Линдон, дабы доказать ее милости, что потомок Барри, чьим имуществом она незаконно владеет, достоин внимания любой дамы, пусть и самой именитой. К тому же, думал я, мой друг сэра Линдон долго не протянет, и его вдова будет самым ценным призом во всех трех королевствах. Так почему же не завладеть ею, почему не добиться того положения в свете, какого требуют мои склонности и таланты? Я знал, что рождением и воспитанием не уступлю никакому Линдону, и решил смирить гордыню. А уж если я что решу, считайте, что дело сделано.

Мы с дядюшкой на семейном совете составили план, как мне лучше подъехать к величественной госпоже замка Линдон. Мистер Рант, гувернер юного лорда Буллингдона, не чуждался мирских развлечений; он любил летним вечером посидеть в открытом ресторанчике за бокалом рейнского и при случае был не прочь побросать кости; я постарался заручиться дружбой этого человека, который, как истый англичанин и университетский педель, благоговел перед любым фатишкой, представлявшим в его глазах высший свет. Его ошеломила моя многочисленная свита, мои vis-a-vis [\[50\]](#) и щегольские коляски, мои камердинеры, мои лошади и мой грум, облаченный в форму гусара, а паче всего я сам — он только диву давался, когда, щеголяя в золоте, бархате и соболях, я раскланивался на Корсо, с первыми джентльменами Европы, и был так польщен моим вниманием, что стоило мне поманить его пальцем, как он предался мне всей душой. Никогда не забуду, как бедняга оторопел, когда я позвал его отобедать со мной и с двумя графами в отдельном кабинете казино, где нам подавали на золоте. Мы дали ему выиграть несколько монет и этим вконец осчастливили; он нагрузился от полноты чувств и принялся распевать кембриджские песни, а потом, безбожно мешая французский с йоркширским, стал забавлять всю компанию анекдотами об университетских педелях и обо всех лордах, когда-либо учившихся в его колледже. Я просил его бывать почаще и приводить с собой малыша виконта. И хотя мальчишка с первой же минуты меня возненавидел, я всегда держал для него запас лакомств, игрушек и книжек с картинками.

Постепенно у нас с мистером Рантом открылись прения о вере, я признался ему в кое-каких сомнениях, а также в весьма серьезной

склонности к римско-католическому исповеданию. Знакомый аббат писал для меня письма о пресуществлении, и честный наставник парой затруднялся на них ответить. Я знал, что он покажет их своей госпоже, и не ошибся. Дело в том, что я испросил разрешения посещать воскресную англиканскую службу, которая совершалась в ее апартаментах и на которой бывали избранные представители местной английской колонии; уже на второе воскресенье она удостоила меня взгляда; в третье воскресенье она даже присела в ответ на мой низкий поклон; на следующий день я закрепил наше знакомство, почтительно сняв перед ней шляпу на Корсо; словом, не прошло и полутора месяцев, как у нас с ее милостью завязалась горячая переписка по вопросу о пресуществлении. Миледи поспешила на выручку своему капеллану, и я, как и следовало ожидать, сдался под тяжестью его аргументов. Но не стоит рассказывать все перипетии этой безобидной интриги. Не сомневаюсь, что и вы, читатель, не раз прибегали к подобным военным хитростям, чтобы завоевать хорошенькую женщину.

Я и сейчас вижу удивленное лицо сэра Чарльза Линдона, когда однажды летним вечером, направляясь, как обычно, в своем портшезе к игорному столу, он встретил во дворе отеля знакомое ландо четвериком в сопровождении верховых в золотистой ливрее дома Линдонов и рядом со своей супругой увидел "пройдоху ирландца", как она изволила отзываться о вашем покорном слуге, Редмонде Барри, эсквайре. Его милость отвесил нам самый изысканный поклон, на какой был способен, усмехнулся, сардонически оскалив зубы, и помахал нам шляпой со всей грацией, какую позволяла ему подагра, и мы с ее милостью со всей возможной учтивостью ответили на это приветствие.

Я еще долго не мог добраться до игорного стола, так как мы с леди Линдон добрых три часа толковали о пресуществлении; в этом споре она, как всегда, одержала победу, тогда как на ее компаньонку, досточтимую мисс Флинт Скиннер, он нагнал сон. Когда же я наконец присоединился к сэру Чарльзу в казино, он, по обыкновению, встретил меня оглушительным смехом и представил всему обществу как очаровательного юного прозелита, обращенного самого леди Линдон. Таков уж был его обычай. Он надо всем глумился, все высмеивал. Смеялся, изнемогая от боли, смеялся, выигрывая деньги и теряя их, но смех его не заключал в себе ничего веселого и добродушного, напротив, отдавал горечью и сарказмом.

— Господа, — воскликнул он, обращаясь к Пантеру, полковнику Лодеру, графу де Карро и другим подгулявшим собутыльникам, с которыми после игры имел обыкновение подкрепляться форелью, запивая ее шампанским, — посмотрите на этого милого юношу. Он терзался



религиозными сомнениями и побежал к моему капеллану, а тот обратился за советом к моей супруге, леди Линдон, и теперь эти духовные пастыри укрепляют моего простодушного юного друга в правой вере. Как вам нравятся сии апостолы и сей ученик?

— Клянусь честью, — воскликнул я, — если мне понадобятся уроки добрых правил, я, разумеется, обращусь не к вам, а к вашей супруге и вашему капеллану.

— Ему хочется на мое место! — продолжал издеваться милорд.

— Каждому захочется, — возразил я, — но только не в рассуждении подагрических шишек.

Мой ответ еще пуще разозлил сэра Чарльза. Выпив, он был весьма несдержан на язык, а выпивал он, надо сказать, куда чаще, чем было ему полезно.

— Посудите сами, господа, — продолжал он, — разве я не счастлив, — к концу моих земных сроков находить; столько радостей у семейного очага; жена так любит меня, что уже сейчас подыскивает мне заместителя (я имею в виду не только вас, мистер Барри, вы всего лишь кандидат наравне со многими, коих я мог бы перечислить здесь поименно). Разве не приятно видеть, как она в качестве рачительной хозяйки заблаговременно готовится к моему отбытию?

— Надеюсь, сэр, вы еще не скоро нас покинете, — сказал я вполне искренне, ибо ценил в нем занятого собеседника.

— Не так скоро, мой друг, как вы, может быть, воображаете, отпарировал он. — За последние четыре года меня уже не однажды хоронили, и каждый раз один-два: кандидата только и ждали, когда откроется вакансия. Кто знает, сколько я и вас еще заставлю ждать. — И действительно, он заставил меня ждать несколько больше, чем можно было предположить по его тогдашнему состоянию.

Поскольку я говорю обо всем по возможности открыто — таков уж мой нрав — и поскольку писатели завели моду подробно описывать дам, в коих влюбляются их герои, то, дабы не составлять исключения, надо и мне сказать несколько слов о прелестях леди Линдон. Но хоть я: и воспевал их во множестве стихов, сочиненных лично мной и другими, исписал не одну стопу бумаги в цветистом стиле той поры, прославляя каждое ее совершенство и каждую улыбку в особицу, сравнивая ее с каждым цветком, каждой богиней и прославленной героиней, о каких мне приходилось слышать, однако из уважения к истине должен сознаться, что ничего божественного я в ней не находил. Она была недурна собой — и только. У нее была вполне терпимая фигура, черные волосы, красивые глаза и весьма

деятельный нрав: так, она любила петь, но отчаянно фальшивила, как и полагается знатной даме. Немного болтала на пяти-шести языках и нахваталась верхов в таких науках, какие я и назвать толком не сумею. Гордилась знаниями греческого и латыни, хотя цитаты, — коими она уснащала свою обильную корреспонденцию, подбирал ей, конечно, мистер Рант. При огромном тщеславии и болезненном самолюбии, она вовсе лишена была сердца; а иначе, как прикажете объяснить, что в тот день, когда лорд Буллингдон, ее сын, после ссоры со мной бежал из дому... Впрочем, не стоит опережать события, об этом будет рассказано в своем месте. Наконец, леди Линдон была на год меня старше, хотя, разумеется, поклялась бы на Библии, что я старше ее на три года.

Мало найдется на свете людей моей честности, мало кто признается вам в своих истинных побуждениях — ну а мне нет нужды в том, что подумают люди. То, что сказал сэр Чарльз, было совершенно справедливо. Я втерся в знакомство с леди Линдон не без задней мысли.

— Сэр, — обратился я к нему, когда мы оказались вдвоем вскоре после того случая, как он всячески меня поносил. — Смеется тот, кто смеется последним. Вам угодно было на днях подшутить надо мной и над моими планами касательно вашей супруги. Ну, а если вы и угадали, если я и мечу на ваше место, что из того? Разве в свое время у вас не было таких же намерений? Клянусь, так угождать леди Линдон, как вы, сумею и я, а если я ее добьюсь, когда вас уже на свете не будет, — *corbleu* <sup>[51]</sup>, милорд! — уж не думаете ли вы, что я откажусь от нее из страха перед выходцем с того света?

Линдон, по обыкновению, рассмеялся, но на сей раз в его смехе звучала неуверенность — я одержал над ним верх в этом споре, — ведь он был такой же охотник за приданым, как я.

Как-то он сказал мне:

— Если вы женитесь на женщине вроде миледи Линдон, вы жестоко раскаетесь, попомните мое слово. Вы будете тосковать по утраченной свободе. Клянусь честью, капитан Барри, — добавил он со вздохом, — больше всего я сожалею, оплакивая мою загубленную жизнь, — быть может, оттого, что я стар, *blase* <sup>[52]</sup> и стою одной ногой в могиле, — что не было у меня никогда чистой привязанности.

— Ха-ха! Уж не к дочери ли молочницы? — подхватил я, смеясь этой нелепице.

— А хоть бы и так! И я когда-то любил, мой мальчик, как и большинство людей на свете. Моей привязанностью была дочка учителя,

Элен, цветущая девушка, конечно, меня постарше (тут я вспомнил свое увлечение Норой Брейди в дни невозвратной юности), и знаете, сэр, я страшно жалею, что в свое время на ней не женился. Что может быть лучше такой добродетельной хлопотуньи у тебя дома! Только это и придает настоящую остроту и прелесть твоим приключениям вне дома. Ни один здравомыслящий человек не должен отказывать себе ради жены ни в одном удовольствии: напротив, он лишь тогда сделает верный выбор, если подыщет себе пару, которая не будет ему помехой в часы развлечений, но станет его утехой в часы одиночества и скуки. Возьмите, к примеру, меня, я болен подагрой, и кто же обо мне печется? Наемный слуга, который только ищет случая меня обокрасть. Жена и близко ко мне не подходит. Какие у меня друзья? Да никого решительно. Светские люди, как мы с вами, в друзья не годятся; вот мы и остаемся на бобах. Добудьте себе друга, сударь, женщину-друга, этакую домовитую хлопотунью, которая по-настоящему вам преданна. Это самая драгоценная дружба, ибо в накладе всегда женщина. От мужчины ничего не требуется: если он изверг, она еще больше к нему привяжется за дурное обращение. Такие женщины, сэр, это любят. Они рождены быть нашим величайшим утешением, нашим удобством; это наши — наши, если хотите, моральные машинки для снятия сапог, а уж для человека вашего образа жизни такая женщина просто находка. Я забочусь о вашем физическом и моральном благополучии, заметьте! Ах, почему я не женился на бедняжке Элен Флауэр, дочери приходского священника!

Тогда эти речи казались мне нытьем слабого человека, потерпевшего в жизни крушение, и только позднее открылось мне, сколько правды заключалось в суждениях сэра Чарльза Линдона. Мы, сдается мне, зачастую прогадываем, покупая деньги. Приобрести несколько тысяч годового дохода, обзаведясь ненавистной женой, — сомнительная выгода для молодого человека, не лишенного способностей и предприимчивости; в моей жизни не раз бывало среди величайшего изобилия и великолепия, когда десяток: лордов ждали моего утреннего выхода, и на моих конюшнях стояли чистокровные кони, и дом мой блистал роскошью сверх всякой меры, и банки навязывали мне свой кредит, что все это было отравлено для меня присутствием леди Линдон, и я, кажется, вернулся бы рядовым в Бюловский полк или бежал куда глаза глядят, только бы от нее избавиться.

Но вернемся к моему рассказу. Обремененный болезнями, сэр Чарльз постепенно угасал, и ему, должно быть, было малопривно, что красивый молодой щеголь увивается за его вдовой у него на глазах. Проникнув к ней в дом с помощью диспута о пресушествлении, я потом изыскал немало

других предлогов в нем укрепиться и вскоре так прижился у благородной леди, что уж, можно сказать, от нее не выходил. Свет волновался, свет бурлил, но какое мне было до этого дело! Пусть мужчины клеймили позором бесстыжего ирландского проходимца, — у меня был способ заткнуть завистникам рот: моя шпага завоевала себе такую славу на континенте, что мало кому улыбалось свести с ней знакомство. Стоит мне где-нибудь утвердиться, как меня уже никакими силами не сгонишь с места. Бывая в знакомых домах, я видел, что мужчины меня сторонятся. "Как можно! — говорили они. — Какой-то грязный ирландец!", "Брр! Авантюрист худшего разбора!", "Мелкий плут и фат — мы знать его не хотим!" и т. д. и т. п. Но эта ненависть лишь сослужила мне добрую службу. Уж если я за кого ухвачусь, то держу мертвой хваткой; в таких случаях даже лучше, чтобы все от меня отвернулось. Как я говорил тогда леди Линдон, и говорил совершенно искренне: "Калиста (я называл ее Калистой в письмах), клянусь, Калиста, твоей непорочной душой, блеском твоих непреклонных глаз, всем, что чисто и девственно в небе и в твоём сердце, — никогда не устану я следовать за тобой. Презрение меня не страшит, я немало терпел его от тебя. Холодность меня не отталкивает, я знаю, что в силах ее побороть: это — скала, которую моя энергия возьмет приступом, магнит, притягивающий бестрепетное железо моей души!" И я говорил правду, я бы ни за что от нее не отказался, даже если б меня спускали с лестницы всякий раз, как я переступал ее порог.

Такова моя система привораживать женщин. Пусть каждый, кто сам прокладывает себе дорогу в жизни, запомнит это правило. Иди напролом! — вот в чем секрет. Дерзай — и мир перед тобой отступит; а если тебе и намнут холку, дерзай снова, и он тебе покорится. В то время я был так напорист, что, кажется, вздумай я жениться на принцессе крови, я бы и ее добился!

Я рассказал Калисте повесть моей жизни, лишь кое в чем отступив от истины. Моей целью было нагнать на нее страх: показать, что уж если я чего захочу, то дерзаю, а дерзая, добиваюсь своего; в моей жизни было немало Эпизодов, свидетельствующих о железной воле и неукротимой отваге.

— Не надейтесь от меня избавиться, мадам, — внушал я леди Линдон, обещайте свою руку другому, и он умрет от этой шпаги, еще не знавшей поражений. Бегите меня, и я последую за вами, хотя бы и до врат ада. Поверьте, я говорил с ней языком, несколько не похожим на сюсюканье ее слюнтяев-поклонников. Видели бы вы, как я их распугал!

Когда я грозился последовать за леди Линдон, если понадобится, и за

Коцит, я, разумеется, так и собирался сделать, — в случае если мне тем временем не подвернется что-то более подходящее. В самом деле, а вдруг Линдон заживется, какой мне тогда смысл преследовать графиню? А тут, — дело шло уже к концу сезона в Спа, — милорд, к великой моей досаде, снова взялся меня допекать: казалось, он неуязвим для смерти.

— Мне, право, жаль вас, капитан Барри, — говорил он, как всегда, смеясь. Как это, в самом деле, неприятно, что из-за меня — вам или другому джентльмену — приходится терять время. Вам надо бы обратиться к моему врачу или договориться с моим поваром — ну что ему стоит подсыпать мне в омлет мышьяку. А ведь может случиться, господа, — добавлял он, — я еще увижу, как капитан Барри болтается на виселице.

И в самом деле, доктора подлечили его еще на год.

— Мне, как всегда, не везет, — пожаловался я дядюшке, моему бесценному советчику в сердечных делах. — Я расточаю сокровища своей души на бессердечную кокетку графиню, а мужа ее опять поставили на ноги, глядишь, он проживет еще не один год!

А тут, как на грех, в Спа принесло, прямо-таки к шапочному разбору, англичанку, наследницу торговца сальными свечами, невесту со сотысячным приданым, да еще некую мадам Корню, вдову богатого прасола и фермера в Нормандии, с водянкой и двумястами тысяч ливров годовых.

— Какой мне смысл следовать за Линдонами в Англию? — спрашивал я. — А вдруг милорд не умрет?

— А ты и не следуй за ними, наивный ты младенец, — отвечал дядюшка. Оставайся здесь и попробуй приударить за этими новенькими.

— Да, но потерять Калисту и самое большое состояние в Англии?

— Вздор, вздор! Эх вы, юноши! Вы легко загораетесь и вешаете голову при первой же неудаче! Переписывайся с леди Линдон. Ведь это ее любимое занятие! Кстати, у тебя под рукой твой ирландский аббат, он настроит тебе самые восхитительные послания, и всего-то по кроне за штуку. Пусть уезжает: шли ей письма, а тем временем не зевай, авось что и навернется. Кто знает: ты, может быть, успеешь жениться на нормандской вдове, схоронить ее, прикарманить ее денежки, а там умрет милорд, и освободится графиня.

Итак, не жалея клятв, я заверил графиню в своей глубокой, почтительной преданности, всучил ее горничной двадцать луидоров, чтоб добыла мне прядь волос своей хозяйки (о чем последняя была, конечно, поставлена в известность этой преданной женщиной), и когда настало время ей возвратиться в свои английские поместья, простился с леди

Линдон, заверяя, что не замедлю за ней последовать, как только покончу с делом чести, которое еще держит меня здесь.

Опускаю события целого года, прошедшего до новой нашей встречи. Верная своему обещанию, графиня писала мне сперва регулярно, а потом все реже и реже. Меж тем дела наши за игорным столом шли неплохо, и я чуть было не женился на вдове Корню (бедняжка без памяти в меня влюбилась и последовала за нами в Брюссель), — когда мне попал в руки номер "Лондонской газеты", где я прочел следующее траурное извещение:

"Скончался в замке Линдон в Ирландском королевстве досточтимый сэр Чарльз Линдон, кавалер ордена Бани, член парламента от местечка Линдон в Девоншире, в течение долгих лет посол его величества при многих европейских дворах. Сэр Линдон оставил по себе светлую память в сердцах друзей, восхищенных его многообразными добродетелями и достоинствами, безупречное имя, приобретенное на службе его величества, и безутешную вдову, оплакивающую потерю, столь незаменимую. Ее милость, осиротевшая графиня Линдон, находилась в Бате, когда ее настигла печальная весть о кончине возлюбленного супруга, но тотчас же поспешила в Ирландию, чтобы отдать последний горестный долг дорогим останкам".

В тот же вечер я приказал заложить карету и отправился в Остенде, где зафрахтовал судно на Дувр, и, без промедления держа путь на запад, достиг Бристоля; в этом порту я сел на корабль, отплывающий в Уотерфорд, и после одиннадцатилетнего отсутствия ступил наконец на родную землю.

## Глава XIV

# Я возвращаюсь в Ирландию и удивляю жителей королевства своим великолепием и щедростью

Что за разительная перемена произошла в моей жизни! Я оставил страну бедным, неизвестным юношей, рядовым жалкой маршевой роты, а воротился зрелым мужем с состоянием в пять тысяч гиней, с безупречным гардеробом и дорогими безделками стоимостью еще в добрых две тысячи; я узнал все стороны жизни и вращался во всех слоях общества, играя повсюду не последнюю роль; я изведал войну и любовь и единственно благодаря своим способностям и энергии проложил себе путь из нищеты и неизвестности к благоденствию и роскоши. Глядя из окошка моей кареты, катившей по пустынным, голым дорогам мимо ветхих хижин местных поселян, выбегавших в своем отрепье позевать на пышный экипаж и при виде важного незнакомца в роскошной золоченой карете и моего телохранителя орясины Фрица, сидевшего, развалясь, на заднем сиденье, — его закрученных в стрелку усов, толстой косы и зеленой ливреи, обшитой серебряным галуном, возглашавших троекратное "ура!" в честь сиятельного лорда, — я не без самодовольства думал о своей успешной карьере и благословлял небо, одарившее меня столь превосходными талантами. Если бы не мои достоинства, быть бы и мне таким неотесанным сквайром, с чванным видом разгуливающим по улочкам дрянного городишки, через какие проезжала моя карета, направляясь в Дублин. Я, возможно, женился бы на Норе Брейди (не странно ли — хоть судьба, благодарение небу, уберегла меня от этой участи, я почему-то всегда с нежностью вспоминаю мою кузину, и горечь, причиненная ее утратой, еще и доселе свежа в моей памяти, более чем любой другой эпизод моей жизни); возможно, наплодил бы десяток ребятишек и был бы самостоятельным фермером или экономом у сквайра, или десятником, или адвокатом, а между тем сейчас я один из самых известных джентльменов Европы! Пока нам меняли лошадей, я велел слуге достать мешок с медяками и швырять их в толпу, и это вызвало такой хор благословений и добрых пожеланий, как будто проезжал сам милорд Таунсенд, лорд-наместник Ирландии.

Лишь на второй день пути — ибо ирландские дороги были в те времена из рук вон плохи и барская колесница еле-еле плелась по ухабам и рытвинам прибыли мы в Карлоу, где я остановился в той же гостинице, куда заезжал одиннадцать лет назад, когда бежал из дому, считая, что убил Квина в поединке. Как живо встали передо мной картины прежних дней! Старый хозяин, когда-то прислуживавший мне, приказал долго жить; гостиница, показавшаяся мне тогда уютной, являла следы крайнего обветшания, но вино было не хуже, чем встарь, и я пригласил хозяина распить со мной кувшин, чтобы услышать от него местные новости.

Общительный, как все его племя, он рассказал мне про урожай и про цены на рынке; и почему продавали скот на последней Касл-Дермотской ярмарке, и последнюю шутку отца Хогана, священника; и как "Белые ребята" сожгли стога у сквайра Скэнлена; и как грабители, напав на дом сэра Томаса, здорово просчитались; и кто поведет охоту с килкеннийскими гончими в следующем сезоне; и какая замечательная облава была у них в прошедшем марте; и какой полк стоит в городе; и как мисс Бидди бежала с прапорщиком Муллинсом; а также все новости по части спорта, выездных сессий суда и съезда мировых судей поведал мне сей достойный летописец от пивных бочек, не переставая удивляться, как моя честь не слышала этого в Англии или в чужих землях, где, по его убеждению, так же интересовались тем, что произошло в Килкенни и Карлоу, как и здесь. Признаюсь, я с удовольствием слушал его болтовню; в его рассказах поминутно мелькали имена, знакомые мне с давних пор, пробуждая сотни воспоминаний.

Я получал немало писем от матушки, сообщавшей мне все новости о брейдитаунском семействе. Дядюшка умер, и Мик, его старший сын, вскорости последовал за ним. Все девушки семейства Брейди покинули отчий дом, как только в нем стал заправлять старший братец. Некоторые повыходили замуж, другие вместе со своей ведьмой мамашей перебрались на жительство в какой-то богоспасаемый городишко, куда публика летом ездила на воды. Итак, Улик все же унаследовал фамильное гнездо, но уже в такой степени разорения, столь обремененное долгами и закладными, что оно потеряло для него всякий интерес, и теперь в замке Брейди, за исключением старого егеря, обитали только совы да летучие мыши. Матушка моя, миссис Гарри Барри, переехала в Брей, в приход мистера Джоулса, поближе к источнику своего духовного утешения и назидания; что же до ее сына, мистера Редмонда Барри, то он, по словам хозяина гостиницы, уехал за море, поступил на прусскую службу и был со временем расстрелян как дезертир.



Я не стыжусь сознаться, что после обеда, взяв на хозяйской конюшне крепкую лошадку, потрусил на ночь глядя за двадцать миль — навестить родное пепелище. При виде нашего старого дома сердце мое забилось сильнее. Над дверью Барривилля красовались ступка и пестик, а на вывеске стояло: "Товары Эскулапа" и рядом: "Доктор Макшейн". Какой-то рыжеволосый малый готовил пластырь на столе в нашей бывшей гостиной, небольшое окошко в моей старой комнате, когда-то сверкавшее чистотой, являло тут и там трещины и щели, заткнутые тряпками, с нарядных когда-то клумб исчезли цветы, за которыми так усердно ходила моя порядливая матушка.

На погосте я нашел два новых имени на камне, осеняющем фамильный склеп моего кузена, к которому я был более чем равнодушен, и дядюшки, которого горячо любил. Я попросил старого приятеля-кузнеца, частенько меня тузившего в былые годы, покормить мою лошадь и подсыпать ей соломы; теперь это был усталый, изможденный человек, отец дюжины ребятишек, которые носились по кузнице; нарядный джентльмен, стоявший перед ним, казалось, не будил в нем никаких воспоминаний. Я и не пытался тревожить его память до следующего дня, когда, сунув ему десять гиней, попросил выпить за здоровье Редмонда-англичанина.

Что до замка Брейди, то ворота, ведущие в парк, еще сохранились; но старые деревья вдоль аллеи были вырублены, и черные пни, торчавшие там и сям, отбрасывали при свете луны длинные тени, когда я проходил по старой дороге, густо поросшей травой. Здесь паслось несколько коров. Садовая калитка исчезла, и обнажившийся проход зарос густой чащей чертополоха. Я уселся на старой скамье, где сидел в тот день, когда был обманут Норой, и, кажется, чувства, охватившие взрослого, нисколько не уступали тем, что одиннадцать лет назад волновали рыдавшего здесь мальчика; я чуть ли не вновь готов был зарыдать при мысли, что Нора Брейди меня покинула. Как видно, человек ничего не забывает. Со мной не раз бывало, что цветок или ничем не замечательное слово будили в моей душе воспоминания, спавшие годами; а когда я вошел в дом на Кларджес-стрит, где родился (в первый мой приезд в Лондон здесь помещался игорный дом), во мне всколыхнулись воспоминания детства, вернее, младенчества: мне вспомнился отец в чем-то зеленом и золотом; подняв меня на руки, он показывал мне в окно золоченую карету, стоявшую у дверей, и матушку в цветастой робе, с мушками на лице. Неужто наступит день, когда все, что мы видели, и думали, и делали в жизни, снова молнией пронесется у нас в мозгу? Лучше б этого не было!.. Такие мысли владели мной, когда, сидя на скамье в замке Брейди, я отдавался воспоминаниям о

былом.

Дверь в сени стояла настежь — так уж повелось в этом доме, сколько я его ни помню; в узких старинных окнах сияла полная луна, вычерчивая на полу причудливые шашки; звезды глядели в зияющий синевой проем окошка над парадной лестницей; отсюда можно было видеть часы над конюшней, на них и сейчас отсвечивали цифры. Когда-то в этих стойлах стояли резвые лошадки, я видел дядюшкино честное лицо, слышал, как он успокаивает собак, которые, визжа и заливаясь лаем, наскакивают на него, возбужденные ясным зимним утром. Здесь мы обычно садились на коней, и девицы глядели на нас в то самое окошко, у которого стоял теперь я, глядя на печальное, покинутое, разоренное гнездо. В дальнем закоулке здания бил в дверную щель красноватый свет, оттуда с громким лаем выбежала собака, а за ней, припадая на ногу, вышел человек с охотничьим ружьем.

— Кто там? — раздался из темноты старческий голос.

— Что, не узнаете, Фил Пурсел? Это я, Редмонд Барри!

Еще немного, и старик, пожалуй, выпалил бы в меня, — его ружье было грозно нацелено на окошко, — но я попросил его не спешить и, выбежав из дому, крепко обнял... А впрочем, вздор, не стоит на этом задерживаться! Мы с Филом провели долгую ночь в разговорах о тысяче незначащих вещей, не интересных ни для кого из ныне живущих, ибо кому из ныне живых интересен Барри Линдон!

Приехав в Дублин, я положил на имя старика сотню гиней; на эту ренту он мог прожить остаток своих дней, не нуждаясь.

У Фила Пурсела был добрый приятель, помогавший ему коротать вечера; достав с полки невероятно засаленную и пухлую колоду карт, они засиживались за игрой допоздна: приятель этот был не кто иной, как старый мой камердинер Тим, которого читатель, верно, помнит еще в ливрее моего покойного батюшки. Тогда она болталась на нем как на вешалке, свисала ему на кисти рук и каблуки. С тех пор, хоть Тим и уверял, что чуть не наложил на себя руки после моего отъезда, он умудрился так раздобреть, что ему пришлось бы впору кафтан самого Дэниела Лэмберта или сюртук местного викария, при котором он состоял в должности причетника. Я взял бы его к себе в лакеи, если б не грандиозные размеры, делавшие его непригодным для этой службы у всякого сколько-нибудь уважающего себя джентльмена. Итак, я презентовал ему некоторую толику денег и обещал крестить у него следующего ребенка, одиннадцатого по счету со времени моего отсутствия. Нет в мире страны, где бы работа по увеличению населения велась с таким успехом, как на моем родном острове. Мистер Тим женился на горничной моих кузин, той самой, что в

свое время оказывала мне доброе расположение; я счел своим долгом на другой день навестить бедняжку Молли в ее мазанке, где и увидел эту молодую женщину в неимоверно грязном затрапезе, среди кучи оборвышей мал мала меньше, напомнивших мне ребятишек моего друга-кузнеца.

Тим и Фил Пурсел, которых я так удачно встретил вместе, поведали мне последние новости о моих близких. Матушка была в добром здоровье.

— Вы приехали вовремя, сэръ, — сказал Тим, — чтобы помешать прибавлению в вашем семействе.

— Что ты мелешь, дурачина! — прикрикнул я на него.

— Я хочу сказать, как бы вам бог не послал отчима, — пояснил Тим, ваша матушка, слышно, собирается окрутиться с мистером Джоулсом, проповедником.

Бедняжка Нора, как он мне сообщил, основательно потрудилась для приумножения славного рода Квинов; что до моего кузена Улика, то он проживает в городе Дублине, где ему не слишком повезло, как опасались мои осведомители, ибо он уже промотал те небольшие средства, какие удалось ему спасти после смерти моего доброго дядюшки.

Из этого я заключил, что на шею мне сядет немалое семейство! Чтобы с приятностью закончить столь удачно начатый вечер, мы с Тимом и Филом распили бутылку асквибо, — за добрых одиннадцать лет я не забыл его вкуса, — и, когда солнце уже высоко стояло в небе, расстались с самыми нежными уверениями в дружбе. Я по натуре не спесив, это всегда было моей характерной чертой. У меня ни на волос нет ложной гордости, присущей людям высокого происхождения, и, если не подвернется ничего лучшего, я стану выпивать с деревенским батраком или с простым солдатом так же охотно, как с первым вельможею страны.

Утром я вернулся в деревню и зашел в Барривилль под предлогом, что мне требуется лекарство. В стене еще торчали крюки, на одном из которых висела моя шпага с серебряным эфесом; на подоконнике, где встарь лежал матушкин "Долг человеческий", ныне красовался пузырь для льда. Доктор Макшейн премерзкая, должно быть, личность — уже пронюхал, кто я (мои соотечественники всегда все пронюхают — и то, что есть, и чего на свете не было); посмеиваясь, он осведомился, в каком здоровье я оставил прусского короля, и так же ли популярен в народе мой друг, император Иосиф, как когда-то императрица Ма-рия-Терезия. В храме по случаю моего прибытия ударили бы в колокола, но единственный звонарь, Тим, был толстоват для этой работы; и пришлось мне уехать, прежде чем новый священник, доктор Болтер, сменивший на этом посту мистера Текстера, коему в мое время был вверен приход, собрался меня приветствовать, и

только бездельники да прощелыги в этой нищей деревеньке вышли чумазой ротой поглазеть, как я уезжаю, и прокричать: "Ура, мистеру Редмонду!" — когда моя карета тронулась в путь.

В Карлоу люди мои уже тревожились, а хозяин гостиницы выражал опасение, как бы я не попал в лапы разбойникам.

И здесь имя мое и положение в свете стали уже известны стараниями лакея Фрица, который превозносил меня до небес и украсил мою биографию щедрыми добавлениями от себя. Он утверждал, будто я хорош с доброй половиной европейских монархов и у большинства из них состою первым фаворитом. Надо заметить, что я сделал наследственным дарованный дядюшке орден Шпоры и путешествовал под именем шевалье Барри, камергера его высочества герцога Гогенцоллерн-Зигмарингенского.

Мне дали лучших лошадей, какие нашлись в конюшне гостиницы, чтобы они доставили меня в Дублин, а также самых крепких веревок вместо упряжи, и мы благополучно продолжали свой путь, — пистолеты, которыми снабдили нас с Фрицем в дорогу, так и не вошли в соприкосновение с разбойниками. Заночевали мы в Килкуллене, и на следующий день я въехал в Дублин в парадной карете четверней, обладая капиталом в пять тысяч гиней и одной из самых блестящих репутаций в Европе, — это я, одиннадцать лет назад покинувший этот город без единого пенни за душой.

Дублинские обыватели одержимы таким же неукротимым и похвальным стремлением знать, что творится в доме у соседа, как и деревенские жители. И ни один джентльмен, будь он даже самых скромных привычек и требований (а к таким, как известно, всегда принадлежал я), не может приехать в эту столицу без того, чтобы имя его не напечатали во всех газетах и не упоминали во всех гостиных.

Через день после моего прибытия мое имя и титулы знал уже весь город. Немало учтивых джентльменов почтили меня своим посещением, едва я нашел себе квартиру, а это оказалось делом неотложным — здешние гостиницы просто жалкие вертепы, куда не решится заехать ни один человек моего образа жизни и общественного положения. Мне говорили это еще на континенте люди, исколесившие Европу, и я решил прежде всего обзавестись своим домом. Я приказал моим возницам шагом объезжать улицу за улицей, покуда не найдется для меня порядочное жилье, подобающее особе моего ранга. Эти разъезды, а также нелепые расспросы и поведение немца Фрица, коему было поручено наводить справки тут и там, пока не будет найдено удобное помещение, собрали вокруг нас кучу зевак, — можно было подумать, что едет фельдмаршал,

такая за нами валила толпа.

В конце концов я все же приглядел себе вполне пристойную анфиладу комнат на Кэпел-стрит и, щедро наградив оборвышей-форейторов, доставивших меня в Дублин, расположился на новой квартире со всем своим багажом и Фрицем. Не теряя времени, поручил я хозяину подыскать для меня второго слугу, который носил бы мою ливрею, а также двух рослых, видных собой носильщиков с собственным портшезом и кучера, располагающего хорошими лошадьми для моего экипажа, а также добрыми верховыми лошадками на продажу. Я дал хозяину изрядный задаток, — все эти меры послужили мне наилучшей рекламой.

На другой день в моей приемной, как на утреннем выходе у знатного вельможи, столпилось множество народу: грумы, лакеи и дворецкие навязывали мне наперебой свои услуги, а предложений по покупке лошадей, как от барышников, так и от людей светских, хватило бы ремонтёру для целого полка. Сэр Лолер-Голер предложил мне самую элегантную гнедую кобылу, какую когда-либо видели под солнцем; у милорда Дандудла имелась упряжная четверка, которая не посрамила бы даже моего друга-императора; а маркиз Бэллирегет передал мне через своего лакея, что, если я загляну в его конюшни или сделаю ему честь предварительно с ним позавтракать, он покажет мне пару лошадок серой масти, каких еще не видела Европа. Я решил воспользоваться приглашениями Дандудла и Бэллирегета, но лошадей предпочел купить у барышников, — это во всех смыслах выгоднее. К тому же в Ирландии в те времена, если джентльмен ручался за лошадь, а она оказывалась с изъяном или возникало другое недоразумение, — единственное, что вам оставалось во утешение, это добрый заряд свинца в жилетку. Но я относился к этой игре слишком серьезно, чтобы ее профанировать; и могу с гордостью сказать, что никогда не участвовал в поединке без действительной, ясной и разумной причины.

И смех и грех — до чего наивны эти ирландские дворяне! Вы услышите от них куда больше врак, чем от их соседей по ту сторону Ла-Манша, но зато они и на удивление легковёрны; за неделю жизни в Дублине я составил себе такое имя, какое дай бог составить в Лондоне лет за десять, да там еще вам потребовалась бы куча денет. Я будто бы приобрел за игорным столом состояние в пятьсот тысяч фунтов; я — временщик русской императрицы Екатерины, и я же доверенный агент Фридриха Прусского; это я выиграл битву при Гохкирхене; я кузен мадам Дюбарри, фаворитки короля Французского, и проч. и проч. Сказать по правде, я сам внушил моим добрым друзьям Бэллирегету и Голеру

большую часть этих фантазий, а уж они делали из моих намеков обширные и далеко идущие выводы.

На меня, познавшего все блага европейской цивилизации, жизнь в Дублине 1771 года, когда я воротился в этот город, произвела самое безотрадное впечатление. Здешние нравы напомнили мне разве что полудикую Варшаву, но только без царственной пышности этой столицы. А такую неприглядную толпу в рваных лохмотьях я встречал разве что в цыганских таборах на берегах Дуная. Как я уже говорил, в городе не было ни одной порядочной гостиницы, куда бы мог заехать благородный джентльмен. Те злополучные горожане, коим не по средствам было держать лошадей, случись им вечером замешкаться в городе, подвергались опасности напороться на нож, ибо на улицах караулили пропащие женщины и хулиганы — это племя оборванцев-дикарей, еще не знающее употребления бритвы и обуви; а когда джентльмен садился в свой портшез или экипаж, чтобы проследовать на светский раут или в театр, факелы его лакеев выхватывали из темноты такие страшные гримасничающие образины, что у непривычного человека со слабыми нервами кровь застывала в жилах. По счастью, у меня были крепкие нервы, к тому же я не впервые встречался с моими милыми соотечественниками.

Я уверен, что мое описание придется не по вкусу кое-кому из ирландских патриотов, которые не допускают, чтобы нагота их родины была выставлена на поругание, и гневаются на каждое нелицеприятное слово правды. Пустое! Ведь я говорю о старом Дублине, когда он был еще жалкой провинцией; иная третьестепенная германская столица показалась бы по сравнению с ним порядочным городишком. Правда, в нем и тогда уже проживало триста пэров; имелась у него и своя палата общин, и свой лорд-мэр с олдерменами; и шумливый, буйный университет с головорезами-студентами, которые учиняли по ночам дебоши, не гнушались знакомства с каталажкой, воевали с зловредными наборщиками и ремесленниками, совершая над ними обряд крещения, и задавали тон в театре на Кроу-стрит. Но я слишком долго вращался в лучшем обществе Европы, чтобы якшаться с этими шумливыми дворянчиками, и был слишком светский джентльмен, чтобы вникать в дрызги и интриги лорд-мэра и его олдерменов. В палате общин имелся с десяток приятных людей. Мне и в английском парламенте не приходилось слышать более удачных выступлений, нежели речи Флуда, Дейли и Голвея; Дик Шеридан, хоть он и не мог похвалиться тонким воспитанием, был все же на редкость забавный и веселый сотрапезник, я, пожалуй, не встречал лучшего; и хотя во время бесконечных речей Эдмунда Берка я преспокойно засыпал, приходилось

мне слышать от людей сведущих, что Берк — человек незаурядных способностей и что в свои более удачные минуты он становится даже красноречив.

Вскоре я уже развлекался как мог и не упускал ни одной возможности повеселиться, какие только доступны приезжему в этом гиблом месте и позволительны джентльмену; посещал Ранела и ридотто, не говоря уже о вечерах у лорд-мэра где на вкус человека с изысканными привычками слишком много пили и мало играли. Вскоре я стал завсегдатаем "Кофейни Дейли" и гостиных местной знати и с великим удивлением заметил в высших кругах города те же явления, которые поразили меня в его низших кругах еще во время первого злополучного посещения Дублина — а именно, повсеместно наблюдающуюся нехватку денег и несообразное обилие долговых обязательств и векселей, ходивших по рукам, мне отнюдь не хотелось ставить против них мои гиней. Женщины и здесь увлекались игрой, но упорно не платили карточных долгов. Когда старая графиня Трампингтон проиграла мне в "кадриль" десять гиней и предложила вместо денег собственноручно подписанный чек на ее агента в Голвее, я с изысканной галантностью поднес эту записку к свече. Зато, когда та же графиня снова пожелала со мной играть, я сказал, что готов к услугам ее светлости, как только придут ожидаемые ею деньги; до тех пор покорнейше прошу меня извинить. И этому правилу я следовал все время моего пребывания в Дублине, поддерживая вместе с тем свою репутацию игрока и забияки. Я говорил всем у Дейли, что готов играть в любую игру — с кем угодно и на что угодно, драться на рапирах, скакать верхом (при условии равного веса), стрелять влет или по мишени — в последнем виде спорта ирландцы той поры не знали себе равных, особенно если мишень была живая.

Разумеется, я не мешкая отправил нарочного в моей ливрее в замок Линдон с письмом к Ранту, прося у него самых подробных сведений относительно здоровья и расположения духа графини Линдон, а также с чувствительным и красноречивым посланием к ее милости (я перевязал его волоском из той самой пряжи, купленной у ее горничной), заклиная вспомнить былые дни и заверяя, что Сильвандр верен своим клятвам и никогда не забудет Калисту. Ответ графини меня не удовлетворил, он звучал уклончиво и неясно, ответ же мистера Ранта, хоть и был достаточно ясен, еще меньше порадовал меня своим существом: оказалось, что милорд Джордж Пойнингс, младший сын маркиза Пойнингса, вызванный в Ирландию, как близкий родственник, по делу о завещании покойного сэра Чарльза Линдона, весьма недвусмысленно ухаживает за его вдовой.

В Ирландии того времени существовал своего рода неписанный закон крутой и короткой расправы, весьма удобной для лиц, жаждущих неотложного правосудия, газетная хроника дает тому немало свидетельств. Неведомые личности, укрывшись за кличками, такими, как капитан Метеор, лейтенант Буйволова Шкура или прапорщик Сталь, забрасывали лендлордов грозными письмами, и если кто-нибудь пренебрегал их требованиями, жестоко с ним расправлялись. В южных графствах свирепствовал знаменитый капитан Гром — он, очевидно, сделал своей специальностью добывать супруг тем джентльменам, кои, по недостатку средств, не имели шансов понравиться папашам своих избранниц или по недостатку времени, предпочитали обойтись без долгих и сложных ухаживаний.

Я нашел своего кузена Улика в Дублине в незавидном положении, — он растолстел и окончательно сел на мель; его преследовали ростовщики и кредиторы, он ютился по углам и выходил только к вечеру, чтобы отправиться в Замок или ближайший трактир сразиться в карты; но это был все тот же славный, бравый малый, и я намекнул ему на мое увлечение леди Линдон.

— Графиня Линдон! — воскликнул бедняга. — Вот уж подлинные чудеса! Я и сам вздыхаю по одной молодой особе из Бэлликхэксских Килджоев с приданым в десять тысяч фунтов, — леди Линдон ее опекунша. Но как может парень, у которого и штанов-то порядочных нет, мечтать о такой невесте? Я мог бы с таким же успехом сделать предложение самой графине.

— Не советую, — оборвал я его, смеясь, — человек, который на это осмелится, раньше умрет! — И я рассказал ему о своих планах касательно леди Линдон. Честный Улик, немало дивившийся моему широкому образу жизни, моим приключениям и связям в аристократических кругах, узнав о моем намерении жениться на самой богатой невесте в Европе, был окончательно сражен подобной смелостью и предприимчивостью.

Я поручил Улику отправиться под каким-нибудь предлогом в окрестности замка Линдон и сдать в ближайшую почтовую контору письмо, которое написал, изменив свой почерк; в этом письме я приказывал лорду Джорджу Пойнингсу немедленно убираться восвояси, предупреждая, что большой приз не для таких, как он, что в Англии вдоволь богатых невест и никто не позволит ему похищать их из владений капитана Метеора. Получив с почтовой оказией безграмотное послание, написанное на грязном клочке бумаги, молодой лорд, будучи человеком не робкого десятка, конечно, лишь посмеялся.



Однако, на свое несчастье, он вскоре объявился в Дублине; за ужином у лорда-наместника был представлен шевалье Редмонду Барри; перекочевал вместе с ним и другими джентльменами в клуб Дейли, и здесь в споре о родословной одной лошади, в коем, по общему признанию, я был прав, вспыхнула ссора, приведшая к дуэли. С самого приезда в Дублин у меня не было еще ни одной встречи, и все любопытствовали, заслуживаю ли я своей громкой славы. Я никогда не хвалюсь заранее, зато уж, когда нужно, не промахнусь; и бедный лорд Джордж, у которого была твердая рука и зоркий глаз, но только выучку он прошел в неповоротливой английской школе, стоял, как овечка, перед острием моей шпаги, покуда я выбирал место для удара.

Моя шпага пробила его кирасу и вышла из спины. Упав, он сердечно протянул мне руку и сказал: "Мистер Барри, я был неправ!" Мне стало не по себе от такого признания, ибо спор затеял я, и с предумышленной целью закончить его поединком.

Рана месяца на четыре уложила его в постель, и та же почта, что доставила леди Линдон сообщение о дуэли, принесла ей послание от капитана Метеора, гласившее: "Это — номер первый".

— Ты, Улик, — сказал я, — станешь номером вторым!

— Хватит и одного! — ответил мой кузен.

Но у меня уже созрел план, как облагодетельствовать этого честного малого и в то же время продвинуть мои собственные планы касательно вдовы.

## Глава XV

### Я ухаживаю за леди Линдон

Дядюшке так и не простили участия в походе Претендента в 1745 году, и поскольку приговор не был с него снят, он не мог вместе с любящим племянником воротиться в страну наших предков; доброго старого джентльмена ждали здесь если не казнь через повешение, то в лучшем случае гадательное прощение после долгой и томительной отсидки. И так как во всех моих житейских затруднениях я привык опираться на его опыт, то и обратился к нему в эту критическую минуту, испрашивая у него совета в вопросе моей женитьбы на вдове. Я сообщил ему про ее сердечные дела, как они описаны в предыдущей главе, рассказал, что она отличает юного Пойнингса и забыла старого поклонника, и в ответ получил письмо, богатое мудрыми указаниями, коими не преминул воспользоваться.

Добрый шевалье в первую очередь поведал мне, что он перешел на квартиру и стол в монастырь миноритов в городе Брюсселе и подумывает о спасении души, собираясь уйти от света и отдаться суровому подвижничеству. Относительно же прелестной вдовы писал: "Если женщина так богата и отнюдь не дурна собой, не удивительно, что около нее толкуются поклонники; а как она и при жизни супруга поощряла твои ухаживания, то отсюда следует, что ты не первый, кому она оказывала столь лестное предпочтение, и, надо думать, не последний.

Кабы не подлый приговор, висящий у меня на шее, — писал он дальше, — и не решение удалиться от мира, погрязшего в грехе и суете, с радостью поспешил бы я к тебе, мой мальчик, дабы помочь в столь щекотливом деле, когда решается твоя судьба, ибо, чтобы довести его до счастливого конца, мало твоего испытанного мужества, нахальства и смелости, в коих среди сверстников ты не знаешь равного (что до "нахальства", оставляю его на дядюшкиной совести, — как известно, я всегда отличался редкой скромностью); но если у тебя и хватает смелости для выполнения задуманного, то нет изобретательности; ты не способен начертать план действий, последовательно и неуклонно ведущий к цели, требующий трудов и времени для претворения в жизнь. Тебе бы и в голову не пришла та блестящая идея насчет графини Иды, которая едва не сделала тебя владельцем величайшего состояния в Европе, если бы не совет и опыт бедного старика, который ныне сводит последние счета с миром, готовясь

проститься с ним навеки.

Что касается графини Линдон, то мне не известно, каким манером ты собираешься ее покорить, и в то же время я лишен возможности изо дня в день, смотря по обстоятельствам, давать тебе разумные советы. Я могу лишь набросать общий план действия. Судя по письмам, какие слала тебе эта глупая женщина в самую горячую пору вашей переписки, оба вы изощрались в выпренних излияниях, и особенно щеголяла этим ее милость; она — синий чулок и обожает всякую писанину; обычной темой ее был несчастный брак (излюбленный припев всех женщин). Помнится она все жаловалась на судьбу, связавшую ее с недостойным.

Я не сомневаюсь, что среди вороха хранящихся у тебя писем найдется немало таких, которые могут ее опорочить. Просмотри их внимательно и выбери те, что подходят для этой цели, да пригрози, что ты это сделаешь. Сперва обращай к ней уверенным тоном возлюбленного, предъявляющего свои неоспоримые права. А не станет отвечать, протестуй, ссылаясь на прошлые обещания, приводи доказательства ее былой склонности, угрожай отчаянием, злодейством, мстью, если она окажется неверна. Испугай ее — ошеломи каким-нибудь дерзким поступком, пусть видит, что ты на все решился. Да что учить ученого! Твоя шпага прославилась на всю Европу, о твоей храбрости рассказывают чудеса, потому-то леди Линдон и удостоила тебя заметить. Пусть о тебе заговорит весь Дублин: удиви их там роскошью, смелостью, безрассудством! Эх, жаль, меня нет с тобой! Я бы сделал тебе репутацию, до какой ты ввек не додумаешься, — у тебя просто не хватит воображения! Но что об этом толковать, разве я не отрешился от мира и его суеты?"

Советы дядюшки, как всегда, заключали в себе бездну здравого смысла, потому-то я и привожу их здесь, опуская пространные описания его молитвенных бдений и покаяний, каковые занимали его теперь превыше всего, а также конец письма, посвященный, как всегда, истовым молитвам о моем обращении в правую веру. Ибо дядюшка неизменно прилежал к своему исповеданию, я же, как человек долга и твердых принципов, держался своего; а если так смотреть, безразлично, что одна религия, что другая.

Следуя этим указаниям, я написал леди Линдон, известил ее о своем приезде и, назвавшись самым преданным ее почитателем, попросил дозволения нарушить ее печальное затворничество. Когда же на письмо мое не отозвались, написал вторично, вопрошая, неужели она презрела бывшее и того, кого дарила своей близостью в некую счастливую пору? Неужто Калиста забыла своего Евгенио? С тем же слугой я послал

маленькую шпагу для лорда Буллингдона, а также записку на имя его гувернера; кстати, у меня хранился вексель почтенного магистра, не припомню уж, на какую сумму, во всяком случае, бедняге не доставило бы удовольствия, если бы я его подал к взысканию. В ответ пришло письмо от секретаря миледи, где значилось, что леди Линдон слишком потрясена недавней тяжелой утратой, чтобы видеть кого-либо, кроме ближайших родственников; в записке же моего друга-гувернера пояснялось, что юный родственник, в чьем обществе госпожа обрела утешение, не кто иной, как милорд Джордж Пойнингс.

Это-то и повело к моей ссоре с молодым джентльменом. В первый же его приезд в Дублин я вызвал его на дуэль.

Когда весть о поединке достигла вдовы в замке Линдон, газета, по словам моего осведомителя, выпала у нее из рук. "Чудовище! — воскликнула она. — Он не остановился бы и перед убийством, с такого станется!" — а маленький лорд Буллингдон, обнажив шпагу, ту самую, что я ему подарил, — этакий щенок! обещал разделаться с негодяем, покусившимся на жизнь кузена Джорджа. Когда же мистер Рант открыл ему, чей это подарок, проказник поклялся, что все равно меня прикончит! Вот зловредный бесенок — как я, бывало, его ни умасливал, он все равно глядел на меня волком.

Ее милость ежедневно слала гонцов справляться о здоровье лорда Джорджа, и в надежде, что, испугавшись за его жизнь, она непременно прискачет в Дублин, я решил схитрить: устроил так, чтобы ей сказали, будто мистер Джордж в тяжелом состоянии; будто ему день ото дня все хуже и будто Редмонд Барри, опасаясь дурных для себя последствий, скрылся неведомо куда. Об этом исчезновении я даже поместил заметку в местном "Меркурии", хотя отбыл всего-навсего в город Брей, где жила матушка и где, на случай грозивших мне неприятностей, я мог рассчитывать на гостеприимство.

Те мои читатели, в ком силен голос сыновнего долга, пожалуй, удивлены, что я еще не описал своей встречи с любезной матушкой, которая столь многим для меня жертвовала в моей ранней юности и к которой, как преданный и любящий сын, я должен был чувствовать искреннее и нерушимое уважение.

Но у джентльмена, возвращающегося в высших кругах, существуют многообразные светские обязанности, перед коими должны отступить на второй план личные чувства и привязанности; а потому, вскоре после моего приезда, я уведомил миссис Барри о моем возвращении, выразил ей свою сыновнюю любовь и преданность и обещал лично их засвидетельствовать,

как только мне позволят мои дублинские дела.

Нечего и говорить, что дел этих было немало. Мне предстояло купить лошадей, устроиться в новой квартире и начать светскую жизнь. Едва стало известно, что я покупаю лошадей и собираюсь жить на широкую ногу, ко мне хлынул такой поток посетителей, как знатных, так и незнатных, и посыпалось столько приглашений к обеду и ужину, что все ближайшие дни я и думать не мог о поездке к миссис Барри, хоть и рвался к ней всей душой.

А между тем, узнав о моем прибытии, добрая душа решила устроить пир и позвала своих скромных брейских знакомых; к сожалению, в назначенный день мне пришлось поехать к лорду Бэллирегету (по приглашению, полученному значительно позднее), и я вынужден был нарушить свое обещание быть у миссис Барри на ее скромном празднестве.

Чтобы подсластить обиду, я послал ей атласный сак и бархатную робу, купленные в лучших дублинских модных лавках (матушке я, конечно, написал, что привез их для нее из Парижа), но нарочный, который доставил эти свертки в Брей, тут же вернулся с моими дарами, с разорванным чуть ли не до пояса атласным сакom. Я понял и без объяснений, что моя добрая родительница чем-то недовольна; и в самом деле, по словам моего посланца, она, выйдя за порог, задала ему жестокую трепку и, уж, верно, не постеснялась бы оттаскать за уши, если б ее не удержал какой-то господин в черном сюртуке, — судя по описанию, не кто иной, как мистер Джоуле, ее клерикальный друг.

Прием, оказанный моим подаркам, внушил мне скорее страх, чем радость в предвкушении близкого свидания и еще на несколько дней отдалил мой приезд. Я отправил миссис Барри смиренное и подобострастное послание, но не получил ответа, хотя не преминул описать, как по дороге сюда я посетил Барривилль и другие заветные места, взлелеявшие мою юность.

Признаюсь без ложного стыда, миссис Барри единственное человеческое существо, внушающее мне страх и трепет. Я помнил ее бешеные вспышки гнева в бытность мою ребенком и еще более бурные и тягостные сцены наших примирений и, чем отправляться самому, не нашел ничего лучшего, как послать к ней моего фактотума Улика Брейди. По рассказам кузена, он был удостоен такой встречи, что не отважился бы поехать вдругорядь даже за двадцать гиней; его выгнали из дому со строгим наказом сообщить мне, что мать отреклась от меня на веки вечные. Родительское проклятие произвело на меня сильное впечатление, — я всегда был почтительнейшим сыном, — и я решил поехать к ней возможно

скорее и грудью встретить неизбежные сцены и упреки в чаянии последующего примирения.

Как-то я принимал у себя цвет местной знати. Провожая по лестнице моего приятеля-маркиза и светя ему восковыми свечами, я увидел на приступке женскую фигуру, закутанную в широкий серый плащ. Я подумал, что это нищая, и подал ей монету, а затем, простившись с гостями, поторопился захлопнуть дверь. Уходя, я видел, что мои подгулявшие приятели окружили незнакомку и стали над ней подшучивать. Потом я с горечью и стыдом узнал, что незнакомка в капюшоне была не кто иная, как моя мать. Из гордости она поклялась, что никогда не переступит моего порога, но материнское сердце не камень: не в силах бороться с желанием увидеть сына после стольких лет разлуки, она закуталась в плащ, делавший ее неузнаваемой, и стала у моего подъезда. Теперь, наученный горьким опытом, я знаю, что мать — единственная женщина, которая никогда не обманет мужчину, единственная, чья любовь выдержит любое испытание. Представьте себе, какие часы провела добрая душа, стоя одна под открытым небом и прислушиваясь к веселому гомону, долетавшему из моих окон, к звону стаканов, взрывам смеха, нестройному пению и громкому "ура".

Когда после стычки с лордом Джорджем мне пришлось на время скрыться, я подумал, что вот прекрасный случай помириться с моей доброй матушкой; зная, что я в беде, она не откажет мне в убежище. Предупредив ее с нарочным, что у меня была дуэль, что мне грозят неприятности и необходимо на время скрыться, я спустя полчаса отправился следом и на сей раз не мог пожаловаться на прием. Босоногая девка, состоявшая в услужении у миссис Барри, проводила меня в пустую комнату, и вот дверь распахнулась, и матушка бросилась ко мне на шею с такими восторженными воплями и неудержимым ликованием, что этой сцены не описать словами, и только женщина, которая после двенадцатилетней разлуки держит в объятиях свое единственное дитя, в силах себе это представить.

Единственный человек, для которого наша дверь не была закрыта во время моего посещения, был его преподобие мистер Джоулс, матушкин духовный наставник; впрочем, сей джентльмен и не потерпел бы отказа. Придя, он первым делом смешал себе ромового пуншу, который, видимо, привык вкушать за счет моей доброй матушки, после чего громко крякнул и приступил к душевспасительной беседе на тему о моей греховной жизни, а особливо, о последнем ужасном деянии.

— Что вы заладили "грех да грех", — накинулась на него матушка; она

сразу же вспыхнула, едва затронули ее сына. — Все мы грешники — сами же вы, мистер Джоуле, преподали мне эту истину неизреченной мудрости. А как же, по-вашему, должен был поступить бедный мальчик?

— Я посоветовал бы джентльмену воздерживаться от спиртного и избегать ссор, кои приводят к греховным поединкам, — отвечал священник.

Но матушка пресекла его речи, заявив, что такое поведение пристало его сану и званию, но не представителю рода Брейди и Барри. Она даже радовалась, что я проткнул шпагой сына английского маркиза. И чтобы утешить ее, я рассказал ей о десятке других моих поединков, — кое-какие из них известны читателю.

Хоть я и пустил слух о тяжелом состоянии моего противника, жизнь его была вне опасности, и у меня не было особой надобности прятаться. Но так как матушка этого не знала, она забаррикадировала все окна и двери и выставила бессменный караул в лице босоногой девки Бетти, наказав ей при первом же появлении констеблей бить тревогу.

Я ожидал только моего кузена Улика, который должен был привезти мне желанную весть о прибытии леди Линдон; и, признаюсь, немало обрадовался, после двухдневного строгого заключения в Брее, за время которого я порассказал матушке все мои многообразные похождения и уговорил ее принять отвергнутые платья вместе со значительной прибавкой к ее более чем скромному пенсиону, которую я был счастлив ей предоставить, — признаюсь, я немало обрадовался, увидев отступника Улика Брейди, как назвала его матушка, подкатившего к крыльцу в моей карете; он привез нам приятные новости: матушке о том, что для молодого лорда миновала опасность, а мне, что графиня Линдон прибыла в Дублин.

Как жаль, что опасность так скоро миновала, — посетовала матушка сквозь слезы, — не будь этого, ты бы еще погостил у старухи матери.

Но я крепкими поцелуями осушил ее слезы и обещал часто навещать, а также намекнул, что у меня, возможно, скоро будет свой дом, где ее с радостью встретит благородная невестка.

— Кто же она, Редмонд, голубчик? — спросила старая леди.

— Одна из самых знатных и богатых дам в стране. Не какая-то Брейди, сказал я, смеясь, и, таким образом обнадежив старушку, привел ее в наилучшее расположение духа.

Нет человека добрее и незлобивее, чем я. Стоит мне достигнуть своей цели, и я делаюсь самым кротким существом на свете. После дуэли я еще с недельку болтался в Дублине, прежде чем счел нужным на время покинуть эту столицу. За этот срок между мной и моим противником состоялось

полное примирение; я счел своим долгом заехать к нему на квартиру и вскоре стал его наперсником. У него был лакей, с которым я завязал самые лучшие отношения, да и людям своим велел оказывать ему всемерное внимание: мне, естественно, хотелось узнать поближе, каковы у милорда Джорджа отношения с госпожой замка Линдон, имеются ли еще претенденты на руку вдовы и как она восприняла известие о ранении.

Впрочем, юный джентльмен и сам сообщил мне немало интересного.

— Скажите, шевалье, — обратился он ко мне однажды во время моего утреннего посещения, — вы, похоже, старый знакомый моей родственницы графини Линдон. Она в последнем письме ругательски вас ругает, целая страница посвящена вам. Но всего забавнее, что раньше она это знакомство отрицала. Как-то в замке Линдон разговор зашел о вас и ваших выездах, которым дивится весь Дублин, — и прекрасная вдовушка клялась, что она даже имени вашего не слыхала. "А помнишь, мамочка, — возразил ей маленький Буллингдон, — к нам ходил в Сна такой высокий брюнет, еще у него глаза с косинкой, он спаивал мистера Ранта и подарил мне шпагу, — мистер Барри, кажется". Но миледи услала мальчика из комнаты и продолжала уверять, что никогда вас не встречала.

— Так вы, значит, сродни миледи Линдон и близко с ней знакомы? спросил я с удивлением, приняв серьезный и задумчивый вид.

— В том-то и дело, — отвечал юный джентльмен. — Я как раз приехал из замка Линдон, когда так неудачно напоролся на вашу шпагу. А главное, в самый неподходящий момент.

— Чем же этот момент хуже другого?

— Видите ли, шевалье, насколько я понимаю, вдова ко мне благоволит, и только от меня зависит сделать наши отношения еще более близкими. Правда, она значительно меня старше, но в Англии нет сейчас лучшей партии.

— Милорд Джордж, — сказал я. — Не сочтите за дерзость, если я обращусь к вам с откровенной, хоть и несколько странной просьбой: вы не покажете мне письма миледи?

— Что за странная просьба? — воскликнул он с возмущением.

— Не сердитесь! Ну, а если я предъявлю вам письма леди Линдон, вы покажете мне, что она вам пишет?

— Черт побери, что это значит, мистер Барри?

— Это значит, что когда-то я страстно любил леди Линдон. Это значит, что и она — как бы это сказать — отличала меня перед другими. Это значит, что я и сейчас люблю ее безумно и либо сам умру, либо убью человека, который станет у меня на дороге.



— Вы собираетесь жениться на самой богатой, самой родовитой невесте в Англии? — надменно удивился лорд Джордж.

— Во всей Европе нет человека, чья кровь благороднее моей, — возразил я. — Но это не значит, что я питаю какие-то надежды. Я знаю только, что, сколь я ни беден, было время, когда эта богачка не гнушалась моей бедностью, и что каждый, кто вознамерится на ней жениться, должен будет перешагнуть через мой труп. Счастье ваше, — добавил я угрюмо, — что при нашей встрече я не знал о ваших видах на леди Линдон. Милый мальчик, я уважаю вашу храбрость, и вы мне симпатичны, но в Европе нет шпаги, которая устояла бы перед моей, и вам пришлось бы сейчас покоиться на более узком ложе!

— Какой я вам мальчик! — презрительно фыркнул лорд Джордж. — Вы всего на четыре года старше.

— Я старше вас опытом лет на сорок. Я прошел огонь и воду. Всем, чего я добился в жизни, я обязан самому себе, своей ловкости и отваге. Я участвовал в четырнадцати кровопролитных сражениях, дрался на двадцати трех поединках и только однажды был оцарапан шпагою французского *maitre d'armes* <sup>[53]</sup> и тут же убил его на месте. Семнадцати лет я начал самостоятельную жизнь, без гроша в кармане, а теперь, двадцати семи лет от роду, обладаю капиталом в двадцать тысяч гиней. Так неужто вы думаете, что человек моей отваги и энергии отступит перед чем-нибудь для достижения своей цели? И что, имея на вдову известные права, я не решусь их предъявить?

Пусть я кое в чем приукрасил истину (ибо я приумножил число сражений и поединков, в коих довелось мне участвовать, а также размеры моего состояния), но я видел, что речь моя производит впечатление, и что лорд Джордж внимает ей с величайшей серьезностью. Под этим впечатлением я его и оставил, чтобы дать ему как следует переварить мои слова.

Два-три дня спустя я снова зашел к больному, на сей раз с пачкой писем, которые я в свое время получил от леди Линдон.

— Я покажу вам кое-что, — сказал я, — но только строго между нами: как видите, это локон ее милости, а это ее письма за подписью Калисты, обращенные к Евгению; а вот сонет — "Лишь солнце на небо грядет и меркнет бледный Цинтии лик", посвященный графиней вашему покорнейшему слуге.

— Калиста, Евгению! "Лишь солнце на небо грядет!.." — вскричал молодой лорд. — Уж не сон ли это? Клянусь, милый Барри, эти самые стихи вдова прислала мне! "И бор и дол им шлют привет и звонкий

жаворонка крик".

Я невольно рассмеялся, услышав от него продолжение сонета, посвященного моей Калистой мне. А затем, сличив письма, мы установили, что целые пассажи выпретенного красноречия в них совпадают. Вот что значит быть синим чулком и питать чрезмерное пристрастие к эпистолярному жанру!

Молодой человек с крайним возмущением отодвинул от себя всю пачку.

— Ну и слава богу! — сказал он после некоторой паузы. — Выходит, я счастливо отделался! Подумайте, мистер Барри, эта женщина могла стать моей женой, если б мне не подвернулись ваши письма. Я-то, признаться, думал, что у леди Линдон есть сердце, пусть и не очень доброе, и что ей, по крайней мере, можно верить! Но жениться на ней после этого! Связать свою жизнь с подобной эфесской матроной — это все равно что послать слугу на улицу, чтобы он раздобыл тебе жену.

— Плохо же вы знаете жизнь, милорд Джордж! Вспомните, как несчастлива с мужем была леди Линдон, и не удивляйтесь, что она не питала к нему никаких чувств. Ручаюсь головой, что все ее прегрешения сводились к безобидному флирту, писанию сонетов и раздушенных *billets doux* [\[54\]](#).

— Моя жена, — заявил маленький лорд, — не будет писать сонетов и *billets doux*, и я страшно рад, что вовремя раскусил эту мегеру, в которую на мгновение вообразил себя влюбленным.

Уязвленный юноша либо, как я уже сказал, был слишком незрел и неопытен в житейских делах, — отказаться от сорока тысяч годовых единственно потому, что женщина, к ним принадлежащая, написала несколько сентиментальных писем молодому таланту, мог только совершеннейший ребенок, — либо, как я подозреваю, обрадовался поводу вовремя убраться с дороги, чтобы не встретиться вторично с непобедимой шпагой Редмонда Барри.

Когда опасения за жизнь Пойнингса, а может быть, его упреки вдове в связи с моим признанием, заставили эту слабую, малодушную женщину прискакать в Дублин, о чем известил меня кузен Улик, я расстался с моей доброй матушкой, уже все мне простившей (главным образом ради дуэли), и, вернувшись к себе, узнал, что безутешная Калиста усердно навещает своего раненого пастушка — к великой досаде этого джентльмена, как уверяли меня слуги. Англичанам свойственна эта нелепая щепетильность, этот надменный педантизм в вопросах морали; услышав мой рассказ о поведении своей родственницы, лорд Пойнингс поклялся, что больше знать

ее не хочет.

Сведения эти сообщил мне лакей его милости, с коим, как уже здесь говорилось, я старался поддерживать дружеские отношения; да и привратник лорда по-прежнему пропускал меня, когда бы я ни приходил.

Ее милость, должно быть, тоже не скупилась на чаевые, она также беспрепятственно навещала больного, несмотря на его нежелание ее видеть. Я проследил за ней от ее резиденции до дома, где квартировал лорд Джордж Пойнингс, и видел, как она вышла из портшеза и поднялась наверх. Я рассчитывал тихонько дожждаться ее в прихожей и закатить ей сцену, обвинив в неверности, но все? устроилось даже лучше, чем я предполагал. Поднявшись без доклада, я вошел в первую комнату и оттуда прекрасно слышал все, что происходило в спальне, так как дверь по случайности осталась полуоткрытой и оттуда явственно доносился голос моей Калисты. Рыдая, она взывала к бездушному юноше, простертому на одре болезни:

— Как можете вы, лорд Джордж, сомневаться в моей верности, что дало вам право? Ваши жестокие обвинения разрывают мне сердце! Или вы хотите загнать вашу бедную Калисту в гроб? Что ж, я готова последовать за моим! ушедшим ангелом!

— Он уже три месяца там, — язвительно отозвался лорд Джордж. Удивляюсь, как вы еще живы!

— Не будьте так ужасно, ужасно несправедливы к вашей бедной Калисте, Антонио! — взмолилась вдова.

— Вздор! — отрезал лорд Джордж. — Сегодня рана меня особенно беспокоит. Врачи запретили мне много разговаривать. Вашему Антонио не до вас, графиня! Не можете ли вы утешиться с кем-нибудь другим?

— О, боже! Лорд Джордж! Антонио!

— Обратитесь к Евгению, он вас утешит! — с горечью выкрикнул юноша и потянулся к сонетке. На звонок прибежал слуга из другой комнаты, и милорд приказал ему проводить ее милость вниз.

Леди Линдон в страшном волнении выбежала из спальни. Она была в глубоком трауре, под густой вуалью, и не узнала человека, ожидавшего в прихожей. Пока она сбегала с лестницы, я бесшумно следовал за ней, когда же носильщик открыл перед ней дверцу портшеза, я выступил вперед и, поддержав ее под локоть, усадил на подушки.

— Прелестная вдовушка! — сказал я. — Его милость дал вам разумный совет: утешьтесь с Евгением.

Она так испугалась, что крик застрял у нее в горле, и в ту же минуту носильщик ее умчал. Когда же портшез остановился у ее дома, я, как вы

понимаете, был уже на месте, чтобы ее высадить.

— Чудовище! — воскликнула она. — Оставьте меня сию же минуту!

— Мадам, — возразил я, — не могу же я нарушить свою клятву. Вспомните обет, данный Евгению Калисте.

— Если вы сейчас же не уйдете, я прикажу слугам прогнать вас со двора.

— И это в ту минуту, когда я к вам явился с письмами Калисты, чтобы, возможно, их вернуть? Нельзя угрожать Редмонду Барри, мадам, с ним нужно поладить.

— Чего вы от меня хотите? — спросила вдова, с трудом сохраняя спокойствие.

— Позвольте проводить вас наверх, я все вам объясню.

И она позволила мне взять себя под руку и проводить наверх в гостиную.

Когда мы остались вдвоем, я чистосердечно во всем ей признался.

— Берегитесь, мадам, — сказал я, — как бы ваш гнев не заставил отчаявшегося раба впасть в крайность! Я боготворю вас! Было время, когда вы снисходительно выслушивали мои страстные признания, а теперь гоните меня от своих дверей, не отвечаете на письма и открыто предпочли другого. Но я не потерплю такого оскорбления, вся кровь во мне кипит от негодования! Вы видели, какую кару ваш избранник понес от моей руки; трепещите же, как бы несчастного не постигла еще худшая участь; стоит ему на вас жениться, мадам, и он умрет.

— Кто дал вам право диктовать свою волю графине Линдон? — вскричала вдова. — Я не приемлю ваших угроз и не хочу их слышать. Между мной и каким-то ирландским искателем приключений не было ничего такого, что дало бы повод к дерзкому вымогательству.

— Не считая вот этого, — сказал я, показывая ей пачку писем. — Не считая посланий Калисты к Евгению! Пусть они невинны — разве свет этому поверит? Быть может, вы лишь играли сердцем бедного простодушного ирландского дворянина, который вас боготворил и был вам слепо предан. Но кто поверит, что вы безгрешны, перед этим неопровержимым свидетельством вашей собственной руки? Кто поверит, что эти письма продиктованы распутным кокетством, а не истинным чувством?

— Негодяй! — воскликнула леди Линдон. — И вы решитесь придать пустым письмам столь превратное толкование?

— Я истолкую их так, как мне нужно, — возразил я. — Истинная страсть не рассуждает. Я поклялся, что вы будете моей, и я этого добьюсь!

Бывало ли, чтоб я не достигал задуманного? Выбирайте, чего вы от меня хотите — любви, какая не выпадала ни одной женщине, или ненависти, равной которой нет на свете?

— Дама моего круга и положения, сэр, ограждена от козней жалкого авантюриста, — отвечала леди, надменно выпрямляясь.

— вспомните вашего Пойнингса, разве его положение в свете ниже вашего? А ведь рана, которую я ему нанесу на вашей совести, мадам! И если бы у меня, орудия вашей жестокости, сердце не дрогнуло жалостью, вы стали бы виновницей его смерти, да, смерти! Разве неверная жена не готовит супругу оружия, чтобы покарать соблазнителя? А я смотрю на вас, Гонория Линдон, как на мою жену.

— Супруг! Жена! Опомнитесь, сэр! — воскликнула вдова вне себя от изумления.

— Да, жена, супруг! Я не жалкий клоун в руках бездушной кокетки, которая, наскучив игрушкой, тут же ее бросает. Вы рады забыть, что произошло между нами в Спа; Калиста рада забыть своего Евгенио, но он вам этого не позволит. Вы хотели поиграть моим сердцем, не правду ли, Гонория? Но, раз проснувшись, оно уже не успокоится. Я люблю вас, люблю так же страстно, как в ту пору, когда моя любовь еще не знала надежды, но теперь желанная цель в виду, судите же сами, могу ли я от вас отказаться? О жестокая, жестокая, Калиста! Вы не знаете всей силы ваших чар, если мните, что их так легко рассеять; вы не знаете, какое постоянство живет в этом благородном и чистом сердце! Раз полюбив, оно отдает себя навеки. Клянусь вашей жестокостью, я сумею ее наказать; клянусь вашей чудной красотой, я ее завоюю, и в моем лице она встретит достойного завоевателя. Прекрасная, очаровательная, вероломная, жестокая женщина! Клянусь, вы будете моей! Ваше богатство велико, но разве я, при щедрости моей натуры, не сумею достойно им распорядиться? Вы занимаете высокое положение в свете, но разве мое честолюбие сколько-нибудь ему уступает? Вы однажды ошиблись, отдав себя холодному, бездушному распутнику. Отдайте же себя мужчине, Гонория, мужчине, который, как ни блестяще ваше положение в свете, сумеет его украсить и возвысить!

Изливая на ошеломленную вдову эти каскады красноречия, я стоял перед ней, подавляя ее своим ростом, своим магнетическим взглядом. Я видел, как она краснеет и бледнеет — от страха и удивления, — видел, как мои дифирамбы ее чарам и страстные признания неотразимо проникают ей в душу, и наблюдал с холодным торжеством, как растет моя власть над ней. Между нами говоря, страх неплохая закваска для любви. Если мужчина положил свою волю на то, чтобы завладеть сердцем взбалмошной,

слабодушной женщины, дайте ему удобный случай, и дело в шляпе!

— Ужасный человек! — воскликнула леди Линдон, в страхе отступая от меня — и очень кстати: я исчерпал свой запас красноречия и только собирался с силами для нового монолога. — Ужасный человек, оставьте меня!

Я понял, что произвел впечатление. "Если завтра мне не откажут от дома, значит, она моя", — сказал я себе.

Сойдя вниз, я сунул десять гиней привратнику, который был крайне удивлен таким подарком.

— За лишнее беспокойство, — пояснил я. — Вам придется теперь частенько открывать мне дверь.

## Глава XVI

# Я отечески забочусь о родных и достигаю высшей точки своего (мнимого) благополучия

Уже следующий день показал, сколь основательны были мои опасения: когда я позвонил у подъезда, мне объявили, что миледи дома нет. Я знал, что это ложь, так как все утро наблюдал за ее дверью из окон противоположного здания, где заблаговременно снял квартиру.

— Ваша госпожа никуда не выезжала, — сказал я. — Но раз меня не ведено принимать, я не стану врываться силой. Скажите, вы англичанин?

— На этот счет не извольте сумлеваться, — объявил привратник с видом величайшего превосходства. — Ваша честь можете судить по моему эксценту.

Я знал, что он англичанин и что, следовательно, его можно купить. Слуга-ирландец — пусть он ходит в тряпье и никогда не видит своего жалованья — швырнул бы вам деньги в лицо.

— В таком случае у меня есть к вам предложение, — сказал я. — Письма леди Линдон проходят через ваши руки, не правда ли? Плачу по кроне за каждое письмо, которое вы мне покажете. Вам, конечно, известен кабачок на соседней улице; когда зайдете туда подкрепиться, спросите мистера Дермота — это я.

— Я помню вашу честь еще по Спа, — заявил этот субъект, широко ухмыляясь. — Объявляю семь в пиках, хе-хе!

Несказанно обрадованный этим напоминанием, я поспешил расстаться со своим младшим братом.

Я не сторонник перлюстрации писем в частной жизни — за исключением особых, экстренных случаев, вызванных крайней необходимостью, когда мы, по примеру высших властей, величайших государственных деятелей Европы, во имя общего блага позволяем себе отступать от некоторых привычных формальностей. Письмам леди Линдон ничего не делалось от того, что я их вскрывал, наоборот, они выигрывали в своем значении, ибо те сведения которые я извлекал из ее многообразных посланий, расширяли мое представление о ее характере и вооружали меня властью, коей я потом успешно пользовался. Благодаря этим письмам и

моему приятелю-англичанину, которого я угощал превосходными напитками и баловал денежными подарками, еще более ему приятными (для этих свиданий я также надевал ливрею и к ней рыжий парик, делавший элегантно Барри Линдона неузнаваемым), я так вошел в курс всех дел вдовы, что уже этим приводил ее в трепет. Я заранее знал, какие общественные места она посетит (их было не так уж много, по причине траура), и где бы она ни появлялась — в церкви или в парке, — я всегда был тут как тут, чтобы поднять ей упавший молитвенник или сопровождать верхом ее карету.

Некоторые письма миледи представляли собой поистине фантастический образец безудержного самохвальства, такое любование собой — редкость даже среди синих чулков. Она заводила без счета подруг и бросала их с такой же легкостью, с какой иная щеголиха меняет перчатки. Вскоре в ее письмах к этим возлюбленным наперсницам замелькали упоминания о моей недостойной особе, из коих я, к величайшей своей радости, убеждался, что внушаю ей чуть ли не суеверный страх, она величала меня своим *bete noire* <sup>[55]</sup>, своим злым гением, своим кровожадным почитателем и другими лестными прозвищами, выдававшими ее страх и беспокойство. Так она писала: "Негодяй увязался за моей каретой и следовал за мной по всему парку"; или: "Мой рок не отходил от меня в церкви"; или: "Мой неугомонный дыхатель помог мне высадиться из портшеза у дверей модной лавки", — и т. д. и т. п. Я всячески нагнетал в ней это чувство неотвязного страха, уверенность, что спастись от меня невозможно.

С этой целью я подкупил гадалщика, к которому она, наравне со многими виднейшими и глупейшими обитателями Дублина, обратилась за советом, и оный ведун, узнав в ней высокопоставленную особу, хоть она и явилась к нему в платье своей горничной, не преминул ей внушить, что она выйдет замуж за усердного своего почитателя Редмонда Барри, эсквайра. Это предсказание повергло ее в трепет. В испуге и недоумении писала она своим корреспонденткам: "Ужель этот изверг властен и над судьбой, как он клянется? Ужель он в силах заставить меня за него выйти, хоть я презираю его всем сердцем, — повергнуть, как рабу, к своим стопам? Змеиный взгляд его черных глаз чарует меня и ужасает: мне чудится, что он преследует меня повсюду, и даже, когда я смыкаю глаза, этот страшный взгляд проникает сквозь веки мне в душу, и я чувствую — от него не уйти".

Уж если женщина так рассуждает о мужчине, надо быть ослом, чтоб ее не добиться; я тенью следовал за миледи Линдон и при встрече с нею в обществе, став насупротив, принимал картинные позы, "чаруя" ее, по



выражению миледи, своим "змеиным взглядом" со всем возможным усердием. Отставной поклонник миледи, лорд Джордж Пойнингс, по-прежнему сидел в затворе, залечивая свои раны, и, видимо, несколько не притязал на бывшую свою нареченную. Он не допускал ее до себя, когда она к нему являлась, и не отвечал на ее письма под предлогом, что врач запретил ему принимать посетителей и писать письма. А по мере того как он отходил назад, я все больше и больше выступал на авансцену; при этом я зорко следил за появлением возможных соперников с малейшими шансами на успех и, едва услышав о таковом, заводил с ним ссору; таким образом, я вывел из строя еще двух противников, помимо лорда Джорджа. Щадя репутацию и чувства леди Линдон, я придумывал для поединка благовидный предлог, скрывая истинную причину, но она-то угадывала подоплеку моих поступков; а вскоре и дублинские повесы, сообразив, что дважды два четыре, уразумели, что богатую наследницу стережет опасный дракон и, прежде чем до нее добраться, надо сразить дракона. После первой помянутой троицы, поверьте, немного находилось охотников ухаживать за высокородной дамой; и я частенько смеялся (в кулак), когда дублинские щеголи, провожавшие верхами ее карету, при виде моей гнедой кобылы и моих зеленых ливрей, обращались в беспорядочное бегство.

Мечтая поразить ее воображение каким-нибудь необычным поступком, внушающим благоговейный трепет, я решил устроить счастье своего кузена, честного Улика, похитив для него очаровательный предмет его вздохов, девицу Килджой, на глазах у ее опекуниши и приятельницы леди Линдон и под самым носом у братьев молодой особы. Последние проводили зиму в Дублине и повсюду хвалились десятитысячным (в ирландских фунтах!) приданым сестры — словно это капитал по меньшей мере в сотню тысяч. Сама девица, в сущности, не возражала бы против мистера Брейди — из чего можно заключить, как слабодушны иные мужчины и что только гений высшего порядка может с маху взять препятствие, которое человеку заурядному кажется неодолимым: Улику и в голову не приходило ее похитить, тогда как я с обычной смелостью и решительностью совершил этот подвиг. Мисс Килджой до совершеннолетия находилась под опекой лорд-канцлерского суда, но теперь она могла распорядиться своим сердцем как угодно (в противном случае подобный план угрожал бы слишком большими неприятностями), и только природная робость заставляла ее считаться с братьями и другими родичами, точно она от них зависела. А у этих господ на примете был какой-то их дружок, и они с презрением отвергли искательство Улика Брейди, вконец разорившегося дворянина. В глазах этих сельских снобов

мой кузен был недостоин такой сногшибательно богатой невесты, как их сестра.

Скучая одна в своем обширном дублинском доме, графиня Линдон пригласила к себе мисс Амелию на весь сезон. Вспомнила она в приливе материнской нежности и о своем сынишке Буллингдоне и послала за ним и его наставником, чтобы они пожилы с ней в столице и разделили ее одиночество. Но как только семейный рыдван доставил из замка Линдон мальчика, воспитателя и богатую наследницу, я стал искать случая привести мой план в исполнение.

Такая возможность вскоре представилась. Я уже говорил в одной из предыдущих глав, что в Ирландском королевстве хозяйничали в ту пору банды повстанцев, так называемые "Белые ребята", "Желуди", "Стальные сердца"; во главе со своими вожаками они убивали прокторов, сжигали стога, калечили скот, — словом, всячески самоуправствовали. Одну из этих шаек, — а возможно, и не одну, сказать трудно, возглавляла некая таинственная личность, известная под кличкой "Капитан Гром"; специальностью Капитана Грома было, по-видимому, устраивать браки с согласия и без согласия брачующихся сторон и их близких. Со столбцов "Дублинской газеты" и "Меркурия" того времени (1772 год) не сходили воззвания лорда-наместника, в коих за поимку грозного капитана и его шайки объявлялась награда и подробно описывались многообразные подвиги этого свирепого адъютанта самого Гименя. Я решил воспользоваться если не помощью, то, по крайней мере, именем капитана Грома, чтобы завладеть для кузена Улика его дамой сердца и ее приданым. Амелия была не бог весть какая красавица, и он, надо думать, влюбился больше в деньги, чем в их хозяйку.

Леди Линдон, по причине своего вдовства, воздерживалась от посещения балов и раутов, на которые так щедра была в ту пору дублинская знать, тогда как у ее друга мисс Килджой не было оснований для такого затворничества, и она с удовольствием выезжала на все вечера, куда ее приглашали. Я презентовал Улику несколько моих бархатных костюмов и благодаря своим связям добывал ему приглашения на большинство этих празднеств. Ио у бедного малого не было ни моих талантов, ни моего опыта по части придворных манер: перед молодыми девицами он робел, точно пугливый жеребенок, а менуэт танцевал с ловкостью слона. Вращаясь в изысканном обществе, он не делал больших успехов в сердце своей госпожи, нетрудно было заметить, что она отдает предпочтение некоторым другим молодым людям, кои чувствовали себя в бальном зале куда свободнее, чем Улик. Первое благоприятное впечатление

бедняга произвел на богатую наследницу и впервые сам воспылал к ней в доме ее отца, в поместье Балликилджей, ибо ему нередко случалось охотиться и выпивать со старым джентльменом.

— С этим-то я здорово справляюсь, можешь не сомневаться, — говорил мне Улик, вздыхая из глубины души. — Что касается доброй выпивки или, положим, лихой скачки по полям и лугам, тут ни один человек в Ирландии меня не переплюнет.

— Не унывай, Улик, — подбадривал я его, — не будь я Редмонд Барри, если ты не получишь свою Амелию.

Милорд Чарлемонт, один из самых изысканных и образованных ирландских вельмож той поры, великий остро слов и путешественник, исколесивший всю Европу, где я имел честь с ним встречаться, давал грандиозный бал-маскарад в своем замке Марино, в нескольких милях от Дублина по Данбирийской дороге. Этим-то празднеством я и решил воспользоваться, чтобы устроить счастье Улика. Мисс Килджей была приглашена на маскарад вместе с маленьким лордом Буллингдоном, который горел нетерпением увидеть столь занимательное зрелище. Было решено, что он отправится под охраной своего наставника, моего старого приятеля мистера Ранта. Я узнал, в каком экипаже поедет вся компания, и принял свои меры.

Улик Брейди на бал не собирался. Не будучи достаточно богат и знатен, он не мог рассчитывать на приглашение в такой аристократический дом, и я еще за три дня распустил слух, будто он арестован за долги. Никто из знавших Улика этому не удивился.

Я появился на маскараде в достаточно знакомой мне роли рядового прусской королевской гвардии. На мне была причудливая маска — длинный нос и огромные усищи, — к тому же я изъяснялся на немислимом жаргоне — забавном смешении английских и немецких слов с преобладанием последних. Мой ужасный выговор вызывал общий смех, а так как многим история моя была известна, то за мной ходили толпы любопытных.

Мисс Килджей была одета в платье средневековой принцессы, и Буллингдон сопровождал ее в роли пажа. Волосы мальчика были напудрены, на нем был розовый камзол со светло-зелеными рукавами, весь расшитый серебром, сбоку болталась моя шпага; словом, Буллингдон был красив на загляденье и с предезким видом посматривал вокруг. Что же до мистера Ранта, то он скромно расхаживал в черном домино и частенько наведывался в буфет, где проглотил столько холодной дичи и шампанского, что хватило бы на роту гренадеров.

Прибыл и лорд-наместник — и отбыл с великой помпой, — словом, бал удался на славу. Мисс Килджой была нарасхват, я тоже прошелся с ней в менюэте (если поступь ирландской наследницы, ковылявшей, как утка, заслуживает столь пышного названия); и даже воспользовался этим случаем, чтобы в самых трогательных выражениях излить перед ней свои чувства к леди Линдон и попросить младшую подругу заступиться за меня перед старшей.

Было три часа ночи, когда гости из замка Линдон распрощались. Маленький Буллингдон успел уже соснуть в одном из чуланов леди Чарлемонт, где обычно хранилась парадная посуда. Мистер Рант говорил простуженным голосом и заметно покачивался на ходу — какая-нибудь пигалица из нынешних испугалась бы джентльмена в таком состоянии, но это было самым обычным зрелищем в те благословенные времена, когда мужчина, не имевший обыкновения напиваться при всяком удобном случае, считался тряпкой, нюней. Вместе с другими повесами я проводил мисс Килджой до ее кареты и, стоя в толпе оборванцев с факелами, кучеров, нищих побирушек, неизвестного звания мужчин и женщин в разной степени подпития, осаждающих ворота вельможи во время пышных празднеств, дождался, пока карета не отъехала под громкое "ура!" этой черни, после чего вернулся в буфет, где говорил исключительно по-немецки, исполнил несколько немецких песенок, к великому удовольствию трех-четырех засидевшихся там выпивох, и весьма решительно накинудся на вино и закуски.

— Неужели вам не мешает пить ваш длинный нос? — поинтересовался кто-то из гостей.

— Убирайтесь-ка подальше, и пусть вас там повесят! — ответил я с отменным немецким акцентом и снова взялся за бутылку. Все засмеялись, а я продолжал уписывать за обе щеки.

С одним из джентльменов, провожавшим девицу Килджой, я заключил пари, проиграл — и на следующее же утро заехал к нему отдать долг. Читатель, должно быть, недоумекает, зачем я рассказываю все эти подробности, но дело в том, что вместо меня на бал вернулся мой слуга Фриц; он был одного со мной роста и в моем костюме и маске вполне сошел за своего хозяина. Мы обменялись с ним платьем в наемном экипаже, стоявшем позади кареты Линдонов, после чего я поскакал за нею вдогонку.

Обреченная карета, уносившая очаровательный предмет воздыханий Улика Брейди, не успела отъехать далеко, как ее сильно потрянуло на каком-то ухабе и накренило набок; лакей с возгласом "стой!" спрыгнул с запяток и

крикнул кучеру, что колесо слетело, — не ехать же дальше на трех колесах! В ту пору еще не было в заводе всяких гаек, до которых позднее додумались строители Лонг Эйкр. Каким образом чека вывалилась из оси, я объяснить не берусь, не иначе как ее вытащил какой-нибудь бродяга, затесавшийся в толпу у ворот лорда Чарлемонта.

Мисс Квдждой высунула головку в окошко и, по обычаю всех девиц, закричала благим матом; мистер Рант с трудом очнулся от хмельных грез, а маленький Буллингдон вскочил и, обнажив свою шпажонку, воскликнул:

— Не бойтесь, мисс Амелия, если это разбойники, у меня есть оружие! — У негодного мальчишки было сердце льва, что правда, то правда, я готов признать это даже сейчас, после всего, что между нами было.

Тем временем подъехал кеб, следовавший сзади; увидев, что произошло, возница слез с козел и учтиво предложил ее милости пересесть к нему — у него-де такой чистый, удобный экипаж, что самая привередливая леди не побрезгует. Это предложение после минутного колебания было принято пассажирами кареты, тем более что возница обещал доставить их в Дублин "сей минут". Лакей Теди вызвался проводить своего юного господина и молодую леди, но возница, у которого на козлах прикорнул какой-то субъект, видимо, вдрызг пьяный, с усмешкой предложил Теди примоститься сзади. Однако задняя подножка была утыкана гвоздями, должно быть, на страх уличным мальчишкам, которые, как известно, не упустят случая прокатиться на даровщинку, и преданный Теди не решился подвергнуть себя такому испытанию. Сдавшись на уговоры, он остался при пострадавшей карете и принялся вместе с кучером мастерить чеку, для чего выломал кол из соседней изгороди.

Между тем возница гнал во весь опор, а дороге все конца не было видно, и наши путники начали уже беспокоиться. Каково же было удивление мисс Килдждой, когда, высунувшись из окна, она увидела только бескрайнюю степь и никаких признаков жилья. Испугавшись, она крикнула вознице, чтобы он сей же час остановил лошадей, но тот знай гнал вперед, словно подхлестываемый ее криками, и только уговаривал ее "чуток потерпеть", он-де хочет проехать напрямки.

Мисс Килдждой продолжала кричать, возница — нахлестывать лошадей, а лошади — мчать галопом, но тут из чащи кустарника вынырнули три фигуры; прекрасная дева воззвала к ним о помощи, а маленький Буллингдон, распахнув дверцу кеба, храбро выпрыгнул наружу, покатился кубарем и тут же вскочил, выхватил из ножен шпагу и побежал за кебом, крича на ходу:

— Сюда, джентльмены, сюда, держите негодяя!

— Ни с места! — крикнули незнакомцы, и возница с необычайной готовностью придержал лошадей. Рант все это время лежал в пьяном забытьи и только краешком сознания улавливал, что происходит.

Новоявленные защитники угнетенной невинности стали держать совет, посмеиваясь и с интересом поглядывая на юного лорда.

— Не пугайтесь, — сказал их вожак, подойдя к окну кеба. — Один из моих молодцов взберется к негодяю на козлы, а мы с приятелем, с разрешения вашей милости, сядем к вам в кеб и доставим вас домой. Мы хорошо вооружены, с нами вам бояться нечего.

Сказав это, он тут же, без дальнейших церемоний, забрался в кеб, а его товарищ последовал за ним.

— Знай свое место, негодяй! — крикнул маленький Буллингдон, вскипев. И дай сесть лорду виконту Буллингдону! — С этими словами он преградил дорогу плечистому верзиле, который собирался уже выполнить свое намерение.

— Пошли вы подальше, милорд, — отвечал тот с характерным ирландским акцентом, отстраняя мальчика, а тот с криком: "Разбойники, разбойники!" кинулся на противника с обнаженной шпагой и наверняка б его ранил (ибо маленький клинок разит не хуже большого), если бы верзила дубинкой не выбил оружие у него из рук: шпажонка пролетела у мальчика над головой, оставив его безоружным и в полном замешательстве.

Незнакомец снял шляпу и, низко поклонившись его милости, сел в карету. Товарищ захлопнул за ним дверцу и полез на козлы. Мисс Килджой принялась было кричать, но раздумала при виде огромного пистолета, направленного на нее одним из ее рыцарей со словами: "Мы вам ничего плохого не сделаем, мэм, но поостерегитесь звать на помощь, а не то придется завязать вам рот". После чего она оставила всякие попытки сопротивляться и всю дорогу молчала как убитая.

Все произошло в одно мгновение. Когда трое разбойников завладели экипажем, а бедняжка Буллингдон, сконфуженный и ошеломленный, остался в одиночестве стоять среди степи, один из приятелей высунулся в окно.

— Милорд, на два слова! — позвал он.

— Что вам нужно? — крикнул мальчик, раздражаясь рыданиями. Ему было только одиннадцать лет, и до этой минуты он держался молодцом.

— Вы всего в двух милях от Марино. Ступайте назад и идите прямо, пока не упретесь в большой камень, а потом сверните направо. Тут вы скоро выйдете на большую дорогу, и уж там разберетесь, куда идти. А

когда увидите маменьку, передайте ей привет от Капитана Грома и скажите, что мисс Амелия выходит замуж.

— О, боже! — охнула молодая девица.

Карета умчалась, и бедный маленький лорд остался в степи один. Светало. Мальчик перепугался, да и не удивительно. Он побежал было догонять карету, но вскоре мужество и силы покинули его, он уселся на придорожный камень и заплакал с досады.

Вот таким-то образом Улик Брейди и заключил свой "сабинский брак", как я это называю. Когда они подъехали к коттеджу, где было назначено венчание, мистер Рант заартачился и отказался совершить обряд. Но как только к голове злополучного гувернера был приставлен пистолет с недвусмысленной угрозой разнести его безмозглую черепушку вдребезги, ему ничего не оставалось, как дать согласие. Возможно, такое же внушение было сделано и прелестной Амелии, но мне об этом ничего не известно, ибо, едва мы выгрузили свадебный кортеж у ворот, я с тем же возницей поворотил назад и очень обрадовался, найдя дома своего лакея Фрица. Он вернулся раньше моего в моей карете и моем маскарадном костюме, сделав все, как я его научил, и не возбудив ни в ком подозрения.

Бедняга Рант явился домой в самом жалком состоянии. Он благоразумно умолчал о своей доле участия в событиях этой ночи, сочинив плачевную историю о том, как он напился до потери сознания, как на него напали, связали по рукам и ногам и оставили на дороге, где его подобрала телега с провизией, поспешавшая из Уиклоу в Дублин. Не было никакого основания ему не верить. Маленький Буллингдон, тоже кое-как добравшийся домой, разве только догадывался о моей роли в заговоре, но для леди Линдон она не представляла тайны. На следующий же день я встретил ее экипаж по дороге в замок Линдон, история похищения богатой невесты была уже у всех на устах. Я приветствовал ее с дьявольской усмешкой, и она, конечно, поняла, кто был душой этой остроумной и отважной проделки.

Таким образом, я вознаградил Улика Брейди за его бывшее покровительство бедному сироте, а заодно вернул благосостояние достойной ветви моего рода, впавшего в нужду Улик увез новобрачную в Уиклоу и жил с ней в полном уединении, пока эти события не поросли быльем. Братьям Амелии, несмотря на все старания, так и не удалось открыть его убежище. Долгое время не знали, кто счастливцев, похитивший богатую наследницу, и только месяц спустя пришло письмо за подписью Амелии Брейди, где она выражала полное удовлетворение своим новым положением и сообщала, что обвенчал ее не кто иной, как капеллан миледи

Линдон, мистер Рант.

Едва лишь истина вышла наружу, мой достойный друг принес чистосердечную повинную, и, поскольку снисходительная госпожа не прогнала его со двора, все пришли к заключению, что леди Линдон и сама причастна к заговору; а это, в свою очередь, подтверждало ходившую по городу сплетню, будто ее милость по уши в меня влюблена.

Я, как вы понимаете, постарался извлечь для себя пользу из этих слухов. В городе подозревали, что я причастен к похищению мисс Амелии, однако доказать этого никто не мог. Подозревали, что я поладил со вдовой графиней, однако сослаться на меня никто не мог. Есть тысячи способов укрепить подозрение тем, как вы его отрицаете. Я столько смеялся и шутил по поводу этих догадок, что мужчины спешили поздравить меня с великой удачей, видя во мне нареченного самой богатой наследницы в королевстве. Газеты подхватили эти толки, приятельницы леди Линдон хором поддерживали ее иступленные протесты. Вскоре слухи эти подхватили английские газеты и альманахи, особенно падкие в ту пору до скандальных сенсаций; сообщалось, что некая прекрасная вдова, образчик совершенств и добродетелей, титулованная аристократка и первая богачка в обоих королевствах, собирается отдать свою руку молодому джентльмену знатного рода, хорошо известному в высшем свете и весьма отличившемуся на службе у Пр-кого к-ля. Не стану докладывать, кто был автор этих заметок, а также каким образом два изображения — одно мое, с надписью "Прусский ирландец", и другое — леди Линдон, под названием "графиня Эфесская", появились в журнале "Город и захолустье", выходившем в Лондоне и охотно отзывавшемся на сплетни и пересуды высшего света.

Чувствуя себя бессильной перед этой цепкой хваткой, леди Линдон растерялась, струсила и решила бежать из Ирландии. Так она и сделала — и кто же первым встретил ее в Холихеде, едва она ступила на берег? Не кто иной, как ваш покорный слуга Редмонд Барри, эсквайр. А в довершение этой неприятности "Дублинский Меркурий", сообщивший об отбытии ее милости, за день до этого известил о моем. Создавалось впечатление, будто леди Линдон последовала за мною в Англию, тогда как на самом деле она бежала от меня. Напрасная надежда! От человека с моим решительным характером нельзя избавиться таким путем. Убеги она к антиподам, я бы и там ее ждал; я погнался бы за ней даже и в те края, куда Орфей последовал за Эвридикой.

В Лондоне у ее милости был дом на Беркли-сквер, еще более роскошный, чем дублинская резиденция, и, зная, что она там поселится, я



заблаговременно приехал в английскую столицу и снял прекрасную квартиру по соседству, на Хилл-стрит. В лондонском доме леди Линдон у меня была такая же агентура, как в Дублине. Все нужные сведения мне сообщал тот же преданный привратник. Я обещал утроить его жалованье, как только состоится известное событие. Я заручился помощью и компаньонки леди Линдон, презентовав ей сто гиней чистоганом и обещав еще две тысячи, как только женюсь, и с помощью такой же взятки завоевал симпатии любимой горничной. Слух обо мне опередил меня в Лондоне, и многие представители света желали меня видеть на своих вечерах. Мы в наш скучный век понятия не имеем, как веселились и сорили деньгами в Лондоне в те благословенные времена, как мужчины и женщины, стар и млад, увлекались картами, сколько тысяч ежевечерне переходило из рук в руки за игорными столами. А какими красавицами гордился Лондон той поры, как они были хороши, как легкомысленны и какими блистали туалетами! Всем кружил голову прельстительный порок — тон задавали их величества герцоги Глостер и Кэмберленд, и знать следовала их примеру. Вы только и слышали о побегах и похищениях. О, это было чудесное время; трижды благословен тот, кто в эту пору был богат и молод, у кого кровь кипела в жилах. Все это в изобилии имелось у меня, и старые завсегдатаи кофеен Уайта, Уотъера и Гузтри еще и сейчас могут порассказать вам о храбрости, остроумии и светской обходительности капитана Барри.

Ход любовной истории интересен только причастным лицам, пусть же эту тему разрабатывают бульварные романисты, на радость юным пансионеркам, для которых они, собственно, и стараются. Я же не намерен проследивать шаг за шагом все перипетии моих ухаживаний и перечислять трудности, кои выпали мне на долю и над коими я восторжествовал. Достаточно сказать, что я все их одолел. Вместе с моим другом блаженной памяти мистером Уилксом, этим остроумнейшим из людей, я нахожу, что подобные препятствия ничего не составляют для предприимчивого человека: при достаточной ловкости и настойчивости он не только холодность, но даже отвращение может обратить в любовь. К тому времени, как кончился срок вдовьего траура, я нашел возможность вновь добиться приглашения в дом леди Линдон; ее приближенные дамы постоянно расхваливали меня, превознося мою энергию, восхищаясь моей шумной славой, расписывая мои успехи и популярность в высшем свете.

Верными помощниками в моем нежном искательстве были и знатные родичи графини: им и в голову не приходило, какую они оказывают мне услугу своей предвзятой хулой и как я должен благодарить их за все усилия

очернить меня в глазах миледи. Их ненависть и клевета преследовали меня и в дальнейшем, но я не оставался в долгу, платя им уничтожающим презрением.

Застрельщицей среди этих милых родственничков явилась маркиза Типтоф, мать юного джентльмена, которого я проучил в Дублине за дерзость. Не успела графиня прибыть в Лондон, как эта старая фурия явилась к ней и давай ее костить за то, что она поощряет мои ухаживания; этим маркиза, пожалуй, принесла мне больше пользы, чем могли бы сделать шесть месяцев ухаживаний или победа над полдюжиной соперников на поле чести. Тщетно бедняжка доказывала свою невиновность и клялась, что и не думала меня поощрять.

— Не думали поощрять! — взвизгнула старая мегера. — Вы хотите сказать, что не завели с ним шашней еще в Спа, при жизни сэра Чарльза? А разве вы не выдали свою подопечную за какого-то вконец разорившегося сквайра, кузена этого прощелыги? Когда же он уехал в Англию, не вы ли как сумасшедшая на другой же день кинулись за ним? И разве он не поселился чуть ли не у вашего порога? Как можно после этого говорить, что вы его не поощряете?! Стыдитесь, сударыня, стыдитесь! А ведь у вас была возможность выйти за моего сына милого, благородного Джорджа! Но он, разумеется, не стал мешать вашей постыдной страсти к какому-то нищему пролазе, которого вы же подучили его убить; единственное, что я могу посоветовать вашей милости, это узаконить узы, связавшие вас с бесстыжим проходимцем; раз уж дело зашло так далеко, пусть союз, заключенный наперекор приличию и религии, будет освящен церковью и людьми, чтобы ваш позор не колол глаза вашему сыну и всему вашему семейству.

С этими словами старая ведьма удалилась, оставив леди Линдон в слезах; я узнал об этом разговоре во всех подробностях от компаньонки ее милости и возлагал на него большие надежды.

Итак, благодаря мудрому воздействию маркизы Типтоф, от графини отвернулись все ее друзья и родственники. И даже когда ей пришлось ехать ко двору, первая дама страны, августейшая королева, встретила ее с такой подчеркнутой холодностью, что бедняжка, воротясь домой, слегла от огорчения. Можно сказать, само королевское величество поощряло интриги и способствовало планам бедного ирландского искателя приключений; ибо рок достигает своих целей с помощью как больших, так и малых орудий, и судьбы мужчин и женщин свершаются неподвластными нам путями.

Я всегда буду считать тактику миссис Бриджет (в ту пору любимой горничной леди Линдон) верхом изобретательности; я был столь высокого

мнения о ее дипломатических способностях, что, едва став хозяином лондонских владений, уплатил ей обещанную сумму (я человек чести и, чем нарушить слово, данное женщине, предпочел занять эти деньги у ростовщиков под чудовищный процент); итак, едва я достиг желанной цели, как взял миссис Бриджет за руку и сказал:

— Сударыня, вы проявили беспримерную верность, состоя у меня на службе, и я от души рад отблагодарить вас, как и обещал; но вы дали доказательства такой незаурядной ловкости и лицемерия, что я не могу оставить вас на службе у леди Линдон и прошу вас сегодня же покинуть этот дом.

Что она и сделала, перейдя во фракцию леди Типтоф, и с тех пор поносила меня на всех перекрестках.

Но я должен рассказать вам, в чем заключалась ее удачная выдумка. В сущности, это был самый простой ход, но таковы все гениальные решения. Как-то леди Линдон пожаловалась ей на свою судьбу и на мое позорное, как она изволила выразиться, обращение с ней, и тут миссис Бриджет сказала:

— Почему бы вам, ваша милость, не написать молодому джентльмену, объяснить ему, какое зло он вам причиняет? Взовите к его чувствам (по общему мнению, это глубоко порядочный человек — весь город говорит о его великодушии и щедрости), попросите отказаться от преследований, которые причиняют столь невыносимые страдания лучшей из женщин. Умоляю вас, миледи, напишите ему! Я знаю, у вас такой изящный слог, я не раз плакала, читая ваши письма; мистер Барри чем угодно пожертвует, лишь бы но доставлять вам огорчений.

И, конечно же, ловкая служанка не пожалела клятв в подтверждение своих слов.

— Вы в самом деле так думаете, Бриджет? — спросила моя возлюбленная госпожа и тот же час, не теряя времени, настрочила мне письмо в самой своей подкупающей и трогательной манере:

"Зачем, о сэра, — писала она, — вы меня преследуете? Зачем опутываете сетью столь ужасных интриг, что дух мой слабеет, не чая спасения от вашего чудовищного, дьявольского коварства? Говорят, вы великодушны с другими, будьте же таким и со мной. Мне слишком хорошо известна ваша храбрость обратите же ее против мужчин, которые могут встретить вас с мечом в руке, а не против бедной слабой женщины, бессильной вам противостоять. Когда-то вы уверяли меня в своей дружбе. И вот я молю вас,

взываю к вам, дайте мне доказательство этой приязни! Развейте клевету, которую вы обо мне распространили, и залечите, если можете, если осталась в вас хоть крупница чести, залечите обиды, нанесенные бедной страдальце

Г. Линдон."

Зачем было писать это письмо, если не для того, чтобы я ответил на него лично? Моя достойная союзница сообщила мне, где я могу встретить леди Линдон, и, следуя ее указаниям, я нашел свою богиню в Пантеоне. Здесь я наново разыграл перед ней дублинскую сцену, показав, как, при всем моем ничтожестве, велика моя власть и что энергия моя неистоцима.

— Но, — прибавил я, — я так же велик в добре, как и во зле; и столь же нежный, преданный друг, как и опасный противник. Я сделаю все, что вы ни попросите, но не приказывайте мне от вас отречься. Это не в моей власти. Покуда мое сердце бьется, оно принадлежит вам. Это — моя судьба, ваша судьба! Оставьте же бесполезную борьбу и будьте моей. Прекраснейшая из женщин, только с жизнью моей заглохнет эта страсть: прикажите мне умереть и меня не станет. Угодно вам, чтобы я умер?

На это она сказала, смеясь (будучи женщиной живого темперамента, не лишенной чувства юмора), что отнюдь не хочет, чтобы я наложил на себя руки; и тогда я почувствовал, что она моя.

Ровно через год, 15 мая 1773 года, мне выпала честь и счастье повести к алтарю Гонорию, графиню Линдон, вдову покойного досточтимого сэра Чарльза Линдона, кавалера ордена Бани. Мы обвенчались в церкви св. Георгия на Ганноверской площади, обряд был совершен капелланом ее милости, его преподобием Сэмюелем Рантом. За церемонией последовали великолепный ужин и бал, коп были даны нами в нашей резиденции на Беркли-сквер, а на следующее утро моего выхода ожидали: герцог, четыре графа, три генерала и множество избраннейших представителей лондонского общества. Уолпол написал пасквиль на наш брак, Селвин острил над ним в "Какаовом дереве", старая леди Типтоф, хоть и первая настаивала на нем, кусала себе локти, а юный Буллингдон, теперь это был четырнадцатилетний верзила, — когда графиня позвала его поцеловать папочку, погрозил мне кулаком и сказал:

— Он — мой отец? Я предпочел бы назвать этим именем любого лакея вашей милости!

Мне оставалось только смеяться над яростью мальчика и старухи, равно как и над пасквилями сент-джеймских острословов. Я отправил пламенное описание нашей свадьбы матушке и моему дядюшке,

добрейшему шевалье. Достигнув вершины благоденствия, заняв в тридцать лет, единственно благодаря моим заслугам и энергии, самое высокое положение в Англии, доступное человеку, я решил до конца моих дней наслаждаться жизнью, как и подобает знатному джентльмену.

Приняв поздравления от наших лондонских друзей, — в то время люди не стеснялись своей женитьбы, как это наблюдается сейчас, — мы с Гонорией (которая так и сияла от счастья и в которой я обрел очаровательную, веселую и сговорчивую подругу) отправились проведать наши владения в Западной Англии, где я еще не бывал. Выехали из Лондона в трех каретах, заложенных четверней каждая; представляю, как возрадовался бы дядюшка, увидев на их панелях ирландский венец и древний герб рода Барри — рядом с короной пэров и всеми регалиями благородного дома Линдонов.

Перед отъездом из Лондона я испросил высочайшего соизволения присоединить к моему имени имя моей прекрасной супруги и с того времени принял титулование "Барри Линдон", каковым прозванием и надписал эту историю моей жизни.

## Глава XVII

# Я становлюсь украшением английского общества

Весь путь до Хэктонского замка, самого обширного и самого древнего владения наших предков в Девонширском графстве, мы совершили с той размеренной, неторопливой обстоятельностью, какая и подобает представителям высшей английской знати. Впереди поспешал курьер, заботившийся о наших привалах по всему пути следования; мы торжественно располагались на отдых в Эндовере, Илминстере и Эксетере и только на четвертый вечер, к самому ужину, подъехали к старинному замку с воротами, изукрашенными в том ужасном готическом вкусе, который приводит мистера Уолпола в такой неопиcуемый восторг.

Первые дни совместной жизни — обычно тяжкое испытание для новобрачных; я знавал супружеские пары, ворковавшие, как голубки, всю последующую жизнь, тогда как в свой медовый месяц они только и делали, что ссорились по пустякам. Я не избежал общей участи: во время нашего путешествия на запад страны леди Линдон изволила на меня гневаться всякий раз, как я доставал трубку и выкуривал ее в карете; я пристрастился к табаку, будучи солдатом Бюловского полка, и навсегда сохранил эту привычку; а еще леди Линдон изволила на меня обидеться как в Илминстере, так и в Эндовере за то, что вечерами я приглашал хозяев "Колокола" и "Льва" распить со мной бутылку-другую. Леди Линдон была дама надменная, а я терпеть не могу в людях гордыни, и, смею вас уверить, мне удалось в обоих случаях одержать победу над этим ее пороком. На третий день нашего путешествия я только мигнул, и она сама, своими руками, зажгла спичку и, глотая слезы, поднесла ее мне; а в Эксетере, в гостинице "Лебедь", она стала совсем шелковой и смиренно спросила, не угодно ли мне вместе с хозяином посадить за стол и хозяйку? В другой раз я приветствовал бы это предложение — миссис Боннифейс была недурна собой, но мы ожидали к обеду лорда епископа, родственника леди Линдон, и чувство приличия не позволило мне внять просьбе моей супруги. Из уважения к нашему клерикальному кузену я посетил вместе с ней вечернюю службу и принял участие в подписке на какой-то особенный орган, который изготовлялся для собора, причем двадцать пять гиней записал от ее имени, а сто — от своего. Таким образом, я с первых же

шагов завоевал популярность в графстве; и приходский каноник, удостоивший со мной отужинать, ушел после шестой бутылки, икая от полноты чувств и желая всяких б-б-благ б-бчблагочестивому джентльмену.

Однако до того, как подкатить к воротам Хэктонского замка, нам пришлось проехать по владениям Линдонов добрый десяток миль — и весь народ высыпал приветствовать нас, и колокола заливались, и священник вместе с фермерами, одетыми в праздничное, вышел на дорогу нас встречать, и школьники, и весь деревенский люд изощрялись в громовых "ура" в честь ее милости. Я швырял в толпу деньги и нет-нет останавливался, чтобы разменяться поклонами и потолковать с его преподобием и фермерами, и если девонширские девушки показались мне самыми хорошенькими в Англии, то я не вижу в этом замечании ничего неуместного. Между тем оно задело за живое леди Линдон, а мое восхищение румяными щечками мисс Бетси Кваррингдон в Кламптоне окончательно вывело ее из себя — она так надулась, как еще ни разу за наше путешествие. "Ага, голубушка, ты ревновать! — подумал я не без горького чувства, вспомнив, как легкомысленно она вела себя при жизни мужа и что ревнует главным образом тот, кто сам не без греха.

Всего торжественней встречала нас деревня Хэктон. Из Плимута привезли духовой оркестр, повсюду возвышались арки и пестрели флаги, особенно разукрасили свои дома адвокат и врач, — оба они состояли на службе в замке. Сотни дюжих мужчин и женщин выстроились перед внушительной привратницей, которая вместе с наружной стеной составляет границу хэктонского парка и от которой на три мили, до самых башен старинного замка, тянется (вернее, тянулась) аллея благородных вязов. Как я жалел, что это не дубы, когда в 1779 году сводил эти деревья, — я выручил бы за них втрое больше! Какое легкомыслие со стороны беспечных предков насадить на своей земле низкосортный строевой лес, тогда как можно было с таким же успехом вырастить здесь дубовые роци. Вот почему я всегда говорил, что хэктонский круглоголовый Линдон, посадивший эти вязы в царствование Карла II, обсчитал меня на десять тысяч фунтов.

Первые дни в Хэктоне я с приятностью проводил время, принимая визиты окрестной знати и простых дворян, спешивших засвидетельствовать свое почтение новобрачным, а также инспектируя, подобно жене Синей Бороды в известной сказке, доставшиеся мне сокровища, мебель и многочисленные покои замка. Это огромное старое здание времен Генриха V во время революции подверглось осаде и бомбардировке войск Кромвеля, а потом его кое-как залатал и перестроил в

ужасающем старомодном духе круглоголовый Линдон, — он унаследовал родовое поместье после брата, благороднейшего человека истинно кавалерственных вкусов и правил, который разорился в пух, ведя распутную жизнь, пьянствуя и играя в кости, а отчасти и потому, что держал сторону короля. В окрестностях замка чудесная охота, — здесь водятся даже олени, и, признаюсь, первое время жизнь в Хэктоне доставляла мне огромное удовольствие. Как хорошо было летним вечером сидеть в дубовой гостиной перед настезь раскрытыми окнами в кругу десятка веселых собутыльников и любоваться мерцанием золотой и серебряной посуды на полках дедовских шкафов, созерцать зеленый парк, колеблющиеся на ветру деревья, солнце, садящееся за дальнее озеро, и слушать, как в лесу перекликаются олени.

Снаружи замок, каким я его застал, представлял диковинное смешение самой разнородной архитектуры: старые феодальные башни и остроугольные фронтоны времен королевы Бесс соседствовали с кое-как заделанными стенами на месте разрушений, причиненных пушками круглоголовых. Но я не стану вдаваться в описание замка, ибо я перестроил его заново, ценой огромных затрат, под наблюдением самого модного архитектора, который переделал фасад в ультрасовременном франко-эллинистическом стиле, поистине классическом. Там, где раньше зияли рвы с водой, пересеченные подъемными мостами, и высились тяжелые бастионы, — теперь раскинулись красивые террасы, украшенные роскошными цветниками, сообразно планам мосье Корнишона, великого архитектора, которого я не поленился выписать из самого Парижа.

Поднявшись по наружным ступеням, вы входили в обширный старинный холл, обшитый резным мореным дубом и украшенный портретами наших предков, начиная от квадратной, лопатой, бороды Брука Линдона, знаменитого адвоката времен королевы Бесс, до фижм и локонов леди Сахариссы Линдон, которая, еще будучи фрейлиной королевы Генриетты-Марии, позировала Ван-Дейку и так далее, до сэра Чарльза Линдона с лентой ордена Бани через плечо, а также миледи, написанной Хадсоном в белой атласной робе и фамильных брильянтах, в том самом туалете, в каком она представлялась еще старому королю Георгу II. Это были отличные брильянты; я сперва отдал их переделать Бэмеру, когда мы получили приглашение к Версальскому двору, а впоследствии получил под них восемнадцать тысяч фунтов после того случая, как мне дьявольски не повезло в "Гузтри", — мы с Джемми Твитчером (как называли лорда Сэндвича), Карлейлем и Чарли Фоксом сорок четыре часа подряд играли в ломбер *sans de-semparer* <sup>[56]</sup>. Все остальное убранство огромного холла



самострелы и пики, оленьи рога, охотничье снаряжение и старинные ржавые доспехи, какие носили, должно быть, во времена Гога и Магога, — было сгруппировано вокруг камина, где можно было развернуться в коляске шестерней. Я ничего тут не тронул, если не считать того, что старое оружие распорядился убрать на чердак, заменив его китайскими уродцами, французскими золочеными диванчиками и мраморными изваяниями, чьи сломанные носы и отсутствующие конечности, не говоря уже о крайнем безобразии, были верной порукой их древности; специальный агент закупил их для меня в Риме. Но так эфемерны были вкусы того времени (или так ненадежен мой каналья агент), что все эти перлы на общую сумму в тридцать тысяч фунтов пошли всего-навсего за триста гиней, когда мне понадобилось получить под мою коллекцию деньги.

По обе стороны главного холла отходили амфилады парадных покоев; единственным их украшением, когда я впервые их увидел, были стулья с громоздкими спинками и высокие, до потолка, венецианские зеркала в причудливых рамах; позднее я отделал их златоткаными лионскими штофами и роскошными гобеленами, которые мне посчастливилось выиграть у Ришелье. В замке имелось тридцать шесть спален *de maitre*, и только три из них я оставил нетронутыми — так называемую комнату с привидением, где во времена Иакова II было совершено убийство; комнату, где ночевал Вильгельм после высадки в Торбэ, и опочивальню королевы Елизаветы. Остальные были переделаны Корнишоном в самом элегантном вкусе, к великому негодованию некоторых аристократических вдов из нашего захолустья, ибо я украсил все стены полотнами Буше и Ванлоо, на которых купидоны и Венеры изображены в столь натуральном виде, что старая иссохшая графиня Фрампингтон сколола булавками занавеси у своей кровати, а дочь свою, леди Бланш Уэйлбоун, послала спать к ее горничной, так как комната, отведенная этой даме, была вся увешана зеркалами — совсем как в Версале, в будуаре французской королевы.

За многие из этих преобразований ответствен не столько я, сколько Корнишон, которого уступил мне на время Лорагэ и которому я доверил все строительство в замке на время моего пребывания за границей. Я дал ему *carte blanche*, мол, делай, что хочешь, — и когда он сверзился с помоста и сломал ногу, размалевывая стены для будущего театра в том самом зале, где во времена оны помещалась замковая часовня, народ во всей округе счел это возмездием Божиим. В своем фанатическом стремлении все переделывать и улучшать, он ни перед чем не останавливался. Так этот одержимый, не спросясь, велел снести грачовник, почитавшийся в наших

краях священным, существовала поговорка: "Грачовник снести — Хэктонхолл извести". Грачи (черт бы их побрал!) переселились в соседнюю рощу Типтофа, а Корнишон на этом месте воздвиг храм Венеры и перед ним разбил лужайку с двумя чудесными фонтанами. Венеры и купидоны были положительно пунктиком канальи; у него поднялась рука даже на готическую решетку вокруг нашей церковной скамьи — он и ее задумал украсить купидонами; но приходский пастор, старый доктор Хафф, вышел к архитектору со здоровенной дубинкой и обратился к нему с латинской речью, из коей бедняга ничего не понял, но все же догадался, что священник ему все кости переломает, если он хоть пальцем дотронется до священного здания. Корнишон пожаловался мне на "аббата Хаффа", как он его называл ("Et quel abbe, grand Dieu, — добавил он в растерянности, — un abbe avec douze enfants!" <sup>[57]</sup>), однако на сей раз я вступился за церковь и предложил Корнишону ограничиться господским домом для своих затей.

В замке имелась коллекция старинного серебра, которую я пополнил современными, архимодными изделиями; имелся погреб, который, при всем своем богатстве, требовал постоянных добавлений, а также кухня, где я произвел полный переворот. Мой приятель Джек Уилкс прислал мне повара из самого Мэншен-хауса специально для отечественных блюд, по департаменту дичи и черепах; главным поваром был у меня француз (он даже вызвал англичанина на дуэль и потом возмущался, что этот *gros cochon* <sup>[58]</sup> предложил ему сразиться на кулачках — *avec coups de poing*), и при нем помощники — такие же французы, я выписал их прямехонько из Парижа; кондитер-итальянец завершал штат моих *officiers de bouche* <sup>[59]</sup>. И на все эти, в сущности, законные добавления к домоустройству светского джентльмена противный ханжа старик Типтоф, мой родич и ближайший сосед, взирал с притворным ужасом: это он распускал по округе слух, будто я ем пищу, приготовленную папистами, предпочтительно лягушек, и будто у меня подается к столу фрикасе из освежеванных младенцев.

Тем не менее сквайры охотно у меня обедали, и даже старый доктор Хафф вынужден был признать, что черепах и дичь у меня готовят по самым правоверным рецептам. Но я сумел приручить и строптивное дворянство — другими средствами. Во всей округе имелись только две своры гончих, которыми пользовались по подписке, да несколько жалких шелудивых борзых сохранились у старика Типтофа, и он ковылял с ними по своему парку. Я же построил образцовую псарню и конюшню, которые обошлись мне в тридцать тысяч фунтов, и заселил их, как достойно потомка ирландских королей. У меня было две своры гончих, и я во время сезона

охотился четыре раза в неделю, всегда в сопровождении трех джентльменов, носивших мою охотничью форму, и для всех участников охоты держал открытый стол.

Эти переделки и новшества, а также весь мой *train de vivre* [\[60\]](#) требовали, как вы понимаете, немалых издержек; что ж, признаюсь, у меня и на волос нет той бережливости и расчетливости, которыми иные так восхищаются и гордятся. Старик Типтоф, например, усиленно копил деньги, чтобы искупить расточительство отца и освободить имение от долгов; не раз бывало, что моему управляющему отсчитывали под мои закладные те самые деньги, которые Типтоф вносил, выкупая свои. К тому же не забывайте, что я только пожизненно владел состоянием Линдонов; что я всегда был в наилучших отношениях с ростовщиками и что мне приходилось вносить большие суммы за страхование жизни ее милости.

К концу года леди Линдон подарила мне сына, я назвал его Брайен Линдон в честь моих королевских предков; но что еще мог я завещать ему, кроме благородного имени? Разве поместье его матери не было заранее предназначено ненавистному канальчонку лорду Буллингдону, — кстати, я совсем упускаю его из виду, хотя он жил с нами в Хэктоне, доверенный заботам нового гувернера. Строптивость этого щенка не поддается описанию. Он цитировал матери пассажи из "Гамлета", приводя ее в бешенство. Однажды, когда я взял в руки плеть, чтобы его высечь, он выхватил нож и готов был меня заколоть; признаться, я вспомнил собственное детство, рассмеялся и протянул ему руку дружбы. На сей раз мы поладили миром, и потом как-то еще раз или два; но ни о каких добрых чувствах между нами не могло быть и речи, — его ненависть росла вместе с ним не по дням, а по часам.

Я решил приобрести земельную собственность для моего ненаглядного сыночка Брайена и с этой целью свел на двенадцать тысяч фунтов лесу в йоркширских и ирландских поместьях леди Линдон; разумеется, опекун Буллингдона, Типтоф, забил тревогу, с пеной у рта он кричал, что я не вправе тронуть ни одно деревце. Это не помешало мне их вырубить все до одного, и я поручил матушке выкупить старинные земли Баллибарри и Барриогов, когда-то входившие в состав наших обширных владений. Она с большим толком и великой радостью выполнила это поручение; сердце ее ликовало при мысли, что у меня есть сын, который унаследует мое имя, и что я столь многого добился в жизни.

Признаться, теперь, когда я вращался в совершенно другой сфере, нежели та, к какой она привыкла, мне было боязно, как бы ей не вздумалось меня навестить, то-то она удивила бы моих английских друзей

своим смешным выговором и бахвальством, своими румянами, фижмами и фалбалой времен Георга II, которыми она красовалась еще в дни своей далекой юности и которые по сей день считала последним словом изящества и моды. Я не раз писал ей, откладывая ее приезд, советовал то повременить, пока не отстроят левое крыло замка, то покуда не будут готовы конюшни, и т. д. Излишняя предосторожность! "Мне достаточно и намека, Редмонд, — отвечала славная старушка. — Не беспокойся, я не приеду смущать твоих важных друзей своими старомодными ирландскими манерами. Мне достаточно знать, что мой милый мальчик достиг того положения в свете, какого он всегда заслуживал; не зря я себе во всем отказывала, чтобы дать тебе приличное образование. Когда-нибудь ты привезешь бабушке ее внучка Брайена, чтобы я могла его расцеловать. Передай мое почтительное благословение его сиятельной мамочке. Скажи ей, что она обрела в своем муже сокровище и что ни один герцог не дал бы ей такого счастья. И что хоть Барри и Брейди не принадлежат к титулованной знати, однако в их жилах течет благородная кровь. Я не успокоюсь, пока не увижу тебя графом Баллибарри, а моего внука лордом виконтом Барриогом".

Разве не удивительно, что наши с матушкой мысли так чудесно совпали? А главное, ей пришли в голову те же титулы, до которых (вполне естественно) додумался и я. Признаться, я не один десяток листов исчеркал, упражняясь в этой новой подписи, и с обычной своей неудержимой энергией решил добиваться цели. Матушка тут же переехала в Баллибарри и, пока не построят жилой дом, поселилась у местного священника, но письма уже помечала "из замка Баллибарри", и, будьте уверены, что, рассказывая об этом месте, я выдавал его за нечто весьма значительное. Я повесил план своего владения, а также чертежи Баллибаррийского замка, этой родовой вотчины Барри Линдона, эсквайра, в моих кабинетах в Хэктоне и на Беркли-сквер, внеся в них все задуманные улучшения; в этом, новом, виде мой замок был примерно такого же размера, как Виндзорский, но с еще большим количеством архитектурных деталей. А так как мне подвернулась возможность округлить мои владения, прикупив восемьсот акров заболоченной земли, то я приобрел их по три фунта за акр, и поместье мое на карте приняло и вовсе внушительный вид [\[61\]](#). В том же году я вступил в переговоры о покупке у сэра Джона Трекотика Полуэллского поместья и оловянного рудника в Корнуолле за семьдесят тысяч фунтов, — неудачная сделка, послужившая для меня источником бесконечных тяжб и нареканий. Боже мой, какая доюка все эти деловые заботы, недобросовестность управляющих, крюкотворство

адвокатов! Скромные обыватели завидуют нам, большим людям, воображая, что наша жизнь — сплошной праздник. Сколь часто на вершине благоденствия тосковал я о днях, когда жизнь меня не баловала, и как завидовал порой веселым собутыльникам, пировавшим за моим столом! Пусть у них не было иного платья, нежели то, что давал им мой кредит, а в кармане вертелась только подаренная мной гиней — зато они не знали гнетущих забот и ответственности, этих хмурых спутников высокого ранга и большого богатства.

В Ирландии я бывал лишь наездами, чтобы показаться там, а также как рачительный хозяин наведать свои имения, и не упускал случая наградить друзей, принимавших во мне участие в пору былых моих злоключений, и занять подобающее место среди местной знати. По правде сказать, жизнь в этой убогой стране меня не прельщала после того, как я вкусил более утонченных и полновесных удовольствий английской и континентальной жизни. На лето, пока описанным образом переделывался и украшался Хэктонский замок, мы выезжали в Бакстон, Бат или Хэррогейт, а зимний сезон проводили в своем особняке на Беркли-сквер.

Уму непостижимо, сколько новых достоинств открывает в человеке богатство; подобно воску или гляncу, оно выявляет естественно присущий ему цвет и блеск, которые теряются, когда видишь его в холодных серых сумерках бедности. Не много понадобилось времени, чтобы меня признали в Лондоне красавцем и щеголем первой руки. Мое появление в кофейнях на Пэл-Мэл, а затем в самых знаменитых клубах произвело фурор. В городе только и говорили что о моей изысканной жизни, о моих экипажах и блестящих приемах, утренние газеты писали о них, захлебываясь. Те из родственников леди Линдон, что победнее и попроще, уязвленные несносной надменностью старика Типтофа, зачастили к нам на вечера и приемы; что же до моей родни, то в Лондоне и в Ирландии объявилось такое число кузенов, искавших моего знакомства, какое мне сроду не снилось. Были среди них, разумеется, соотечественники (я не слишком ими гордился); так ко мне таскались трое или четверо чванных и весьма потрепанных франта из Темпла, с линиялым галуном и истинно ирландским акцентом, прогрызавших себе дорогу к лондонской адвокатуре, а также несколько рыцарей игорного стола, промышленяющих на водах, — я очень скоро указал им на дверь; был и кое-кто попрличнее, назову из них моего кузена лорда Килберри, при первом же знакомстве занявшего у меня, на правах родства, тридцать гиней, чтобы расплатиться со своей хозяйкой на Суоллоу-стрит. По некоторым личным причинам я поддерживал эту связь, к каковой Геральдическая палата не давала ни малейших оснований. Для

Килберри всегда находилось место за моим столом; он был моим постоянным понтером, хотя платил когда вздумается и, следовательно, крайне редко; состоял в приятельских отношениях с моим портным и задолжал ему крупную сумму и всегда и везде трубил о своем кузене, великом Барри Линдоне с Запада.

Мы с ее милостью, находясь в Лондоне, вскоре зажили каждый своей жизнью. Она предпочитала тихое уединение, — вернее, предпочитал я, ибо всегда ценил в женщине кроткий, скромный нрав и обычай, склонность к домашним удовольствиям. По моей настоятельной просьбе она обедала дома, в кругу своих компаньонов, своего капеллана и нескольких избранных друзей; посещать свою ложу в опере или комедии разрешалось ей только в обществе трех-четырех почтенных провожатых. Что же до ее друзей и родственников, то я отказывался часто с ними видаться, предпочитая звать их два-три раза в сезон на большие приемы. К тому же как мать она с великим удовольствием пестовала, наряжала и всячески баловала малютку Брайена, ради которого ей и вовсе следовало отказаться от суетных развлечений и удовольствий, препоручив все хлопоты и обязанности по представительству в свете. По правде сказать, наружность леди Линдон в эту пору уже не позволяла ей блистать в обществе. Она расплылась и обрюзгла, близорукость ее усилилась, цвет лица испортился, к тому же она не следила за собой, одевалась кое-как и заметно потускнела, сникла в обращении. В ее разговорах со мной проглядывало какое-то тупое отчаяние, которое сменялось порой и вовсе неприятными, неуклюжими потугами на показную веселость; не удивительно, что наши встречи были скупы до предела и что у меня не возникало соблазна вывозить ее в свет или коротать с ней время. Она и дома частенько действовала мне на нервы: так, когда я ее просил (пусть порой и в не совсем деликатной форме) занять гостей остроумной и просвещенной беседой, до которой она такая охотница, или блеснуть своими музыкальными талантами, она вдруг ни с того ни с сего разражалась слезами и убегала. Люди, естественно, думали, что я ее тираню, а между тем я был лишь суровым и бдительным опекуном этой вздорной и бестолковой женщины с отвратительным характером.

К счастью, она боготворила младшего сына, и это давало мне на нее управу. Бывало, она вдруг впадет в свой несносный надменный тон (эта женщина была гордости непомерной, — сколько раз во время наших ссор, особенно первые годы, она попрекала меня былой бедностью и низким происхождением), начнет доказывать свою правоту или утверждать свое превосходство, а то откажется подписать бумаги, которые были мне нужны позарез для приведения в порядок наших обширных и разнообразных

владений, — в таких случаях достаточно мне было отослать мистера Брайена на несколько дней в Чизик, и спеси ее как не бывало, Гонория соглашалась на все, что бы я ни предложил. Я наблюдал за тем, чтобы люди в ее услужении получали жалованье от меня, а не от нее; в особенности старшая няня ребенка должна была выполнять мои распоряжения, а не слушаться своей госпожи. Это была смазливая краснощекая и предезкая шельма, — вот уж кто сумел прибрать меня к рукам! Шельма заворачивала всем домом — не то что малодушная дура, его прямая госпожа. Она командовала слугами и, едва заметив, что я проявляю интерес к какой-нибудь из наших гостей, не стеснялась закатывать мне сцены ревности и находила средства в два счета спровадить соперницу. Такова участь всякого мужчины с благородным сердцем: он всегда становится рабом какой-нибудь юбки, а уж эта фря взяла надо мной такую власть, что могла из меня веревки вить <sup>[62]</sup>.

Неукротимый нрав шельмы (ее звали миссис Стэммер) и угрюмая меланхолия моей жены не способствовали домашнему покою, и меня вечно носило по городу, а так как излюбленным времяпрепровождением той поры в каждом клубе, в каждой кофейне, в любом собрании, была игра, то и пришлось мне на правах любителя вернуться к тому занятию, в котором я когда-то не знал себе соперника в Европе. Но то ли благосостояние меняет человека, то ли привычное искусство покидает его, когда, лишенный тайного союзника, он играет не с осмотрительностью профессионала, а как все — лишь бы убить время, — не скажу; факт тот, что в сезон 1744–1745 года я проиграл у "Уайта" и в "Какаовом дереве" огромные суммы и должен был выходить из положения за счет крупных займов под ренту моей жены, под ее страховой полис и т. д. Условия, на которых я получал необходимые мне суммы, а также издержки по всяким перестройкам являлись, конечно, тяжелым бременем для нашего состояния и порядком его обкорнали; я отчасти имел в виду эти бумаги, когда говорил, что леди Линдон (с ее мещански ограниченной, робкой и скуповатой натурой) иногда отказывалась их подписать, пока я не прибежал к тем средствам убеждения, о коих говорилось выше.

Здесь следовало бы упомянуть о скачках, ибо и это входит в мою историю за указанный период, но, по правде сказать, я без особого удовольствия вспоминаю свои нью-маркетские подвиги. Почти все мои выступления на этом поприще были цепью разочарований и позорных неудач; и хоть я скакал не хуже любого наездника-англичанина, мне трудно было тягаться с английскими аристократами в искусстве закулисных интриг и махинаций. Пятнадцать лет спустя после того, как мой рыжий

жеребец Бюлов от Софии Хардкасл и Эклипса потерпел поражение в нью-маркетских состязаниях, где он был первым фаворитом, мне стало известно, что утром в день скачек в конюшне у него побывал некий сиятельный граф, чье имя здесь называть не стоит, и в результате приза взяла какая-то никому не ведомая лошадка, а у вашего покорного слуги вылетело из кармана пятнадцать тысяч фунтов. В ту пору у чужака не было ни малейшего шанса на скаковом поле, и хотя вас ослепляла тут неслыханная роскошь и окружала высшая знать страны — кого только здесь не было: герцоги королевской крови со своими женами и блестящими экипажами; старик Графтон с его причудливой свитой разноцветных дам, и такие сильные мира, как Анкастер, Сэндвич и Лорн, — уж, кажется, в подобном обществе можно бы не бояться нечестной игры и гордиться своей причастностью к столь высокому собранию, однако, поверьте, во всей Европе не найдется разбойничьей шайки, которая умела бы с таким изяществом облапошить чужака, подкупить жокея, испортить лошадь или подделать ставки в тотализаторе. Даже мне пришлось спасовать перед этими искусными игроками из лучших европейских фамилий. Может быть, у меня не хватало светского лоска или богатства — не знаю. Но именно теперь, когда я достиг вершины своих честолюбивых устремлений, умение и удача, казалось, изменили мне. Все, к чему я ни прикасался, рассыпалось прахом; все мои спекуляции прогорали; все управляющие, которым я доверялся, меня обманывали. По-видимому, я принадлежу к тому сорту людей, которые способны составить себе состояние, но не способны его сохранить, ибо те качества и та энергия, какие потребны человеку в первом случае, нередко являются причиной его разорения во втором. Я, право же, не вижу других оснований для бедствий, в дальнейшем меня постигших [\[63\]](#).

Я всегда тяготел к пишущей братии, — вернее, мне нравилось разыгрывать среди этих присяжных остроумцев роль мецената и светского денди. Эти люди обычно не могут похвалиться ни состоянием, ни высоким происхождением — не удивительно, что шитый золотом кафтан приводит их в восторг и трепет, в чем, конечно, убедился каждый, возвращавшийся в этой среде. Мистер Рейнольде, впоследствии удостоенный титула, к тому же самый элегантный живописец наших дней, был у них на положении ловкого царедворца, и именно этому джентльмену, написавшему с меня, леди Линдон и малышки Брайена картину, привлечшую общее внимание на выставке (я был изображен в форме Типплтонского ополчения, где числился майором; я прощался с женой, а ребенок в испуге таращился на мой шлем, подобно этому — как его — Гекторову сыну, описанному



мистером Попом в его "Илиаде"), — именно мистеру Рейнольдсу я обязан знакомством со всей их братией и ее великим вождем мистером Джонсоном. Лично я считал его не великим вождем, а великой скотиной. Он раза два-три пил у меня чай и вел себя по-свински — игнорировал мои замечания, словно я мальчишка-школьник, и советовал довольствоваться моими лошадьми и портными, литературу же оставить в покое. Поводырь этого медведя, мистер Босуэлл, шотландец, был у них чем-то вроде шута горохового. Надо было видеть его в так называемом костюме корсиканца на одном из балов миссис Корнели в Карлейль-Хаусе в квартале Сохо, — в жизни не встречал ничего уморительнее. Я порассказал бы вам немало курьезных анекдотов об этом нашумевшем заведении, будь они хоть мало-мальски приличны. Достаточно сказать, что здесь собирались все городские потаскуны, сверху донизу — от сиятельного Анкастера и кончая моим соотечественником, неимущим писателем мистером Оливером Гольдсмитом, а также все потаскухи — от герцогини Кингстон до так называемой Райской Птички, она же Китти Фишер. Здесь я столкнулся с колоритнейшими фигурами, которых со временем постиг не менее колоритный конец: мне вспоминается бедняга Хэкман, поплатившийся головой за убийство мисс Рей; а также его преподобие доктор Саймони (бывавший там, разумеется, инкогнито), которому мой приятель Сэм Фут из "Малого театра" даровал вторую жизнь, после того как обвинение в подлоге и петля на шее преждевременно оборвали карьеру злополучного пастыря.

Да, весело жилось в Лондоне в ту пору, ничего не скажешь! Я пишу это, изможденный старостью и подагрой, да и люди нынче не те — они больше привержены морали и жизненной прозе, чем это наблюдалось в конце прошлого века, когда мир был молод вместе со мной. В ту пору джентльмена и простолюдина разделяла пропасть. Мы носили шелка и шитье. А сейчас мужчины в своих крапчатых шейных платках и шинелях с пелеринами — все на одно лицо, вы не отличите лорда от грума. В ту пору светский джентльмен часами занимался своим туалетом, и требовалось немало изобретательности и вкуса, чтобы хорошо одеваться. А какое разливанное море роскоши являла любая гостиная, любое оперное представление или гала-бал! Какие деньги переходили из рук в руки за игорными столами! Мой золоченый кабриолет и мои гайдуки в сверкающих зелено-золотых ливреях были явлением совершенно другого мира, нежели экипажи, какие вы видите сейчас в парке, с тщедушными грумами на запятках. Мужчина, настоящий мужчина, мог выпить раза в четыре больше, нежели нынешний щенок, — но стоит ли распространяться

о том, что ушло без возврата! Да, перевелись на свете джентльмены! Пошла мода на солдат и моряков, и я впадаю в грусть и хандру, вспоминая то, что было тридцать лет назад.

Эта глава посвящена воспоминаниям о самой счастливой и безоблачной поре моей жизни, — не удивительно, что она не богата приключениями, ведь так оно и бывает, когда человеку легко и весело живется. Стоит ли заполнять страницы перечислением повседневных занятий светского повесы, описывать прекрасных женщин, ему улыбавшихся, платье, которое он носил, состязания, в которых участвовал, одерживая победы или терпя поражения?

Теперь, когда желторотые юнцы у нас бьются с французами в Испании и Франции, живут на биваках, питаются интендантской солониной и сухарями, им трудно себе представить, как хорошо жилось их предкам; а потому не будем задерживаться на описании той поры, когда нынешнего государя еще водили на помочах, Чарльз Фоке еще не превратился в обычного политического деятеля, а Бонапарт был босоногим оборвышем на своем родном острове.

Пока в моих поместьях шли всякие перестройки, пока! мой дом из древнего замка норманнов превращался в элегантный античный храм или дворец, а мои сады и леса теряли свой сельский вид, уподобляясь аристократическим французским паркам, пока подрастало мое дитя, играя у материнских колен, и увеличивался мой авторитет в графстве, — я, конечно, не сидел безвыездно в Девоншире, а то и дело наезжал в Лондон и в мои многочисленные английские и ирландские поместья.

Наведался я и в поместье Трекотик и на Полуэллский рудник, но вместо чаемых барышей наткнулся на сутяжничество, интриги и подвохи. Тогда я с большой помпой отправился в паши ирландские владения, где принимал дворянство с такой пышностью и таким хлебосольством, что впору бы и вице-королю; я задавал тон в Дублине (по правде говоря, в то время это был нищий, полудикий город, и мне не понятен весь этот недавний шум, все эти нарекания на Унию и проистекающие отсюда бедствия, трудно понять ирландских патриотов, которые бьют себя в грудь, превознося старый порядок); итак, я задавал тон в Дублине, но хвалиться тут особенно нечем, такая это была глухая дыра, что бы там ни говорила ирландская партия.

В одной из предыдущих глав я уже описал Дублин. Я говорил, что это Варшава наших широт, — заносчивая, разорившаяся, полуцивилизованная знать правила здесь полудиким населением. Я называю его полудиким не наобум. Уличная толпа в Дублине производила в те дни впечатление каких-

то взлохмаченных оборванцев, не знающих употребления мыла и бритвы. Большинство общественных мест в городе считалось небезопасным после наступления темноты. Университет, общественные здания и дворцы магнатов блистали великолепием (последние в большинстве стояли недостроенными), но народ был так жалок и угнетен, что я не видел ничего подобного нигде в Европе; его религия была на полубесправном положении; его духовенство вынуждено было получать образование за границей; его аристократия не имела с ним ничего общего. Была здесь и протестантская знать, в городах заправляли жалкие, наглые протестантские корпорации, полунищая когорта мэров, олдерменов и городских чиновников; все они подписывали обращения к парламенту и представляли общественное мнение страны; но между верхними и низшими слоями народа не было ни малейшего общения и взаимопонимания. Мне, так долго жившему за границей, отчуждение между католиками и протестантами особенно бросалось в глаза, и хоть я и тверд, как скала, в своей вере, а все же мне часто приходило в голову, что дед мой исповедовал другую религию, и я никак не мог взять в толк, чем вызвано такое политическое неравенство. Соседи видели во мне опасного левеллера; особенно не прощали мне, что в замке Линдон я иной раз сажал за стол местного приходского священника. Это был дворянин, учившийся в Саламанке, лучше воспитанный, на мой взгляд, и куда более приятный собеседник, нежели его протестантский коллега, чья паства состояла человек из десяти — двенадцати; последний, правда, был сын лорда, но не шибко преуспел в грамоте и больше всего интересовался псарней и петушиными боями.

Я не стал расширять и украшать замок Линдон, как сделал это в других поместьях, и бывал в нем только наездами. Во время этих наездов я держал открытый дом и с поистине королевским радушием принимал местную знать. В мое отсутствие в замке проживали с моего разрешения тетушка Брейди с шестью незамужними дочерьми (хоть они всегда меня презирали); матушка предпочла устроиться в моем новом барриогском особняке.

Милорд Буллингдон превратился меж тем в долговязого, не в меру строптивного подростка, и я поселил его в Ирландии, поручив надзору достойного гувернера и заботам вдовы Брейди и шестерых ее дочерей: никто не возбранял ему по примеру отчима влюбиться в одну из этих пожилых дев, если не во всех скопом. Наскучив замком Линдон, молодой лорд всегда мог перебраться к моей матушке, хотя особой приязни эти двое друг к другу не питали; болея за своего внука Брайена, матушка, пожалуй, не меньше, чем я, ненавидела моего пасынка.

Графству Девон не повезло по сравнению с соседним Корнуоллом, ему было отпущено куда меньше представителей в парламенте. В Корнуолле мне был известен помещик умеренных взглядов, получавший со своего имения всего лишь две-три тысячи фунтов в год, и этот мой знакомец устроил свои доходы, оттого что посылал в парламент трех-четыре депутата, а имея в своем распоряжении столько мест, пользовался влиянием на министров. Во время малолетства Гонории парламентские интересы дома Линдон были в забросе, ввиду неспособности старого графа заниматься политикой, точнее говоря, их присвоил старый лицемер и проныра Типтоф, — по обычаю всех родственников и опекунов, он попросту грабил своих подопечных. Маркиз Типтоф посылал в парламент четырех депутатов: из них двоих от местечка Типплтон, которое, как известно, лежит у подножья нашего поместья Хэктон лишь по другую сторону граничит с парком Типтоф. Мы с незапамятных времен посылали депутатов от этого местечка, пока Типтоф, воспользовавшись слабоумием покойного лорда, не заменил их своими людьми. Когда старший сын Типтофа вошел в возраст, ему, разумеется, досталось представительство от Типплтона; но вот скончался Ригби (набоб Ригби, составивший себе состояние в Индии при Клайве), и маркиз надумал воспользоваться открывшейся вакансией для второго сына, милорда Пойнингса, уже известного читателю по одной из предыдущих глав, решив, в сознании своего всемогущества, что и этот его сын укрепит ряды оппозиции, иначе говоря, старой достославной партии вигов, которую поддерживал маркиз.

Ригби долго хворал перед кончиной, и дворяне графства весьма интересовались его здоровьем; это были по преимуществу завзятые тори, сторонники правящей партии, считавшие взгляды Типтофа опасными и разорительными. — Мы давно присматриваем человека, который мог бы сразиться с Типтофом, — говорили мне местные сквайры. — А где же нам искать такого, как не в замке Хэктон? Вы, мистер Линдон, наш кандидат, на следующих же выборах в графстве мы включим вас в списки.

Я так ненавидел Типтофов, что готов был сразиться с ними на любых выборах. Они не только не бывали в Хэктоне, но и отказывались принимать тех, кто бывал у нас; по их наущению все дамы в графстве закрыли двери своих домов для моей жены; Типтофы распускали добрую половину идиотских сплетен, ходивших по округе о моем распутстве и мотовстве; они утверждали, будто я женился на леди Линдон, взяв ее на испуг, и что она теперь конченый человек; намекали, будто жизнь Буллингдона не в безопасности под моей крышей, будто его держат в черном теле, будто я сплю и вижу, как бы убрать его с дороги моего сына Брайена. Кто бы из

моих приятелей ни заезжал в Хэктон, в Типтоф-холле уже подсчитывали, сколько по этому случаю было выпито бутылок. Они докапывались до всех моих дел со стряпчими и посредниками. Если я не платил кредитору, все его претензии становились там известны наперечет; стоило мне заглядеться на фермерскую дочку, как они кричали, что я ее погубил. Никто из нас не без греха, как семьянин я не могу похвалиться ровным, выдержанным характером; но мы с миссис Линдон ссорились не чаще, чем это бывает в любом аристократическом доме, и первое время все наши размолвки так или иначе кончались примирением. У меня, конечно, много недостатков, и все же я не тот дьявол во плоти, каким изображали меня злостные клеветники в Типтоф-холле. Первые три года не было случая, чтобы я ударил жену, разве что под пьяную руку. Когда я запустил в Буллингдона столовым ножом, я был нетрезв, что могут подтвердить все присутствовавшие при этой сцене; но отсюда еще далеко до каких-то злокозненных умыслов против бедного малого; с этой стороны я чист и клятвенно заверяю, что, если не считать того, что я от души ненавидел пасынка (а в склонностях своих никто не волен), я никогда не желал ему зла.

Итак, у меня был давнишний зуб на Типтофов, а я но из тех, кто позволяет своим чувствам подобного рода ржаветь в бездействии. Хоть и виг, а может быть, именно поэтому, маркиз отличался крайним высокомерием: он обращался с простыми смертными примерно так же, как обращался его божок, великий граф, особенно с тех пор как ему самому пожаловали титул пэра, точно с презренными вассалами, для которых должно быть честью облобызать пряжку на его башмаке. Когда к нему являлись типптонский мэр с корпорацией, он выходил к ним в шляпе, не приглашал мэра сесть и сразу же исчезал, едва вносили закуску, а бывало и так, что почтенных олдерменов угощали в каморке дворецкого. Правда, честные бритты не роптали на такое обращение, пока я их не просветил, движимый патриотическими чувствами. Этим подхалимам даже нравится, когда ими помыкают, я на долгом опыте убедился, что редкий англичанин смотрит на дело иначе.

Только когда я открыл им глаза, увидели они свое унижение. Я пригласил мэра в Хэктон вместе с его дражайшей половиной, аппетитной кругленькой бакалейщицей, посадил ее рядом с леди Линдон в мой кабриолет и отвез обеих дам на скачки. Леди Линдон отчаянно противилась такому унижению, но хоть она и дамочка с характером, я знал, как за нее взяться, и она не устояла. Толкуют о норове — чушь какая! Дикая кошка норовиста, но укротителю нетрудно с нею сладить; так и я мало встречал

женщин, которых не заставил бы слушаться.

Я всячески ухаживал за мэром и его олддерменами: посылал им дичь к обеду или приглашал к себе; усердно посещал их собрания, танцевал с их женами и дочерьми, словом, оказывал им все те знаки внимания, какие полагается оказывать; но хоть старику Типтофу были известны мои маневры, он парил в облаках: ему и в голову не приходило, что в подвластном ему городишке Типплтоне кто-либо осмелится свергнуть его династию, и он издавал свои указы с таким апломбом, как если б он был турецкий султан, а жители Типплтона — его покорные рабы.

Когда почта приносила сообщения, что здоровье Ригби ухудшается, я каждый раз давал обед, — у моих товарищей по охоте была даже в ходу поговорка: "У Ригби, видно, плохи дела: в Хэктоне опять дают обед корпорации".

Я попал в парламент в 1776 году, как раз в начале войны с Америкой. Милорд Чатам, кумир своих партийных коллег, обладавший, по их словам сверхчеловеческой мудростью, возвысил свой голос в палате лордов против разрыва с Америкой, да и мой соотечественник мистер Берн, великий философ, но многоречивый и нудный оратор, защищал мятежников в палате общин, где, однако, благодарение британскому патриотизму, мало кто его поддержал. Что до старика Типтофа, то он готов был назвать белое черным, коль скоро этого требовал великий граф: он приказал сыну выйти из гвардии, в подражание лорду Питту, который, несмотря на свой чин прапорщика, отказался сражаться против тех, кого он называл своими американскими братьями.

Однако патриотизм столь высокой марки был мало кому доступен в Англии; с тех пор как началась распря, американцев у нас готовы были съесть живьем: стоило нам услышать о Лексингтонской битве и о нашей "славной победе при Банкер-хилле" (как писали в те дни), и вся нация, как говорится, вспылала гневом, Все ополчились на философов, всеми овладели верноподданнические чувства, и только когда была увеличена земельная подать, среди сельского дворянства пошел глухой ропот. Невзирая на это, мои сторонники и слышать не хотели о Типтофах; я решил начать борьбу и, как всегда, победил.

Старый маркиз гнушался тех разумных и долговидных мер, без которых не обходится ни одна избирательная кампания. Он объявил корпорации и фриголдерам свое намерение выставить кандидатуру лорда Джорджа, а также свое желание, чтобы он был избран от местечка Типплтон, но не поставил своим сторонникам и кружки пива, дабы смочить их преданность, тогда как я сами понимаете — заручился содействием всех

питейных заведений в Типплтоне.

Здесь незачем рассказывать историю выборов — об этом писалось десятки раз. Достаточно сказать, что я вырвал местечко Типплтон из когтей лорда Типтофа и его сына, лорда Джорджа. С чувством свирепого удовлетворения заставил я жену (как я уже рассказывал, она одно время была сильно увлечена своим родственником) открыто против него выступить: ей пришлось в день выборов надеть и раздавать мои цвета. Когда дело дошло до речей, я сообщил избирателям, что в свое время одержал над лордом Джорджем верх в любви и побил его на поединке, а теперь намерен побить на выборах; и это я и сделал, как показали дальнейшие события; ибо, к невыразимому гневу старого маркиза, Барри Линдон, эсквайр, был избран депутатом от Типплтона на место скончавшегося Джона Ригбн, эсквайра; я еще пригрозил старику, что на следующих выборах отберу у него оба места, после чего отправился в Лондон, чтобы приступить к своим парламентским обязанностям.

Вот тогда-то я и начал серьезно подумывать о том, чтобы добиться титула ирландского пэра, дабы передать его моему возлюбленному сыну и наследнику.

## **Глава XVIII, из которой читатель увидит, что счастье мое заколебалось**

Быть может, найдутся недоброжелатели, склонные осудить эту повесть как безнравственную (до меня не раз доходили толки, будто судьба наградила меня не по заслугам), — но я попрошу этих критиканов дочитать мои приключения до конца, и они увидят, что я ухватил не слитком завидный приз и что богатство, роскошь, тридцать тысяч годовых и кресло в парламенте порой достаются чересчур дорогой ценой, когда ради них лишаешься свободы и обзаводишься такой обузой, как докучливая жена.

Нет большей пытки, чем докучливая жена, — и это святая истина. Кто не побывал в моей шкуре, понятия не имеет, какое это удручающее, изводящее бремя и как оно год от году все больше гнетет и давит, так что уж и сил нет терпеть, и если вы первый год с ним еще справлялись, то лет через десять оно становится невыносимым. Мне рассказывали притчу, пропечатанную в толстом словаре, будто некий человек в глубокой древности наладился каждый день таскать в гору теленка на собственной спине, да так приобык, что теленок сделался уже здоровенным быком, а он по-прежнему не замечал своей ноши; поверьте же, молодые неженатые люди, жена — это более тяжкий груз, чем самая откормленная смитфильдская телка, и если мой печальный пример остережет хотя бы одного из вас от женитьбы, значит, "Записки Барри Линдона, эсквайра" достигли своей цели.

И не то чтобы леди Линдон была ворчуньей или злокой, как иные жены, от этого я бы ее живо вылечил — пет, зато она вечно кисла, ныла, плакала, привередничала, всего пугалась, от всего приходила в отчаяние — а для меня ничего хуже быть не может; хоть в лепешку расшибись, ни за что она не будет весела и довольна. Нянчиться с ней мне было не с руки, а так как дома жилось не слишком приятно, то и не удивительно, что при моем характере я стал искать развлечений и общества на стороне, и тут к ее прочим недостаткам прибавилась омерзительная ревность; стоило ей увидеть, что я оказываю хотя бы пустячное внимание другой женщине, как миледи Линдон пускалась в рев, ломала руки, клялась, что покончит с собой, — словом, молола невесть что.

Смерть ее не принесла бы мне облегчения, как легко поймет всякий



здравомыслящий человек; ведь стервец Буллингдон (тем временем превратившийся в высококого, неуклюжего черномазого детину и грозивший стать истинным моим проклятием) должен был унаследовать все ее состояние до последнего пенни, и я сделался бы беднее, чем был, когда женился на вдове; ибо я истратил не только доходы леди Линдон, но и все мои личные сбережения на то, чтобы поддерживать образ жизни, подобающий нашему рангу, и как истый джентльмен по духу и крови и думать не думал о каких-либо сбережениях из доходов моей жены.

Да будет же сие ведомо моим хулителям, и пусть не говорят будто я мог бы промотать состояние леди Линдон, не заведись у меня потайной карман, и что даже и сейчас, пребывая в столь бедственном положении, я где-то храню груды золота и могу при желании явиться миру Крезом. Когда я закладывал имущество леди Линдон, я каждый полученный грош тратил как подобает джентльмену; мало того, я много денег задолжал частным лицам, и все это ухнуло в ту же прорву. Помимо долгов и просроченных вкладных, я самому себе остался должен по меньшей мере сто двадцать тысяч фунтов, истраченных за то время, что я управлял имуществом моей жены; можно по справедливости сказать, что на ее имуществе лежит еще и долг мне на означенную сумму.

Я уже говорил здесь, какое отвращение и гадливость внушала мне леди Линдон, но хотя, как человек прямой и откровенный, я особенно не скрывал моих чувств, эта низкая женщина преследовала меня своей любовью, невзирая на всю мою холодность, и готова была растаять при первом моем ласковом слове. Все дело в том, уважаемый читатель, что, говоря между нами, я был одним из самых красивых и блестящих молодых людей в Англии той поры и жена любила меня без памяти; и хоть это могут счесть за нескромность, должен сказать, что леди Линдон была не единственной дамой из общества, благосклонно взиравшей на смиренного ирландского искателя приключений.

"Что за диковинные существа женщины!" — думал я не раз. Мне доводилось видеть, как изящнейшие нимфы Сент-Джеймского квартала сходили с ума по грубым, вульгарным мужланам; как умные и образованные леди вешались на шею невежественным оболтусам — и так далее. Эти причудницы поистине сотканы из противоречий! Отсюда не следует, что сам я вульгарен и невежествен, как упомянутые лица (я горло готов перерезать всякому, кто хоть намеком усомнится в достоинстве моего происхождения и воспитания!), я только хочу пояснить, что у леди Линдон было достаточно оснований меня ненавидеть, но, как всякая женщина, она жила не разумом, а чувством и до самых последних дней нашей

совместной жизни готова была броситься мне на шею, стоило заговорить с нею чуть ласковей.

— Ах, — восклицала она в подобные минуты нежности, — ах, Редмонд, если б ты всегда был таким!

Во время этих приступов любви она была самым покладистым существом на свете и отписала бы мне все свое имущество, будь это возможно. И, надо признать, достаточно было малейшего внимания, чтобы привести ее в отличное расположение духа. Стоило мне пройтись с ней по Молл, заехать в Ранела, проводить ее в церковь св. Иакова или подарить ей какую-нибудь безделку, и она расцветала. Но таково непостоянство женщин, что уже на следующий день она могла называть меня мистер Барри и оплакивать свою злосчастную судьбу, соединившую ее с чудовищем: так она обзывала одного из самых блестящих мужчин всех трех королевств его величества. Смею вас уверить, другие дамы были куда более лестного обо мне мнения.

Бывало и так, что она грозилась со мной расстаться; но я крепко держал ее в руках благодаря нашему мальчику, которого она страстно любила — не понимаю почему: ведь она всегда пренебрегала старшим сыном и нимало не заботилась о его здоровье, благополучии или образовании.

Наш малыш был единственной связью между мной и ее милостью, только им и держался наш союз, и не было таких честолюбивых планов, касающихся Брайена, которых она бы не одобрила, и расходов, на которые не согласилась бы для его будущей карьеры. Каких мы только не раздавали взятки — в том числе и в самые высокие инстанции, в непосредственной близости к трону! Вы удивились бы, назови я вам высокопоставленных лиц, соизволивших принять наши дружеские подношения. Я раздобылся как в английской, так и в ирландской Геральдических палатах самым точным описанием и подробной родословной баронского рода Барриогов и почтительнейше просил восстановить меня в моих наследственных правах, а также пожаловать мне титул виконта Баллибарри. "Этим кудрям так пристанет корона", — говорила моя жена, в минуты нежности приглаживая мне волосы; да и в самом деле: в семействе лордов немало найдется ничтожных самозванцев, которые не могут похвалиться ни моей храбростью, ни моей родословной, ни многими другими моими преимуществами.

Погоня за званием пэра была, как я считаю, одним из самых неудачных моих начинаний той поры. Она стоила неслыханных жертв. Я раздаривал — кому деньги, кому брильянты; приобретал землю по цене, в десять раз

превышающей ее стоимость; покупал картины и драгоценности, платя за них бешеные суммы; задавал обеды и приемы лицам, поощрявшим мои честолюбивые замыслы и, по своей близости к трону, способным их поддержать; проигрывал пари великим герцогам, братьям его величества, — но об этом лучше молчок: я не хочу из-за личных обид быть заподозренным в недостаточной преданности трону.

Единственный во всей этой истории, кого я решаюсь назвать открыто, это Густав Адольф, тринадцатый граф Крэбс, старый негодяй и мошенник. Будучи приближен к особе нашего обожаемого монарха, он пользовался личным его покровительством. Столь доброе расположение возникло еще во времена покойного короля: его высочество принц Уэльский, в бытность свою в Кью, играя с юным лордом в волан на площадке парадной лестницы, разгневался на что-то и столкнул его вниз, причем тот сломал ногу. Движимый сердечным раскаянием, принц приблизил пострадавшего к своей особе, и, когда его величество вступил на престол, граф Бьют, по словам придворных, ни к кому так не ревновал короля, как к лорду Крэбсу. Последний был небогат, но склонен к мотовству, и Бьют, стараясь убрать его подальше, отправлял графа то в Россию, то в другие посольства. После падения фаворита, Крэбс снова вернулся в Англию и сразу же получил назначение при особе короля.

С этим-то придворным, пользовавшимся самой незавидной славой, я и свел знакомство, когда, будучи еще наивным простаком, впервые обосновался в Лондоне после женитьбы; а так как Крэбс был занятнейшим человеком, я с удовольствием проводил с ним время, не говоря уже о том, что был у меня и прямой интерес в дружбе придворного, столь близкого к высочайшей особе государства.

Если верить этому субъекту, не было такого королевского рескрипта, к которому он не приложил бы руку. Он сообщил мне об отставке Чарльза Фокса за день до того, как о ней услышал сам бедняга Чарли. Он сообщил мне о возвращении из Америки братьев Гау и о том, какие предстоят назначения в тамошнем командовании. Короче говоря, я главным образом на Крэбса возложил свои надежды на получение титула барона Барриогского и виконта Баллибарри.

Особенно больших издержек в связи с моими честолюбивыми планами потребовало снаряжение и вооружение роты пехотинцев, набранных в Хэктоне, Линдоне и других моих ирландских поместьях, — я сам вызвался поставить ее моему милостивому монарху для его кампании против американских мятежников. Эти солдаты, великолепно снаряженные и одетые, были отправлены из Портсмута в 1778 году, и патриотические

чувства джентльмена, принесшего такую жертву на алтарь отечества, были столь угодны его величеству, что, когда лорд Норт представлял меня ко двору, его величество удостоил вашего покорного слугу милостивым замечанием: "Весьма похвально, мистер Линдон; поставьте нам еще одну роту, да и сами с ней отправляйтесь!" Однако последнее, как понимает читатель, не входило в мои расчеты. Человек, получающий тридцать тысяч годового дохода, должен быть дураком, чтобы рисковать жизнью, как последний нищий; я всегда ставил в образец моего друга корнета Джека Болтера, отменною кавалериста и храброго воина, который с готовностью участвовал в любой стычке, любой драке — до тех пор, пока накануне битвы под Минденом не пришло известие, что дядюшка его, крупный военный интендант, приказал долго жить и завещал ему пять тысяч годовых. Джек, нимало не медля, подал в отставку, а так как дело было накануне генерального сражения и просьбу его отказались уважить, он не посмотрел ни на что и ушел сам. С тех пор Джек Болтер не брал в руки оружия, за исключением одного случая: какой-то офицер бросил ему обвинение в трусости, и Джек с такой холодной решимостью прострелил ему правую руку, что весь свет убедился: не трусость заставила его уйти из армии, а единственно благоразумие и желание насладиться своим богатством.

Когда набиралась Хэктонская рота, мой пасынок, достигший шестнадцатилетнего возраста, изъявил горячее желание в нее вступить, и я с удовольствием отпустил бы молодца, лишь бы от него избавиться, однако его опекун лорд Типтоф, старавшийся пакостить мне во всем, не соизволил дать ему разрешение и помешал малому проявить свои воинственные наклонности. Если бы он присоединился к этой экспедиции и пал в Америке от пули мятежника, я, признаюсь, не стал бы горевать; для меня было бы великой радостью увидеть моего сына наследником состояния, которого отец его добился с таким трудом.

Сказать по правде, образование молодой лорд получил не ахти какое, я, пожалуй, и впрямь держал его в черном теле. Он был такого неукротимого, дикого нрава, так непослушен по природе, что я никогда не питал к нему добрых чувств; в присутствии моем и матери он всегда производил впечатление угрюмого тупицы, — я считал, что никакие занятия ему не помогут, и большую часть времени он был предоставлен самому себе. Два года он прожил в Ирландии вдали от нас; когда же приехал в Англию, мы держали его преимущественно в Хэктоне, считая неудобным вводить такого неотесанного малого в изысканное столичное общество, где сами, естественно, вращались. Мой же бедный мальчик был,

напротив, на редкость милый и воспитанный ребенок; нам доставляло истинную радость всячески его баловать и отличать; плутишке еще и пяти лет не минуло, а он был уже образцом светского изящества, блистал утонченным воспитанием и, красотой.

Да он, собственно, и не мог быть другим, принимая во внимание наши заботы, мы ничего не жалели для него. Когда Брайену исполнилось четыре года, я поссорился с его няней-англичанкой, к которой так ревновала меня жена, и вверил его попечениям французенки-гувернантки, жившей в самых аристократических домах Парижа. Леди Линдон, разумеется, и к ней меня приревновала. Под руководством этой молодой женщины мой плутишка стал премило болтать по-французски.

Сердце радовалось слушать, как маленький мошенник ругается: "Mort de ma vie!" — или, топя пухленькой ножкой, посылает этих "manants" и "canailles", наших слуг, к "trente mille diables". Да и вообще он был развит не по летам — еще крошкой научился всех передразнивать; пяти лет, сидя с нами за столом, выпивал свое шампанское не хуже взрослого. Новая воспитательница научила его французским песенкам и последним парижским куплетам Ваде и Коллара, прелесть что за куплеты! — и все, знающие по-французски, хватались за бока, тогда как аристократические вдовы, посещавшие его мамашу, приходили в ужас. Правда, мы не часто видели у себя этих почтенных дам, — я не очень поощрял визиты так называемых респектабельных гостей, навещавших леди Линдон. Несносные критиканы и сплетники, завистливые, ограниченные людишки, они только нагоняют тоску и сеют рознь между мужем и женой. Когда эти почтенные кикиморы в кринолинах и туфлях на высоком каблуке появлялись у нас в гостиной — в Хэктоне или на Беркли-сквер, — у меня не было большего удовольствия, как обращать их в бегство; я заставлял малютку Брайена петь и плясать, производя неистовый шум, к которому и сам присоединялся для пущей острастки.

Никогда не забуду торжественных увещаний нашего приходского пастора, старого педанта, который затеял было обучать Брайена латыни. Иногда я разрешал малышу играть с многочисленным пасторским потомством, и сметливые ребята живо переняли у него несколько французских песенок, чем их мамаша, больше смыслившая в солениях и маринадах, чем во французской словесности, немало гордилась. Но как-то их услышал отец, и дело кончилось тем, что мисс Сарре прописали неделю строгого домашнего ареста и посадили ее на хлеб и воду, а мастера Джейкоба отец отодрал в присутствии всех братьев и сестер и на глазах у мастера Брайена, в надежде, что это зрелище послужит ему уроком. Однако

мой плутишка, придя в исступление, набросился на почтенного пастора и ну молотить его руками и ногами, требуя, чтобы милочку Джейкоба не смели трогать, и осыпая его мучителя градом французских ругательств, вроде "corbleu, morbleu, ventre-bleu" и т. п. Пришлось обратиться к помощи псаломщика, чтобы унять расходившегося шалуна. После этого происшествия его преподобие заказал Брайену дорогу в пасторский дом; в ответ я поклялся, что старший его сын, готовившийся стать пастором, не получит после отца Хэктонского прихода, хоть это и считалось у нас делом решенным; на что онный отец с тем ханжески лицемерным видом, коего я не переношу, заявил, что, мол, "да сбудется воля господня", а он, пастор, даже ради епископской кафедры не позволит портить и развращать своих детей, а также написал мне торжественное велеречивое послание, уснастив его латинскими цитатами, где прощался со мной и со всем моим семейством. "Я решился на этот шаг с величайшим прискорбием, — добавил в заключение старый джентльмен, — ибо я видел от Хэктонского дома немало дружеского расположения. Сердце у меня сжимается при мысли о предстоящей разлуке. Боюсь, как бы мои бедняки в приходе не осиротели оттого, что оборвется между нами связь, ведь я уже не смогу доводить до вашего сведения особенно тяжелые случаи людской нужды и горя; ибо, надо отдать вам должное, когда мне удавалось указать вам на них, вы не оставляли мое заступничество втуне".

Может, в этом и была доля правды: старый джентльмен вечно донимал меня просьбами; кроме того, мне доподлинно известно, что в доме у него частенько не было денег, так как он готов был последним шиллингом поделиться со своими бедными. Впрочем, я сильно подозреваю, что не менее жаль ему было добрых хэктонских обедов; мне также известно, что пасторша чрезвычайно дорожила знакомством с мадемуазель Луизон, весьма осведомленной по части последних французских мод; когда бы мадемуазель ни навещала пасторский дом, глядишь, в следующее воскресенье пасторские дочери обязательно щеголяют в чем-нибудь новеньком.

Бывало, чтобы проучить старого неслуха, я задавал храповицкого на нашей скамье во время его воскресной проповеди. Когда же Брайен настолько подрос, что мог обходиться без женского ухода и присмотра, я нанял ему гувернера, а для себя в том же лице — домашнего священника. Няню-англичанку я выдал за старшего садовника, снабдив ее приличным приданым, тогда как французенку-гувернантку милостиво препоручил моему верному Фрицу, также позаботившись об их благосостоянии. На эти деньги они открыли в Сохо французскую столовую, и теперь, когда я пишу

эти строки, они, верно, куда богаче благами земными, чем я, их щедрый, расточительный хозяин.

Новым гувернером Брайена был его преподобие Эдмунд Лэвендер, только что со школьной скамьи в Оксфорде. В его обязанности входило обучать Брайена латыни, когда мальчик будет в настроении, а также преподавать ему начатки истории, грамматики и других полезных джентльмену наук. Лэвендер оказался ценным приобретением в хэктонском обиходе. С ним у нас закипело веселье. Он стал излюбленной мишенью для наших шуток и проделок, снося их со смирением истинного подвижника. Лэвендер принадлежал к тому сорту людей, которые готовы терпеть пинки от важных господ, лишь бы те их замечали; я часто бросал его парик в камин на глазах у всего общества, и он смеялся вместе с нами. Нашей любимой забавой было посадить его на горячую лошадь и отправить следом за гончими; бледный как мел, обливаясь потом, он судорожно цеплялся за гриву и круп коня и умолял остановить охоту; просто чудо, что он остался жив, — должно быть, судьба берегла его шею для виселицы. Ни разу не приключилось с ним ничего серьезного. За обедом вы всегда находили его на обычном месте за нижним концом стола, приготовляющим пунш, а оттуда его еще до рассвета замертво относили в постель. Мы с Брайеном пользовались этим, чтобы разрисовать ему физиономию углем. Спать его укладывали в комнате, где будто бы водились привидения; напускали в постель полчища крыс; наливали воды в сапоги и потом

будили криками: "Пожар, горим!"; подпиливали ножки у кресла, в котором он произносил свои проповеди, и насыпали в требник нюхательного табаку. Бедняга Лэвендер все сносил с примерным терпением, зато, когда у нас бывали гости или когда сами мы ездили в Лондон, ему не возбранялось сидеть с господами за одним столом и воображать себя членом избранного общества. Надо было слышать, с каким презрением он отзывался о нашем бывшем пасторе:

— Сын его работает служителем в колледже, там, где учится, — подумайте, служитель, да еще в захолустном колледже, — говаривал он с издевкой, — не понимаю, сэр, как вы такого неотесанного деревенщину прочили в Хэктонский приход?

А теперь мне следует рассказать о другом моем сыне, — вернее, сыне миледи Линдон, — виконте Буллингдоне. Несколько лет он провел в Ирландии под надзором моей матушки, которую я поселил в замке Линдон. Я поручил ей управлять замком и поместьем, и надо было видеть, с каким торжеством добрая душа взялась за дело, откуда только бралась у нее эта важность, эта барственная повадка! Однако, при всех ее чудачествах, в

поместье скоро воцарился порядок, какого не наблюдалось в других наших имениях. Аренда поступала исправно, а расходы по ее взысканию были несравненно меньше, чем при любом управляющем. Удивительно, какими небольшими средствами обходилась вдова, хоть и уверяла, что с честью поддерживает достоинство обеих фамилий. Она завела для молодого лорда особый штат слуг; никогда не выезжала иначе, как в золоченой карете цугом; держала весь дом в ежовых рукавицах; вся мебель и утварь были в прекрасном состоянии, сады, огороды ухожены; разъезжая по Ирландии, мы ни у кого не видели более благоустроенного хозяйства, чем наше. Десятка два расторопных горничных и с половину этого числа аккуратных, подтянутых слуг поддерживали чистоту в замке, — словом, все было в образцовом порядке, повсюду чувствовался глаз рачительной хозяйки. Всего этого матушка достигала, почти не спрашивая с нас денег, так как в парках у нее паслись овцы и коровы, приносившие ей немалый доход. Она поставляла в соседние городки масло и бекон, а фрукты и овощи, выращенные в садах замка Липдон, продавались на дублинском рынке по самой высокой цене. На кухне у нее все расходовалось с толком, провизия не пропадала попусту, как обычно в ирландских семьях, запасы в винных погребах не уменьшались, так как хозяйка пила только воду и редко у себя кого принимала. Единственное ее общество составляли две дочери старинной моей пассии Норы Брейди, ныне миссис Квин.

Достойная пара эта прожила все свое состояние, и однажды Нора явилась ко мне совершеннейшей распустехой, постаревшая и растолстевшая, ведя за руку двух чумазых ребятишек. Увидев меня, она залилась слезами, упорно величала меня "сэр" и "мистер Линдон", чему я отнюдь не противился, и просила помочь ее мужу, что я и выполнил, исхлопотав для него через моего друга Крэбса место акцизного чиновника в Ирландии и оплатив проезд всей семьи. Квин производил впечатление опустившегося, слезливого пьяницы, а глядя на бедняжку Нору, я только диву давался, вспоминая, что когда-то она казалась мне богиней. Но такая уж у меня натура: если женщина мне приглянется, я на всю жизнь остаюсь ее верным другом, я мог бы представить вам тысячу доказательств моей неизменной щедрости и преданности.

Юный Буллингдон был, пожалуй, единственный человек, с кем матушка была не в силах сладить. Ее донесения о своем юном питомце причиняли сперва немало горя моему родительскому сердцу. Этот молодчик никого и ничего не признавал, на него не было никакой управы. Он неделями где-то пропадал охотился или шатался по округе. Когда же сидел дома, к нему подступа не было: он ни с кем не разговаривал,



держался особняком, по вечерам отказывался играть с матушкой в пикет, предпочитая корпеть над старыми затхлыми книгами, забивая себе голову всякой ерундой; часами болтал с горничными и вольтинщиками в людской и смеялся их грубым шуткам, зато носа не казал в гостиную, когда, случалось, завернет кто из окрестных дворян. Миссис Барри он высмеивал и всячески задибал, доводя ее до белого каления, короче, вел жизнь самую беспутную и заторную. В довершение сей шалопай повадился к католическому священнику нашего прихода, нищему прощельге, выученику какой-то папской семинарии не то во Франции, не то в Испании, тогда как пастора замка Линдон упорно сторонился, а уж на что это был душа человек: окончил колледж Святой Троицы, держал собственных собак и каждый день выпивал свои две бутылки.

Забота о спасении души моего пасынка заставила меня без колебания решиться на более крутые воспитательные меры. Если есть у меня правило, которому я следую неуклонно, то это уважение к установленной церкви, а также искреннее презрение и ненависть к другим религиям. Я отрядил в 17.. году моего камердинера-француза, в Дублин с наказом немедленно доставить юного отступника под родительский кров. И мой посланец рапортовал мне по возвращении, что негодный мальчишка последнюю ночь в Ирландии провел со своим другом-папистом в его часовне; что у него с моей матушкой произошла в тот день бурная сцена, но что с племянницами ее Бидди и Доузи он, напротив, расцеловался на прощание и что обе леди весьма сожалели о его отъезде; когда же ему предложили проститься с пастором, он отказался наотрез, заявив, что ноги его не будет в доме старого фарисея. Почтеннейший доктор в особом послании предостерегал меня против прискорбных заблуждений этого пащенка сатаны, как он выразился, из чего я заключил, что чувства их друг к другу взаимны. Однако если Буллингдон не поладил с местным дворянством, то в простом народе он, видимо, пользовался любовью. Целая толпа плачущих крестьян собралась у ворот замка проститься с юным лордом; десяток-другой этих темных, невежественных парий бежали несколько миль рядом с каретой, а кое-кто даже заблаговременно поскакал в Дублин и ждал у Пиджен-хауса, чтобы помахать отъезжающему напоследок. Нашлись даже сорвиголовы, пытавшиеся тайком забраться на судно, в чаянии проводить своего юного лорда до самой Англии, но этому, хоть и не без труда, удалось помешать.

Надо отдать негодяю должное: когда он снова появился среди нас, это был рослый, мускулистый юноша благородной наружности; все в его облике и манерах свидетельствовало о высоком происхождении. Он был живой копией темноволосых кавалеров рода Линдонов, чьи портреты

висели по стенам Хэктонской галереи. Буллингдон обычно проводил время здесь, зачитываясь старыми пыльными книгами, которые он откапывал в библиотеке, — уж эти мне книги, с души воротит, когда вижу их в руках у бравого молодого человека! В моем присутствии он хранил угрюмое молчание и смотрел на меня с презрительным высокомерием, тем более меня уязвлявшим, что в его поведении, казалось, нет ничего такого, к чему можно было бы придраться, а вместо с тем во всем его тоне, во всей повадке сквозила какая-то наглая заносчивость. Мать его была крайне взволнована встречей, но если у сына и шевельнулось в душе ответное чувство, то он ничем его не обнаружил. Целуя ее руку, он отвесил ей очень низкий, церемонный поклон; когда же я протянул ему свою, заложил обе руки за спину, уставился мне в лицо и слегка кивнул со словами: "Мистер Барри Линдон, я полагаю?" — и сразу же повернулся на каблуках и заговорил с матерью о погоде, все время называя ее: "Ваша милость!" Мать рассердилась на него за дерзость и, едва они остались одни, стала упрекать, зачем он не пожал отцу руки.

— Отцу, сударыня? — переспросил он. — Смею вас уверить, вы ошибаетесь. Моим отцом был достопочтенный сэръ Чарльз Линдон. Я, по крайней мере, не забыл его, если забыли другие.

Это было объявлением войны, и я сразу это понял; хотя, по чести сказать, готов был дружески встретить мальчика при его возвращении и постарался бы с ним ужиться. Но как люди со мной, так и я с ними. Кто может поставить мне в вину наши дальнейшие ссоры или возложить на меня ответственность за все последующие несчастья? Возможно, я иногда терял терпение и крутенько с ним обходился. Но начал ссору не я, а он, и пусть вина в наших дальнейших злоключениях падет на его голову.

Известно, что порок надо убивать в зачатке, а родительскую власть проявлять так, чтобы она не вызывала никаких сомнений, а потому я решил схватиться с мастером Буллингдоном, не откладывая дела в долгий ящик. На следующий же день по его приезде, придравшись к тому, что он отказался выполнить какое-то мое требование, я велел отвести его в мой кабинет, где и вздул как следует. Признаться, я не без волнения приступал к этой операции, — мне еще не доводилось поднимать плеть на лорда, — но вскорости привык: его спина и моя плетка свели такое тесное знакомство, что я окончательно перестал с ним церемониться.

Если бы я перечислил здесь все случаи непослушания и непозволительной грубости юного Буллингдона, я только утомил бы читателя. Негодяй, пожалуй, еще больше упорствовал в своей строптивости, чем я в родительском усердии. Ибо как бы человек ни был

тверд в выполнении долга, не может он с утра до вечера пороть своих детей за каждый их проступок; и хотя обо мне пошла слава как о не в меру жестоком отчине, по чести сказать, я куда чаще манкировал своими обязанностями, чем их выполнял. К тому же Буллингдон на целых восемь месяцев в году был от меня избавлен, когда я уезжал из Хэктона, чтобы занять свое место в парламенте и при дворе его величества. В ту пору я не мешал ему брать уроки из латыни и греческого у нашего пастора: старик крестил Буллингдона и имел кое-какое влияние на этого оголтелого упрямца. Обычно после наших стычек или размолвок юный мятежник искал совета и убежища в пасторском доме, и, надобно признать, пастор рассуживал нас по справедливости. Однажды он за руку привел мальчишку обратно в Хэктон, после того как тот поклялся не переступить родной порог, покуда я жив. По словам пастора, он уговорил молодого лорда повиниться и претерпеть любое наказание, какое мне угодно будет на него наложить. Я тут же избил его тростью на глазах у нескольких друзей, с которыми выпивал, и, надо отдать бездельнику должное, он вынес суровое наказание, не поморщившись. Кто скажет, что я чересчур жестоко обходился с моим пасынком, если даже священник не возражал против моих воспитательных мер?

Раза два гувернер Брайена, Лэвендер, тоже покушался наказать лорда Буллингдона, но нарвался на отпор: негодяй так огрел его стулом, что бедный оксфордский выученик растянулся на полу, к великому восторгу плутишки Брайена, кричавшего: "Браво, Булли, всыпь ему как следует!" Булли и всыпал гувернеру в полное его удовольствие, и тот уже никогда больше не прибегал к рукоприкладству, а лишь доносил о провинностях молодого лорда мне, своему естественному покровителю и защитнику.

С братцем Буллингдон, как ни странно, неплохо ладил. Он полюбил малыша, как, впрочем, каждый, кто видел мое сокровище, и говорил, что Брайен тем ему дорог, что он "наполовину Линдон". А впрочем, не удивительно, что он привязался к ребенку: не раз бывало, что по заступничеству моего ангельчика: "Папочка, не бей Булли сегодня!" — я удерживал расходившуюся руку, избавляя бездельника от порки, которой он вполне заслуживал.

Родительницу свою Буллингдон на первых порах почти не удостоивал внимания, говоря, что она отступилась от семьи. "Мне не за что любить ее, говаривал он, она никогда не была мне матерью". Чтобы дать читателю представление об этом нестерпимо упрямом и угрюмом характере, приведу здесь еще одну блажь Буллингдона. Меня, обвиняли в том, что я, отказывая ему в образовании, приличествующем джентльмену, не посылал его ни в

колледж, ни даже в школу; однако таково было его собственное желание. Я не раз предлагал ему ехать учиться (мне было бы только на руку видаться с ним как можно меньше), но он решительно отклонял мое предложение, и я долго не мог понять, какие чары удерживают его дома, где жизнь у него сложилась далеко не легкая.

Объяснение пришло спустя годы. Мы с леди Линдон частенько не ладили отчасти по моей, отчасти по ее вине; и так как никто из нас не отличался ангельским характером, дело доходило и до крупных перепалок. Я обычно бывал под мухой, а какой джентльмен в подобном состоянии отвечает за свои поступки? Возможно, мне и случалось в подпитии обойтись с миледи несколько бесцеремонно: я мог разок-другой запустить в нее стаканом или обозвать нехорошим словом. Я мог даже пригрозить, что убью ее (хотя какой мне был интерес ее убивать), словом, задавал ей страху.

Во время одной такой ссоры, когда она с криком бежала по коридорам, а я, спотыкаясь, преследовал ее, пьяный в дым, как и полагается лорду, Буллингдон выбежал из своей комнаты, по-видимому, привлеченный шумом и возней, и как только я ее настиг, наглец подставил мне ножку, хоть я и без того был нетверд на ногах, и, обняв перепуганную до смерти мать, увлек ее в свою комнату; здесь, по ее горячей просьбе, он поклялся не уезжать из дому, доколе она связана со мной. Я понятия не имел ни об этой клятве, ни о пьяном скандале, который ей предшествовал; меня, как говорится, в бесчувствии подобрали слуги и отнесли в постель, и наутро я столько же помнил, что произошло накануне, как если бы это было со мной в далеком младенчестве. Леди Линдон спустя много лет рассказала мне эту историю, и я привожу ее здесь в доказательство того, сколько напраслины возвели на меня мои хулители, обвиняя в жестокости к пасынку. Пусть посмеют теперь заступиться за бессовестного грубияна, который мог подставить ножку своему богоданному опекуну и отчиму, отяжелевшему после обеда.

Этот случай несколько сблизил мать и сына, но слишком они были разные люди. Мне думается, она чересчур меня любила, чтобы искренне с ним помириться. По мере того как Буллингдон подрастал, его ненависть ко мне приняла и вовсе непозволительный характер (разумеется, я возвращал ее с процентами); примерно году на семнадцатом этот наглый сорвиголова как-то летом, — я только что вернулся домой после парламентской сессии и собирался высечь его за какую-то провинность, — дал мне понять, что он больше не потерпит такого обращения, и поклялся, скрежеща зубами, застрелить меня, если я еще раз посмею поднять на него руку. Я посмотрел

на малого, — он был уже совсем мужчина; и пришлось мне махнуть рукой на эту необходимейшую сторону его воспитания.

Все это совпало со временем, когда я набирал роту для нашей американской армии; и тут мои враги в графстве (а после победы над Типтофом их было у меня немало) окончательно распоясались: они стали распространять бессовестные небылицы насчет моего обращения с негодным шалопаем, моим драгоценным пасынком, утверждая, будто я намерен от него избавиться. Мою преданность престолу истолковали в том смысле, будто я одержим нечестивым, противоестественным желанием извести молодца, будто я и роту набираю, чтобы поставить во главе ее молодого виконта и тем вернее от него отделаться. Чуть ли не называли человека в отряде, коему якобы я поручил с ним расправиться в первом же крупном сражении, и сумму, которую я обещал ему за столь щекотливую услугу.

На самом деле я уже тогда держался мнения (и пусть мое пророчество покуда не сбылось, я верю, оно сбудется, рано или поздно), что милорду Буллингдону не потребуется моя помощь для переселения в лучший мир: он со своим характером сам найдет туда дорогу и последует по ней очертя голову. Он, кстати, и ступил на нее достаточно рано: из всех неумных, отчаянных ослушников и негодяев, когда-либо огорчавших родительское сердце, он был, конечно, самый неисправимый; хоть бей его, хоть умоляй, хоть кол на голове теши — ничего не помогало.

Так, например, когда мы, бывало, сидим после обеда за бутылкой вина, милорд, выбрав время, когда гувернер приведет Брайена, принимался отпускать по моему адресу кощунственные, недопустимые колкости.

— Сокровище мое, — говорил он, лаская и целуя малыша, — какая жалость, что я все еще стою у тебя на дороге! Что бы мне убраться на тот свет! У Линдонов был бы более достойный представитель; ведь в твоих жилах течет славная кровь рода Барри из Барриога, не правда ли, мистер Барри Линдон?

Разумеется, он заводил свои дерзкие речи именно в те дни, когда к нам заезжал кто-нибудь из окрестных священников или дворян.

В другой раз — был день рождения Брайена, и мы задали в Хэктоне пир горой — все ждали появления виновника торжества, очаровательного в своем пышном придворном костюмчике (увы мне! слезы и сейчас навертываются на мои старые глаза, как вспомню это милое сияющее личико); гости столпились у дверей, и шепот пробежал по рядам, когда в зал (поверите ли?) в чулках вошел Буллингдон, ведя за руку малютку, шлепавшего в огромных, не по ноге, башмаках старшего брата. "Не правда

ли, сэр Ричард Уоргрейв, мои башмаки как раз ему впору?" — заявил бездельник, обращаясь к одному из гостей; все переглянулись, послышался смех и ропот, и тогда мать с большим достоинством подошла к лорду Буллингдону, подняла меньшого сына на руки и, прижав к груди, сказала: "По тому, как я люблю этого ребенка, милорд, вы можете судить, как я любила бы его старшего брата, если бы он заслуживал материнской привязанности!" Сказав это, она зарыдала и покинула зал, оставив на сей раз молодого лорда в некотором замешательстве.

Но однажды он так допек меня (это случилось на охоте, и свидетелей было больше чем достаточно), что я, потеряв всякое терпение, направил лошадь прямо на него, изо всей силы столкнул его с коня, а потом спрыгнул наземь и так отделал плетью голову и плечи мерзавца, что прикончил бы на месте, если бы нас не растащили. Я уже не владел собой и в эту минуту был готов на любое преступление.

Буллингдона увезли домой и уложили в постель. Два дня он провалялся в горячке — скорее от бессильной злобы и обиды, мне думается, чем от полученных побоев; а еще три дня спустя слуга, вошедший в спальню спросить, не благоугодно ли ему спуститься вниз к обеду, нашел кровать пустой и холодной, а на столе увидел записку. Юный злодей сбежал, и у него еще достало наглости написать моей жене, а своей матери, следующее послание.

"Сударыня, — гласило письмо, — я терпел, сколько было сил человеческих, помыкательство гнусного ирландского выскочки, с коим вы делите ложе. Но не так низкое его происхождение и несносная вульгарность манер внушают мне отвращение и ненависть, и они не угаснут в моей груди, пока я ношу имя Линдонов, коего он недостоин, — как его позорное обращение с вашей милостью: грубые, подлые выходки, открытые измены, распутство, пьянство, беззастенчивое мотовство, расхищение моего и вашего имущества. Его подлое издевательство над вами возмущает меня куда больше, нежели бесчестное обращение со мной. Помня свое обещание, я не покинул бы вас, если бы не видел, что за последнее время вы снова, предались ему; и поскольку я лишен возможности проучить подлеца, который, к нашему общему стыду, зовется супругом моей матери, но и не в силах глядеть, как он помыкает вами, и сносить его общество, которое так меня гнетет и мучит, что я сторонюсь его как чумы, то и вижу себя вынужденным покинуть родину — до окончания его презренной жизни либо моей. От покойного отца я унаследовал небольшую ренту, которую мистер Барри, разумеется, захочет у меня отнять, но вы, ваша милость, если в вас осталась хоть капля

материнских чувств, быть может, отдадите ее мне. Благоволите же распорядиться, чтобы господа Чайльды, банкиры, выплачивали ее мне по первой просьбе; впрочем, если они не получают от вас такого указания, я нисколько не удивлюсь, зная, что вы в руках злодея, который не посовестился бы грабить на большой дороге; я же постараюсь избрать себе более достойное поприще, нежели то, на коем нищий ирландский проходимец достиг возможности лишить меня моих прав и родительского крова".

Послание безумца носило подпись "Буллингдон". Все наши соседи утверждали в один голос, что я причастен к побегу мальчишки и не премину им воспользоваться, хотя, честью клянусь, прочтя это возмутительное письмо, я чувствовал одно только желание — очутиться на расстоянии протянутой руки от его автора и сказать ему все, что я о нем думаю. Но людей не переспоришь: они втемяшили себе, что я намеревался прикончить Буллингдона, тогда как убийство отнюдь не входит в число моих дурных наклонностей; а если и было у меня желание разделаться с моим юным врагом, то самый обыкновенный здравый смысл подсказывал мне, что незачем пороть горячку, — несчастный так пли иначе свихнет себе шею.

Мы долгое время оставались в неведении о судьбе безрассудного беглеца; и только пятнадцать месяцев спустя получил я возможность очиститься от ложных обвинений в убийстве, предъявив вексель за подписью самого Буллингдона, выданный в армии генерала Тарлтона, в составе которой моя рота покрыла себя неувядаемой славой и где теперь служил волонтером лорд Буллингдон. Тем не менее кое-кто из моих любезных друзей продолжал приписывать мне злонамеренные козни. Лорд Типтоф выражал сомнение, способен ли я вообще оплатить какой-либо вексель, а тем более вексель Буллингдона, тогда как сестра его, старая леди Бетти Гримсби, уверяла, что вексель подложный и что бедный юноша убит. Но тут от Буллингдона к ее милости пришло письмо, в коем он рассказывал, что побывал в нью-йоркской штаб-квартире, и описывал пышные празднества, заданные офицерами гарнизона в честь наших славных полководцев братьев Гау.

Тем временем меня по-прежнему травили. Если бы я и самом деле убил лорда Буллингдона, на меня не могло бы обрушиться более постыдной клеветы, чем та, которую распространяли обо мне в городе и в деревне. "Скоро вы услышите о смерти бедного мальчика, вот увидите", — восклицал один из моих друзей. "А за сыном последует мать", — подхватывал другой. "Он женится на Дженни Джонс, помяните мое

слово", — добавлял третий, и т. д. и т. п. Обо всех злостных слухах и сплетнях, ходивших по графству, доносил мне Лэвендер. На меня восстала вся округа. Фермеры только хмуро дотрагивались до своих шляп, завидев меня в базарные дни, и норовили отойти в сторону; джентльмены, участники моей охоты, покидали меня один за другим и сбрасывали мою охотничью форму; а когда на публичном балу я пригласил Сюзен Кэпермор и, как всегда, стал с ней третьим, вслед за герцогом и маркизом, все пары разбежались, и мы остались одни. Сюзен Кэпермор такая охотница до танцев, что стала бы отплясывать и на похоронах, лишь бы кто-нибудь ее пригласил, а я из самолюбия не подал виду, что заметил эту пощечину, — и мы продолжали танцевать в обществе всякого сброда, каких-то лекаришек, трактирщиков, адвокатов и другого отребья, коему открыт доступ на наши публичные балы.

Епископ, родственник леди Линдон, не соизволил пригласить нас к себе во дворец во время выездной сессии, — словом, отовсюду сыпались на меня оскорбления, какие только могут обрушиться на ни в чем не повинного честного джентльмена.

В Лондоне, куда я теперь отправился с семьей, пас приняли едва ли лучше. Когда я свидетельствовал свое почтение моему повелителю в Сент-Джеймском дворце, его величество с нарочитым умыслом спросил меня, давно ли у меня были известия о лорде Буллингдоне.

— Сир, — ответил я ему с необычайным присутствием духа, — милорд Буллингдон сражается в Америке с мятежниками, нарушившими верность короне. Не угодно ли вашему величеству, чтобы я послал туда еще одну роту ему в помощь?

Но король, не удостоив меня ответа, круто повернулся на каблуках, а я, отвешивая его спине поклоны, попятился из аудиенц-зала. Когда леди Линдон, в свою очередь, облобызала в гостинной руку королевы, ее величество, как я потом узнал, обратилась к ней с тем же вопросом: этот скрытый упрек так смутил леди Линдон, что она вернулась домой в крайне расстроенных чувствах. Так вот награда за мою верность и все жертвы, принесенные на алтарь отечества! Я тут же всем домом перебрался в Париж и уж здесь не мог пожаловаться на прием; но на сей раз мне недолго пришлось наслаждаться развлечениями, которыми так богата эта столица; французское правительство давно вело тайные переговоры с бунтовщиками и теперь открыто признало независимость Соединенных Штатов. Последовало объявление войны; все мы, беспечные путешественники-англичане, получили предписание о выезде; боюсь, что я оставил после себя двух-трех безутешных дам; Париж, пожалуй, единственный город, где



джентльмен живет как хочет, не стесняемый своей женой. Мы с графиней за наше пребывание здесь почти не видели друг друга и встречались только в общественных местах, на приемах и празднествах в Версале или же за игорным столом королевы; наш крошка Брайен тоже времени не терял; он набрался такого изящества и лоску, что любо-мило: всякий, видевший мальчика, не уставал им восхищаться.

Не забыть бы мне упомянуть о последнем свидании с добрым моим дядюшкой, шевалье де Баллибаррп, которого я оставил в свое время в Брюсселе, когда он стал серьезно подумывать о salut — спасении своей души — и удалился в один из тамошних монастырей. С тех пор, к великому его огорчению и раскаянию, он снова вернулся в мир, влюбившись без памяти во французскую актрису, которая поступила с ним, как обычно поступают женщины такого пошиба, — разорила, покинула, да еще и насмеялась над ним. Его раскаяние представляло поучительное зрелище, под руководством членов Ирландской коллегии он снова обратился мыслями к вере; и единственной его просьбой, когда я осведомился, что я могу для него сделать, было внести приличный вклад в обитель, где он мечтал укрыться от мирских тревог.

Эту услугу я, разумеется, не мог ему оказать: мои религиозные правила возбраняют мне поощрять суеверные заблуждения папистов; и мы со старым джентльменом простились весьма холодно ввиду моего отказа, как он выразился, упокоить его старость.

Дело же, собственно, в том, что я и сам был на мели; между нами говоря, Роземонт из Французской оперы, не бог весть какая танцовщица, но обладательница божественной фигуры и ножек, забрасывала меня разорительными счетами на брильянты, экипажи и мебели; а тут еще мне отчаянно не повезло в игре, пришлось идти на позорнейшие сделки с ростовщиками, заложив добрую часть брильянтов леди Линдон (кое-какие из них выклянчила у меня все та же негодница Роземонт) и на другие малоприятные махинации. Но в вопросах чести я непогрешим: никто не скажет, что Барри Линдон кому-либо проиграл пари и уклонился от уплаты.

Что до моих честолюбивых надежд на приобретение ирландского пэрства, то по возвращении мне предстояло узнать, что подлец лорд Крэбс бессовестно водил меня за нос: он охотно брал у меня деньги, но столько же способен был добыть для меня корону пэров, сколько папскую тиару. За мое пребывание на континенте дурное мнение моего августейшего монарха обо мне нисколько не изменилось; напротив, как я узнал от некоего адъютанта, состоявшего при особах великих герцогов, его братьев, какие-то шпионы во Франции представили ему мое поведение и мои шалости в

Париже в превратном свете, и король, под действием этой злостной клеветы, отнесся обо мне как о самом беспутном малом во всех трех королевствах. Я — беспутный малый! Я приношу бесчестие моему имени и моей родине! Услышав эти несправедливые обвинения, я пришел в такой гнев, что тут же побежал к лорду Норту объясняться, потребовать у своего министра высочайшей аудиенции, дабы обелить себя перед его величеством от позорной клеветы, а также, сославшись на мои заслуги перед правительством, коему я неизменно отдавал свой голос, спросить, когда же мне будет пожалована обещанная награда, когда титул моих предков будет вновь возрожден в моем лице.

Флегматичный толстяк, лорд Норт, принял меня с обычным своим сонным равнодушием, которое больше всего бесило оппозицию. Он слушал меня с полузакрытыми глазами. Когда же я закончил свою пространную и горячую речь произнося ее, я стремительно расхаживал по его кабинету на Даунинг-стрит, жестикулируя с истинно ирландским пылом, — он приоткрыл один глаз, улыбнулся и спокойно спросил, все ли это, что я хотел сказать. Я подтвердил это, и вот что я от него услышал:

— Что ж, мистер Барри, отвечу вам по пунктам. Король, как вам известно, считает неразумным увеличивать число наших пэров. О притязаниях ваших, как вы их называете, было ему доложено, и его величество соизволил милостиво заметить, что вы самый наглый проходимец в его доминионах и что вам не миновать виселицы. Что же до угрозы впредь нас не поддерживать, то вы вольны отправиться с вашим голосом куда угодно. А засим я просил бы вас не затруднять меня больше своим присутствием, я очень занят.

Сказав это, он лениво протянул руку к сонетке и отпустил меня с поклоном, любезно осведомившись на прощание, чем он еще может мне служить.

Я воротился домой в неопикуемой ярости и, поскольку лорд Крэбс в этот день у меня обедал, рассчитался с его милостью, сорвав с него парик и швырнув ему оный в лицо, а также выместив злобу на той части его персоны, которая, по преданию, удостоилась пинка его величества. На следующий день о расправе узнал весь город, во всех клубах и книжных лавках висели карикатуры, где я был представлен за этой экзекуцией. Весь город смеялся над изображением лорда и ирландца, так как нас, разумеется, узнали. В те дни обо мне заговорил весь Лондон: мои костюмы, мои экипажи, мои приемы были у всех на устах, словно я был признанным законодателем моды, и если на меня косились в светских кругах, то я был достаточно популярен в других слоях общества. Толпа приветствовала

меня во время Гордоновых беспорядков, когда чуть не был убит мой приятель Джемми Твитчер и чернь сожгла дом лорда Мэнсфилда; ибо если до сих пор я был известен как стойкий протестант, то после ссоры с лордом Нортон перекинулся к оппозиции и пакостил ему, сколько позволяли мои силы и возможности.

К сожалению, они были ограничены, я не обладал ораторским талантом, и моих речей в палате никто не слушал; к тому же в 1780 году, после Гордоновых беспорядков, парламент распустили и были объявлены новые выборы. Вот уж подлинно: пришла беда — отворяй ворота; все мои несчастья обычно сваливаются на меня одновременно. Изволь опять на грабительских условиях раздобывать деньги для проклятых выборов, а тут еще Типтофы оживились и стали травить меня пуще прежнего.

Кровь и сейчас вскипает во мне при мысли о возмутительном поведении моих недругов во время этой грязной кампании. Меня выставляли ирландским Синей Бородой, на меня писали пасквилы и рисовали карикатуры, на которых я то избивал леди Линд он, то собственноручно порол лорда Буллингдона или выгонял его из дому в грозу и бурю, и так далее в том же роде. Распространялись изображения ветхой хижины в Ирландии, где якобы протекало мое детство; другие шаржи изображали меня лакеем или чистильщиком сапог. Словом, на меня излился такой ноток клеветы и грязи, что у всякого человека, не обладающего моим мужеством, опустились бы руки.

И хоть я и не оставался в долгу у моих хулителей, хоть тратил деньги без счета, а в Хэктоне и снятых мною трактирах шампанское с бургонским лилось рекой, все же выборная кампания обернулась против меня. Проклятое дворянство от меня отказалось и переметнулось к партии Типтофа. Ходили слухи, будто бы жена хочет меня оставить и я удерживаю ее силою. Напрасно я отправлял ее в город одну, носящую мои цвета, с Брайеном на коленях, напрасно посылал с визитами к супруге мэра и ко всем видным горожанкам, ничто не могло разубедить людей в том, что она живет в вечном страхе и трепете; распоясавшаяся чернь осмеливалась задавать ей наглые вопросы: не боится ли она ехать домой и как ей правится добрая плетка на ужин?

Меня забаллотировали на выборах, и тут свалились на меня просроченные векселя, все то, что накопилось у моих кредиторов за годы моей женитьбы, словно эти негодяи сговорились; векселя горами лежали у меня на столе. Я не стану называть здесь общую сумму долга: она была ужасна. Мои управляющие и адвокаты тоже предъявили свои претензии. Я бился в паутине векселей и долгов, закладных и страховок и всех

сопутствующих им подвохов. Адвокат за адвокатом приезжали из Лондона, одно соглашение с кредиторами следовало за другим; чтобы удовлетворить алчность этих гиен, почти на все доходы леди Линдон был наложен арест. Гонория в это трудное время вела себя сравнительно милостиво: ведь каждый раз, как мне требовались деньги, я вынужден был ее улещать, а когда я становился с ней ласков, эта малодушная, легкомысленная женщина приходила в отличное настроение: она готова была отдать тысячу годового дохода, чтобы купить себе одну спокойную неделю. Когда почва в Хэктоне накалилась и я решил, что единственный для нас выход — переехать в Ирландию, с тем чтобы, наведя жестокую экономию, отдавать львиную долю моих доходов кредиторам, пока их требования не будут удовлетворены, миледи ничуть не возражала: только бы мы не ссорились, говорила она, и все будет хорошо; ее даже радовала необходимость, жить более скромно, это сулило нам уединение и домашний покой, к которому она давно тянулась всей душою.

Неожиданно для всех мы укатили в Бристоль, предоставив ненавистной и неблагодарной хэктонской братии злобствовать за нашей спиной. Мои конюшни и собаки были проданы с молотка. Эти гарпии обобрали бы меня до нитки, но, к счастью, это было не в их власти. Действуя хитро и осторожно, я заложил свои рудники и поместья за их настоящую цену, и негодяи остались ни с чем, — по крайней мере, в данном случае; что же до серебра и всей недвижимости в нашей лондонской резиденции, то это имущество было неприкосновенно, как собственность наследников дома Линдон.

Итак, я переехал в Ирландию и временно поселился в замке Линдон. Все воображали, что я окончательно разорен и что знаменитый светский щеголь Барри Линдон никогда больше не появится в тех кругах, коих украшением он был. Но они обманывались. Посреди невзгод судьба все еще хранила для меня великое утешение. Из Америки пришли депеши, сообщавшие о победе лорда Когшуолиса и поражении генерала Гейтса в Каролине, а также о смерти лорда Буллингдона, участвовавшего в этом сражении в качестве волонтера.

Теперь мое желание получить какой-то жалкий ирландский титул утратило всякий смысл. Мой сын становился наследником английской графской короны; отныне я велел именовать его лорд виконт Касл-Линдон, присвоив ему третий фамильный титул. Матушка чуть с ума не сошла от радости, что может называть внука "милорд", а я чувствовал, что все мои страдания и лишения вознаграждены, ибо моему дорогому сыночку уготовано высокое положение.

## Глава XIX

### Заключение

Если бы свет не был сворой неблагодарных прохвостов, которые делят с вами ваше благосостояние, покуда оно длится, и, еще отяжелев от вашей дичи и бургонского, норвят обругать хозяина щедрого пиршества, я мог бы сказать с уверенностью, что составил себе доброе имя и безупречную репутацию, а тем более в Ирландии, где мое хлебосольство не знало границ и великолепие моего дома и моих приемов превосходило все, чем может похвалиться любой известный мне вельможа. До тех пор, покуда длилась пора моего величия, никому в округе не было отказа в гостеприимстве: на конюшне у меня стояло такое множество верховых лошадей, что можно было бы посадить на них полк драгун; в моих погребах хранились такие запасы вина, что я мог бы годами спаивать население нескольких графств. Замок Линдон стал штаб-квартирой десятков неимущих дворян, а когда я выезжал на охоту, меня сопровождала знатнейшая молодежь графства на положении моих сквайров и доезжачих. Мой сын, малютка Касл-Линдон, рос принцем: его воспитание и манеры уже в этом нежном возрасте делали честь обеим знатным фамилиям, от коих он происходил; каких только надежд не возлагал я на моего мальчика! Его будущие успехи, его положение в свете рисовались мне в самых радужных красках. Но непреклонная судьба решила, что я не оставлю после себя продолжателя рода, и повелела мне закончить мой жизненный путь в нынешней бедности и одиночестве, без милого потомства. У меня, возможно, были свои недостатки, но никто не посмеет сказать, что я не был добрым и нежным отцом. Я горячо привязался к мальчику; быть может, любовь моя была слепа и пристрастна — я ни в чем не мог ему отказать. С радостью, клянусь, с великой радостью принял бы я смерть, если бы этим можно было отвести от него столь преждевременный и тяжкий жребий. С тех пор как я потерял сына, кажется, не было дня, когда бы его сияющее личико и милые улыбки не светили мне с небес, где нынче он обретается, и когда бы сердце мое не тосковало по нем. Мой милый мальчик был взят у меня девяти лет, когда он блистал красотой и так много обещал в будущем; его образ властвует надо мной, и я не в силах его забыть; его душенька ночами вьется вокруг моего одинокого бессонного изголовья; не раз бывало, что в компании одичалых забулдыг за круговой чашей, когда гремели песни и

смех, меня охватывали думы о нем. Я все еще храню на груди локон его шелковистых каштановых волос, этот медальон положат со мной в постыдную могилу нищего, где уже скоро, без сомнения, упокоются старые, усталые кости Барри Линдона.

Мой Брайен был весь огонь (да и могло ли быть иначе при его породе), даже моя опека тяготила его, и не раз случалось, что наш плутишка отважно против нее восставал, а уж с леди Линдон и другими женщинами в доме он и вовсе не считался и только смеялся их угрозам. Моя матушка (она звалась теперь "миссис Барри из Линдона", во внимание к моему новому семейному положению) и та не могла держать его в узде, такой это был своевольный мальчуган. Кабы не его живой нрав, он, может быть, здравствовал бы и поныне. Может быть, — но к чему пустые сожаления! Разве он теперь не в лучшем мире? И что бы стал он делать с наследием нищего! Пожалуй, нечего роптать, что так случилось, — да смилуется над нами господь! Но тяжело отцу пережить сына и оплакивать его.

В октябре я съездил в Дублин для свидания с моим адвокатом и неким толстосумом из Англии, который не прочь был приобрести кое-что из моего имущества, а также договориться о вырубке Хэктонского парка: я так возненавидел эти места и так нуждался в деньгах, что решил свести его весь, до последнего деревца. Правда, на моем пути стояли трудности. Считалось, что я не вправе трогать Хэктонский парк. Всю мужицкую сволочь вокруг моего имения до такой степени против меня настропили, что никто из этих негодяев не желал взяться за топор. Мой агент (все тот же мошенник Ларкинс) клялся, что с ним грозят расправиться по-свойски, если он отважится на дальнейшее "расхищение" (как они это называли) барского поместья. Нечего и говорить, что к тому времени были проданы все великолепные мебели в доме; что нее до серебра, то я позаботился вывезти его в Ирландию, где оно и находится в полной сохранности у моего банкира, выдавшего мне под него аванс в размере шести тысяч фунтов — сумма, которая очень скоро мне пригодилась.

Итак, я отправился в Дублин для переговоров с английскими дельцами и настолько убедил мистера Сплинта, крупного плимутского судостроителя и лесоторговца, в моих непререкаемых правах на хэктонский строевой лес, что он согласился купить его на корню за треть настоящей цены и тут же отсчитал мне пять тысяч фунтов, чему я был крайне рад, так как мне предстояли срочные платежи по долговым обязательствам. У мистера Сплинта, разумеется, не было никаких затруднений с валкой леса. Он набрал на своих королевских верфях в Плимуте целый полк корабельных плотников и пильщиков, и за два месяца в Хэктонском парке осталось не

больше деревьев, чем на Алленском болоте.

Мне отчаянно не повезло с этой распроклятой поездкой — и с деньгами, будь они неладны. Большую их часть я продул за две ночи у "Дейли" — долги мои так и остались неуплаченными. Еще до того как мошенник лесопромышленник сел на судно, которое должно было доставить его в Холихед, у меня от всей выручки остались только две-три сотни фунтов, с которыми я в великом огорчении отправился домой, отправился в тем большей спешке, что дублинские купцы, прослышав, что я растранижил полученный куш, крайне на меня обозлились, а двое виноторговцев, коим я задолжал несколько тысяч фунтов, даже выправили приказ о моем аресте.

В Дублине я купил для Брайена давно обещанную лошадку, — уж если я что обещаю, то держу слово любой ценой. Это был подарок ко дню рождения, моему сыночку исполнялось десять лет. Лошадка, прелестное животное, — она обошлась мне очень дорого, но для моего любимца я ничего не жалел, — оказалась совершеннейшим дичком, она сбросила мальчишку-конюха, который сел на нее первым, и он сломал ногу; и хоть она-то и доставила меня домой, лишь мое искусство и мой вес помогли мне с ней управиться.

По возвращении я отослал дикарку с одним из грумов на отдаленную ферму, чтобы там ее объездили, и сказал сторавшему от нетерпения Брайену, что он получит лошадку в день своего рождения и сможет погонять ее с моими собаками. Я и сам предвкушал удовольствие увидеть сына на охоте и с гордостью думал, что когда-нибудь он поведет ее вместо своего любящего отца. Горе мне!

Храброму мальчику так и не довелось участвовать в лисьей травле, ему так и не суждено было занять среди окружного дворянства то первенствующее место, которое предназначали ему происхождение и природные дарования!

Хоть я и не верю снам и приметам, а все же должен признать, что, когда над человеком нависает беда, множество темных, таинственных знамений вещает ему об этом. Теперь мне кажется, что немало их было явлено и мне. Особенно же чуяла недоброе леди Линдон: ей дважды снилось, что сын ее умер; но так как последнее время нервишки у нее опять расходились и она впала в мерихлюндию, я только посмеялся над ее страхами, а заодно и над своими. И вот как-то невзначай за послеобеденной рюмкой я рассказал бедняжке Брайену, который не уставал спрашивать, где его лошадка да когда он ее увидит, — что она уже здесь: я отослал ее на ферму Дулана, где Мик, наш грум, ее объезжает.

— Голубчик Брайен, дай мне слово, — вмешалась его мать, — что ты будешь кататься на своей лошадке только в присутствии папочки.

На что я отрубил:

— Мадам, не будьте душой! — Очень уж она раздражала меня своими повадками побитой собаки — они проявлялись на тысячу ладов, одна другой отвратнее. Повернувшись к Брайену, я пригрозил ему: — Смотри у меня, твоя милость! Сядешь на лошадь без моего разрешения, я изобью тебя, как щенка.

Но, должно быть, бедный мальчик готов был заплатить любой ценой за предстоящее удовольствие, а может быть, он понадеялся, что отец отпустит своему баловню этот грех, ибо на следующее утро, — я встал позднее обычного, так как выпивка у нас затянулась до поздней ночи, — он на самой заре пробрался через комнату своего наставника (на сей раз это был Редмонд Квин, мой двоюродный племянник, которого я взял к себе), и только его и видели. Я сразу же смекнул, что Брайен на ферме Дулана.

Вооружившись тяжелым бичом, я поскакал за ним, клянясь, что я не я буду, если не сдержу свое слово. Но — да простит мне бог — до того ли мне было, когда мили за три от дома увидел я печальную процессию, двигавшуюся мне навстречу: крестьян, голосивших во всю мочь, по обычаю ирландского простонародья, вороную лошадку, которую вели под уздцы, а на двери, которую несли какие-то люди, моего милого, ненаглядного мальчика; он лежал навзничь в своих сапожках со шпорами, в алом с золотом кафтанчике. Его милое личико казалось восковым. Увидев меня, он улыбнулся, протянул мне ручку и сказал через силу:

— Папочка, ты ведь не станешь меня сечь? Я только зарыдал в ответ. Мне не раз приходилось видеть умирающих, есть что-то в их взоре, что ошибиться невозможно. Когда мы стояли под Кюнерсдорфом, в нашего маленького барабанщика на глазах у всей роты попала пуля. Мальчик был моим любимцем. Я подбежал дать ему напиток, и он посмотрел на меня, совсем как теперь мой Брайен, — сердце холодеет от этого взгляда, и ошибиться невозможно. Мы отнесли его домой, и я разослал во все концы нарочных за врачами.

Но что могут сделать врачи в борьбе с суровым, неумолимым врагом? Всякий, кто бы ни приходил, только усугублял своим приговором наше отчаяние. Дело, очевидно, обстояло так: мальчик храбро вскочил в седло, и, хотя взбесившееся животное вставало на дыбы, брыкалось и бросалось из стороны в сторону, он усидел в седле и, укротив эту первую вспышку норова, направил коня к краю дороги, вдоль которой тянулась ограда. Здесь каменная кладка сверху расшаталась, нога лошади увязла в осыпи, и



маленький всадник с конем рухнули вниз за ограду. Люди видели, как бесстрашный мальчик вскочил и бросился догонять вырвавшуюся лошадку, которая, видимо, успела лягнуть его в спину, пока оба они лежали на земле. Но, пробежав несколько шагов, бедняжка Брайен упал как подкошенный. Лицо его покрылось страшной бледностью, уже не надеялись, что он жив. Кто-то влил ему в рот виски, и это привело его в чувство. Однако двигаться он не мог, что-то случилось с его позвоночником. Когда его дома уложили в постель, нижняя половина тела словно отмерла. Господь избавил его от долгих мучений. Два дня бедняжка оставался с нами, и печальным утешением было сознавать, что его страдания кончились.

В течение этих двух дней Брайена словно подменили; он просил у матери и у меня прощения за все свои провинности и много раз поминал, что рад бы повидать братца Буллингдона.

— Булли был лучше тебя, папочка, — твердил он с укором. — Он не ругался, а когда тебя с нами не было, учил меня только хорошему. — И, взяв мою и матери руки в свои холодные, влажные ладошки, он умолял нас не ссориться и любить друг друга, чтобы все мы могли встретиться на небесах, Булли, говорил ему, что скандалистов туда не пускают. Мать была глубоко потрясена увещаниями нашего дорогого ангельчика, нашего бедного страдальца да и я тоже. Ей бы помочь мне своим участием, и я остался бы верен заветам, преподанным нашим умирающим сыночком, — но чего ждать от такой женщины?

Спустя два дня Брайен умер. Он лежал в гробу, надежда моей семьи, гордость моего мужества, звено, соединявшее меня с леди Линдон.

— О Редмонд, — воскликнула она, пав на колени перед прахом нашего милого дитяти, — молю, молю тебя, прислушайся к истине, которую вещали его благословенные уста; молю тебя, измени свой образ жизни и обращай со своей бедной, любящей, бесконечно преданной женой, как учило тебя наше умирающее дитя.

И я обещал, но есть обещания, которых не в силах сдержать ни один мужчина, а тем более при такой жене; И все же это печальное событие на время нас сблизило; несколько месяцев мы прожили сравнительно дружно.

Не стану рассказывать, с какой пышностью мы хоронили Брайена. Что толку в плюмаже гробовщика и всей этой геральдической мишуре! Я пристрелил злосчастную вороную лошадку, виновницу смерти моего мальчика, перед дверью склепа, куда мы его положили. Я так безумствовал, что готов был убить и себя. Когда бы не тяжкий грех, это был бы, пожалуй, наилучший выход, ибо чем была для меня жизнь после того, как этот прелестный цветок был исторгнут из моей груди, если не цепью

бесперывных несчастий, обид, бедствий, душевных и физических страданий, каких не знал еще ни один человек в христианском мире.

Леди Линдон, и всегда-то дама нервическая, склонная к беспричинной грусти, ударилась в религиозную экзальтацию, да с таким неудержимым пылом, что временами казалась безумной. Она вообразила, что ее посещают видения, будто ангел, сошедший с небес, возвестил ей, что смерть Брайена постигла ее в наказание за преступное равнодушие к ее первенцу. То она уверяла, что Буллингдон жив, он привиделся ей во сне. То снова принималась горевать о его смерти и впадала в такое отчаяние, как будто последним она потеряла старшего сына, а не нашего драгоценного Брайена, хотя, по сравнению с Буллингдоном, Брайен был чти брильянт рядом с грубым булыжником. Тяжко было наблюдать ее причуды, а бороться с ними бесполезно. Кругам стали поговаривать, что графиня помешалась. Мои подлые враги раздували и разносили эти, слухи, добавляя, что виновник несчастья — я: это я довел ее до безумия, я убил Буллингдона, я и собственного сына загубил. В чем только меня не обвиняли! Измышления клеветников достигли Ирландии. Друзья отвернулись от меня. Так же как в Англии, они перестали выезжать со мной на охоту, а когда мы встречались на скачках или на рынке, под всякими благовидными предложениями пускались наутек. Меня наградили прозвищами "Барри-злыдень" и "Линдон-бес", так сказать, на выбор; в деревнях рассказывали обо мне чудовищные небылицы; священники уверяли, будто в Семилетнюю войну мною вырезано без счету немецких монахинь, а также что дух убиенного Буллингдона поселился у меня в доме. Как-то на ярмарке и соседнем городишке, где я присматривал рубашку для одного из своих домочадцев, какой-то парень рядом сказал: "Никак, это смирительная рубашка? Верно, для миледи Линдон". Достаточно было такого пустейшего случая, чтобы возникла сплетня, будто я зверски истязую жену; об этих жестоких мучительствах рассказывали легенды.

Незаменимая утрата не только ранила сердце отца, но и опрокинула все мои личные интересы и расчеты. У леди Линдон не осталось прямых наследников, сама же она была плохого здоровья и, очевидно, неспособна иметь потомство, а потому ближайшие наследники — все те же ненавистные Типтофы — на сотню ладов старались пакостить мне и возглавили партию моих врагов, распространявших позорящие меня слухи. Они всячески вмешивались в мои дела по управлению нашим состоянием и поднимали бурю, стоило мне спилить дерево, вырыть канаву, продать картину или отдать в переделку серебряный ковш. Они докучали мне непрерывными исками, добывали бесконечные запрещения в суде лорд-

канцлера, затрудняли работу моим управляющим, — словом, можно было подумать, что хозяин имения не я и что они вольны делать с ним все, что им хочется. Мало того, как я догадываюсь, они интриговали в моем собственном доме и подкупали моих слуг. Я не мог обменяться с леди Линдон словом, чтобы это не становилось широко известно; не мог выпить с моим капелланом и приятелями, чтобы какой-нибудь ханжа это не пронюхал и не подсчитал самым доскональным образом, сколько было выпито бутылок и какими я сыпал ругательствами. Признаюсь, их было немало! Я человек старой школы, я всегда жил как вздумается и говорил первое, что придет в голову. Но что бы я ни делал и что бы ни говорил, это не в пример лучше того, что мне известно о многих лицемерных негодях, скрывающих свои слабости и пороки под личиной благочестия.

Поскольку это чистосердечная моя исповедь, а я никакой не лицемер и ханжа, должен признаться, что я пытался отразить происки моих врагов при помощи ловкого маневра, строго говоря, не совсем правомерного. Все теперь зависело от того, есть ли у меня наследник. Я понимал, что стоит леди Линдон, которая не могла похвалиться здоровьем, умереть, и я на другой же день окажусь нищим; все мои затраты и жертвы на содержание имения, как денежные, так и прочие, пойдут прахом; все долги останутся на мне, и враги мои восторжествуют, а это для человека, столь щепетильного в вопросах чести, было бы поистине "незаживающей раной", — как сказал некий поэт.

Не скрою, мне очень хотелось обойти этих мерзавцев, а так как без наследника майората я был связан по рукам и ногам, то и решил изыскать такого. Имелся ли у меня в наличии кровный сын и наследник, хотя бы и с поперечной чертой в левой стороне герба, здесь роли не играет. Но тут я наткнулся на подлые махинации моих врагов: не успел я посвятить в свой план леди Линдон, которую так вымуштровал, что она была — или казалась мне послушнейшей женой, тем более что все ее письма от нее и к ней я тщательно просматривал и допускал к ней, по причине ее нездоровья, только проверенных лиц, а все же проклятые Типтофы пронюхали о моем плане и тотчас же опротестовали его не только письмом, но и в бесстыжих печатных афишках, ошельмовав меня всенародно, как "поставщика подложных детей". Разумеется, я отверг это обвинение — ничего другого мне не оставалось — и предложил любому из Типтофов встретиться со мной на поле чести, рассчитывая доказать, что он лгун и негодяй, как оно и было на самом деле, хотя, может быть, и не в данном случае. Но они предпочли ответить мне через адвоката и отклонили вызов, который каждый честный человек счел бы долгом принять. Итак, мои надежды

обзавестись наследником пошли прахом: забавно, что леди Линдон (хоть я, как уже сказано, ни в грош не ставил ее протесты) воспротивилась моему плану с энергией, какую трудно было ожидать при ее слабом характере; она видите ли, по моей вине уже совершила тяжкий грех и скорее умрет, нежели согласится взять на душу и другой. Мне, конечно, ничего бы не стоило привести ее милость в чувство, но о моем проекте было слишком широко известно, и пришлось от него отказаться. Теперь, даже если бы у нас народился десяток детей в самом честном законе, и то все кричали бы, что они подставные.

Заложить ежегодную ренту леди Линдон не было никакой возможности, я, можно сказать, использовал ее пожизненный доход. В то время в Лондоне было еще мало страховых обществ — не то что нынче, когда они так расплодились. Все дела вели страховые агенты, а уж им обстоятельства моей жены были известны как нельзя лучше. Когда я захотел получить деньги под ее страховку, эти негодяи имели дерзость заявить, что при том обращении, какое она от меня терпит, жизнь ее не стоит и годовой премии, точно я — из всех людей на свете — был заинтересован ее извести! Другое дело, если б жив был мой дорогой мальчик, им с матерью ничего не стоило бы закрепить за мной часть своего неотчуждаемого имущества, и мои дела бы поправились. Теперь же они были из рук вон плохи. Все мои спекуляции провалились. Мои собственные имения, купленные в долг, не приносили ренты, к тому же приходилось выплачивать заимодавцам огромный процент. Мои доходы, хоть и очень большие, были заложены и перезаложены, не говоря уже о том, сколько я задолжал кровососам адвокатам. Я чувствовал, что сеть вокруг меня затягивается и что выпутаться нет ни малейшей возможности.

В довершение всех бед, спустя два года после смерти нашего бедного мальчика супруга моя, чьи несносные причуды и своенравные выходки я терпел двенадцать лет, пожелала со мной расстаться и в самом деле предприняла ряд попыток избавиться, как она выражалась, от моего тиранства.

Матушка, единственный человек, сохранивший мне верность среди всех злоключений (уж кто-кто, а она судила обо мне справедливо, усматривая в своем бедном сыне жертву людского коварства, а также собственного его великодушия и легковерия), — матушка, говорю я, первой проникла в эти темные происки, душой которых, как всегда, оказались все те же интриганы и хитрюги Типтофы.

Несмотря на свой неукротимый нрав и некоторые странности, миссис Барри оказалась незаменимым подспорьем в доме, где все давно пришло

бы в упадок и разорение, если бы не ее умение вести хозяйство и поддерживать достойный порядок в жизни моего многочисленного семейства. Что до самой леди Линдон, то она, бедняжка, была чересчур знатной дамой, чтобы интересоваться хозяйством; вечно она сидела взаперти со своим врачом или своими душеспасительными книгами и нам показывалась не иначе, как по моей настоятельной просьбе, причем не было случая, чтобы они с матушкой тут же не поцапались.

У миссис Барри, напротив, все в доме спорилось. Она следила, чтобы служанки трудились не покладая рук, да л лакеи не шатались без дела; присматривала и за винами в погребе, и за овсом и сеном на конюшне; наблюдала за солкой и копчением, за сбором картофеля и укладкой торфа, за убоем свиней и домашней птицей, за прачечной и пекарней, — словом, не упускала из виду ни одного уголка большого и сложного хозяйства. Кабы все ирландские матроны были так урядливы, ручаюсь, что во многих дворянских камельках и по сю пору весело пылал бы огонь там, где ныне все заросло паутиной да грязью, и во многих парках паслись бы тучные отары и стада, где сейчас один чертополох хозяйничает на приволье. Если что-либо могло защитить меня от людской подлости, да и (что греха таить) от беспечности, великодушия и безалаберности моей собственной природы, то лишь редкое благоразумие этой достойной женщины. Никогда она не ложилась спать, покуда в доме все не затихало и не гасла последняя свеча; а это, как вы понимаете, было далеко не просто при моих привычках: ведь у меня что ни день собиралось человек двенадцать веселых забулдыг (в большинстве своем прожженных негодяев и ловких притворщиков, как потом выяснилось) для очередной выпивки, после которой редко кто, а тем более я, оставался трезв. Не раз, бывало, ночью, когда я и не сознавал ее забот, добрая душа сама стаскивала с меня сапоги и, присмотрев за тем, чтобы лакеи заботливо уложили меня в постель, последней оставляла мою спальню, унося с собой свечу; и она же первая спешила подать мне утром пиво. То время было не то что нынешнее, молокососы были не в чести. Джентльмен не считал для себя зазорным выпить полдюжины пива, а что до кофе и прочего пошла, я предоставлял все это леди Линдон, ее пастору и прочим старым бабам. Матушка гордилась тем, что я мог перепить любого пьяницу в округе и разве только на полпинты, по ее словам, не дотягивал до своего отца.

Не удивительно, что леди Линдон ее возненавидела. Да и какая женщина, с тех пор как существует род людской, любила и уважала свою свекровь? Я приказал матушке следить во все глаза за причудами ее милости, и уж одно это давало последней основание для ненависти. Мне,

разумеется, дела не было до чувств миледи. Помощь и надзор миссис Барри я считал неоценимым благом: будь у меня двадцать платных сыщиков для наблюдения за миледи, я не мог бы на них положиться так, как на бескорыстное попечение и бдительность моей драгоценной родительницы. Она и спала со связкой ключей под подушкой, и ничто в доме от нее не укрывалось. Тенью следовала она за графиней и с раннего утра до поздней ночи умудрялась знать, чем она занята. Если миледи гуляла в саду, чей-нибудь зоркий глаз следил за калиткой, а если она выезжала, миссис Барри сопровождала ее, и парочка лакеев в моей ливрее скакала по бокам кареты, чтобы с ее милостью, боже сохрани, чего не стряслось. И хоть она капризничала, предпочитая безвыходно сидеть у себя и дуться на весь мир, я требовал, чтобы она вместе со мной каждое воскресенье отправлялась к обеду в карете цугом, а также посещала балы в сезон скачек, когда я знал, что путь свободен и что эти мерзавцы судебные приставы не подстерегают меня за углом. Этим я затыкал рот моим злопыхателям, которые утверждали, будто я посадил свою жену под замок. Зная ветреный нрав леди Линдон и видя ее безрассудную ненависть ко мне и к моим, которая теперь превышала столь же безрассудную в прошлом любовь, я, естественно, опасался, как бы она не улизнула. Вздумай миледи меня оставить, я на другой же день был бы разорен дотла. Это обстоятельство (известное и матушке) вынуждало нас следить за ней в четыре глаза; что же касается того, будто я держал ее милость на привязи, то это обвинение я с негодованием отвергаю. Каждый муж в известном смысле держит свою супругу на привязи: хорошие бы дела творились на свете, если б жены уходили из дому и возвращались домой когда вздумается! Присматривая за моей дражайшей половиной, я только пользовался законными правами мужа, который требует от жены повиновения и оберегает свою честь.

Но такова женская хитрость: хоть я и был начеку, миледи, по всей вероятности, от меня бы сбежала, кабы я не заручился союзницей, такой же прыткой, как она сама; если хотите устеречь женщину, приставьте к ней стражем такую же хитрющую особу ее пола по пословице: "Вору легче укараулить вора". Казалось бы, при таком надзоре, когда все ее письма просматривались и все знакомства строжайше проверялись лично мной, леди Линдон, живя в ирландской глуши, вдали от родных, была лишена возможности сношаться с тайными союзниками или же предавать огласке свои так называемые "обиды и бесчестия". А между тем это не помешало ей довольно долго вести переписку у меня под носом и, как будет видно из дальнейшего, самым деятельным образом готовиться к побегу.

Леди Линдон до страсти любила наряды, и так как я никогда не возражал против подобных ее прихотей и не жалел на них денег (среди моих долгов наберется на многие тысячи фунтов векселей модисткам и портнихам), то в Дублин и из Дублина постоянно пересылались картонки с платьями, чепцами, рюшами и фалбалой, что ей только ни взбредет в голову. В ответ на многочисленные распоряжения заказчицы прибывали с картонками письма мастериц; все это проходило через мои руки, не возбуждая ни малейших подозрений, — по крайней мере, до поры до времени. А между тем в этих письмах заключалась вся ее секретная корреспонденция: с помощью такого простого средства, как симпатические чернила, миледи уснащала их самыми нелепыми обвинениями по моему адресу, — но как уже сказано, я поздно хватился.

Однако проницательная миссис Барри заметила, что каждый раз, как леди Линдон садилась писать портнихе, ей требовался лимон, чтобы смешать себе, как она говорила, прохладительное питье; узнав об этом, я, конечно, задумался и, едва мне в руки попало такое письмо, поднес его к огню; тут-то мне и открылся ее злодейский замысел. Приведу для образца одно из коварных посланий этой злополучной женщины. В ее письмах портнихе, написанных размашистым почерком, с большими пробелами между строк, перечислялись все статьи туалета, какие требовались миледи, с подробным указанием фасона, материи и т. д. Таким образом она исписывала целые страницы, вынося каждый заказ на красную строку, выгадывая побольше места, чтобы перечислить все мои тиранства и свои жестокие обиды. Ибо между строками она вела свой "тюремный дневник": какой-нибудь романист тех дней нажил бы состояние, попадись ему в руки список подобного пасквиля; он не замедлил бы издать его под названием "Прекрасная узница, или Изверг муж" или же под каким-нибудь другим забористым и нелепым заглавием. Вот что гласил дневник:

"Понедельник. Вчера меня заставили ехать в церковь. Моя ужасная, омерзительно вульгарная ведьма-свекровь в желтом атласе с красными бантами расселась в коляске на нервном месте; мистер Л. сопровождал нас верхом на лошади, за которую он так и не заплатил капитану Хердлстоуну. Негодный притворщик повел меня к скамье, держа в руке шляпу и сияя улыбкой, а когда после обедни я села в коляску, он поцеловал мне руку и погладил мою итальянскую борзую — чтобы произвести впечатление на нескольких случайных зевак. Вечером он заставил меня спуститься вниз и напоить чаем его милых гостей, из которых три

четверти, с ним включительно, вдребезги перепились. Когда пастор дошел до седьмой бутылки и, по своему обыкновению, впал в бесчувствие, они вымазали ему лицо сажей и привязали к его серой кобыле задом наперед. Ведьма весь вечер читала "Долг человеческий", пока не пришло время ложиться, а тогда проводила меня в мои покои, заперла дверь на ключ и отправилась ухаживать за своим ужасным сыном, которого она обожает за его гнусные пороки, по-видимому, так же, как Стикоракс обожала Калибана".

Надобно было видеть, как разъярилась матушка, когда я ей прочел эти строки! Я всегда ценил добрую шутку (описанная проделка с пастором действительно имела место), а потому доводил до сведения миссис Барри все адресованные ей комплименты. Она фигурировала в этой милой переписке под именем "дракона в юбке", иногда же прозывалась "ирландской ведьмой". Что до меня, то обо мне говорилось, как о "моем тюремщике", или "моем тиране", или как о "темном духе, овладевшем моим существом" и т. д. — то есть в терминах, скорее лестных, характеризующих меня как сильную, хоть и малопривлекательную личность. А вот и еще выдержка из того же "Дневника узницы", из коей видно, что хоть миледи и прикидывалась, будто ее нисколько не интересуют мои дела, однако же сохраняла чисто женскую проницательность и ревновала, как всякая баба.

"Среда. В этот день, два года назад, я лишилась моей последней надежды, последней радости в жизни — мой милый мальчик был взят у меня на небо. Соединился ли он там со своим обездоленным братом, который рос подле меня живым укором, не зная материнской ласки и заботы, и которого деспотизм ужасного чудовища обрек на изгнание, а возможно, и смерть? А что, если сын мой жив, как подсказывает мне любящее сердце? Чарльз Буллингдон! Приди на помощь несчастной матери, ныне кающейся в своих прегрешениях, в преступной холодности и тяжело расплачивающейся за свои заблуждения! Но, увы, его, конечно, нет на свете, безумие надеяться и ждать! И только вы, о мой кузен, — единственная моя опора, вы, кого я когда-то мечтала назвать еще более нежным именем, к вам взываю, дражайший Джордж Пойнингс! О, будь моим защитником, моим избавителем, ты, кого я всегда знала как безупречного рыцаря,



освободи меня от уз жестокого тирана, спаси от него и от Стикоракс, презренной ирландской ведьмы, его матери!"

(Далее следуют стихи, каковые ее милость пекла, как блины: в них она сравнивает себя с Саброй из "Семи паладинов" и молит своего Джорджа спасти ее от дракона, сиречь миссис Барри. Опускаю их и перехожу к дальнейшему.)

"Даже бедного моего сыночка, погибшего в эту роковую годовщину, он, тиран, вершитель моей судьбы, учил презирать меня и ненавидеть. Ведь это вопреки мольбам и приказаниям матери бедный мальчик отправился в ту пагубную поездку. А на какие страдания, на какие унижения я с тех пор обречена! Я узница в собственных покоях! Я страшилась бы яда, когда бы у негодяя не был свой грязный расчет сохранить мне жизнь, ведь смерть моя обернется для него разорением. Но мне нельзя шагу ступить без презренной, гадкой, низкой тюремщицы, без этой ужасной ирландки, которая следует за мной по пятам. На ночь меня запирают в спальне, словно преступницу, и разрешают покидать эту тюрьму лишь по приказу моего господина (мне приказывают!), дабы я присутствовала на его оргиях с разудалыми собутыльниками и выслушивала его мерзкие речи, когда он впадает в гнусный бред опьянения! Он отбросил даже маску супружеской верности — он, который клялся, что я одна способна его покорить и привязать к себе, — не стесняется приводить своих любовниц. Мало того, требует чтоб я признала моим наследником его сына от другой женщины!

Но нет, ни за что я не подчинюсь такому произволу! Ты, ты один, Джордж, друг моей юности, унаследуешь достояние Линдонов. О, почему судьба не соединила меня с тобой вместо этого презренного человека, который держит меня под своей пятой, почему не даровала она счастья бедной Калисте!"

И так далее, и тому подобное, все в том же роде — страница за страницей, исписанные мелким убористым почерком. Так пусть же беспристрастный читатель скажет, не была ли составительница этих документов самым глупым и тщеславным существом на свете и не надо ли было ее держать под надзором? Я мог бы без счета цитировать ее дифирамбы лорду Джорджу Пойнингсу — старой пассии лгаледи, в коих та

награждала его нежнейшими эпитетами и молила найти ей убежище от ее гонителей; но читателю было бы так же скучно их читать, как мне переписывать. Дело в том, что у несчастной леди была злополучная страсть к сочинительству, причем сама она и наполовину не верила тому, что писала. Она зачитывалась романами и тому подобной дрянью и воображала себя то одной, то другой идеальной героиней, ударялась то в пафос, то в чувствительность — а между тем я не знаю другой женщины с таким черствым и себялюбивым сердцем. Это не мешало ей бредить любовью; казалось, ее распирают пламенные чувства. У меня сохранилась элегия на смерть болонки, — пожалуй, наиболее искреннее и трогательное ее творение; строки нежного увещания, обращенного к любимой горничной Бетти, и другого — к экономке, по случаю очередной ссоры, а также к десятку приятельниц — каждую она называла своим лучшим другом и тут же забывала для нового увлечения. Что же до ее материнских чувств, то даже приведенный отрывок показывает, чего они стоили: уже то место, где она говорит о смерти младшего сына, выдает ое желание порисоваться и свести счеты со мной; старшего же она призывает восстать из могилы, так как он может быть ей полезен. Если я обращался с этой женщиной сурово, не допуская к ней ласкателей, сеявших между нами вражду, лишал ее свободы из опасения, как бы она не натворила бед, — кто скажет, что я был неправ? Если есть женщина, нуждающаяся в смирительной рубашке, то это леди Линдон; я знавал людей, которым вязали руки, брили голову и укладывали на солому, хоть они не наделали и половины тех глупостей, какие натворило это взбалмошное, тщеславное, самовлюбленное существо.

Матушку эти поклепы на меня и на нее в письмах миледи приводили в исступление, и мне стоило величайшего труда ее сдерживать. Я, разумеется, предпочитал не открывать графине, что мы посвящены в ее тайные намерения, надо же было выяснить, как далеко они простираются и до какой степени притворства может дойти эта женщина. Письма раз от разу становились все занимательнее (как обычно говорят в романах); в них рисовались такие картины моей жестокости, что сердце замирало от ужаса. В каких только зверствах она не обвиняла меня и каких только страданий не приписывала себе! Ее чуть ли не морили голодом! А между тем она жила в довольстве и холе в нашем замке Линдон. Тщеславие и чтение романов совсем вскружили ей голову. Достаточно было сказать ей резкое слово (а она заслуживала их тысячу на день, поверьте!), как поднимался крик, будто я ее истязую; а стоило матушке сделать ей замечание, как графиня впадала в истерику, уверяя, что достойная старушка довела ее до слез.

Наконец она стала грозить, что наложит на себя руки; я, разумеется, не прятал от нее режущих предметов, не скупился на подвязки и не ограничивал ее в пользовании домашней аптечкой, так как слишком хорошо знал характер миледи, чтобы вообразить, будто она может покуситься на свою драгоценную жизнь; однако угрозы эти, видимо, производили впечатление на тех, на кого были рассчитаны; картонки прибывали все чаще, и счета, поступавшие на имя графини, возвещали, что спасение близко. Безупречный рыцарь, лорд Джордж Пойнингс, спешил на помощь к своей кузине; говоря его словами, он надеялся вырвать свою кузинушку из когтей самого подлого злодея (так он любезно отозвался обо мне), какой когда-либо бесчестил род человеческий; а коль скоро она вырвется на свободу, будут предприняты шаги к расторжению ее брака по мотивам жестокого обращения и всякого рода обид и злоупотреблений с моей стороны.

У меня имелись копии этих драгоценных писем, как той, так и другой стороны, тщательно снятые моим вышеназванным родственником, крестником и секретарем мистером Редмондом Квином, возведенным мной в достоинство управляющего замка Линдон. Это был сын моей старинной зазнобы Норы, которого я в припадке великодушия взял на свое попечение, пообещав дать ему образование в колледже Святой Троицы и устроить его будущее. Но после того как он год проучился в университете, начальство распорядилось не допускать его на лекции и в общежитие, пока он не внесет положенную плату. Оскорбленный столь наглой выходкой, — речь шла о какой-то пустячной сумме, я лишил это заведение своего покровительства и отозвал молодого человека в замок Линдон, где у меня нашлась для него тысяча всяких дел. При жизни моего дорогого мальчика Квин обучал его всем наукам, поскольку позволял живой нрав ребенка, — смею вас уверить, бедняжка Брайен не доставлял своим книжкам большого беспокойства. Кроме того, Квин вел расчетные книги миссис Барри, ведал моей нескончаемой корреспонденцией с адвокатами и управляющими, играл вечерами в пикет и триктрак со мной и с матушкой, или, будучи довольно способным малым (хотя и с неуживчивым заносчивым характером, подобающим сыну такого отца), аккомпанировал леди Линдон на флажолете, когда она садилась за клавикорды, или же читал с ней французские и итальянские книги, обоими языками ее милость владела в совершенстве, и Квин весьма преуспел в них под ее руководством. Эти разговоры на непонятных ей наречиях бесили мою бдительную старушку — ей мерещилась тайная измена. Зная это, леди Линдон умышленно дразнила почтенную даму и, когда они собирались втроем, обращалась к

Квину то по-французски, то по-итальянски.

Я ни минуты не сомневался в Квине, — этот малый был мой выкормыш, он видел во мне своего благодетеля; к тому же я не раз убеждался в его преданности. Это он доставил мне три письма лорда Джорджа, написанные в ответ на жалобы миледи; письма были заделаны в переплеты книг, которые она получала по абонементу из дублинской библиотеки. Леди Линдон случалось и повздорить с Квином. Ей нравилось, придя в хорошее настроение, передразнивать его походку; когда на нее находил высокомерный стих, она отказывалась садиться за стол с внуком портного. "Присылайте мне кого угодно, только не вашего гадкого Квина", — говорила она, когда я предлагал направить к ней секретаря, чтобы он развлек ее чтением вслух или своей флейтой; ибо, хоть мы и не ладили, выпадали мирные дни, когда я бывал к ней внимателен. Случалось, целый месяц мы в дружбе; потом поссоримся недели на две; а там она запрется на месяц в своей спальне; и все эти домашние неурядицы аккуратно заносились в "Дневник узницы", как она называла свои записки. И занятный же это был документ!

Так, иногда она писала: "Мой монстр был сегодня чуть ли не ласков". Или: "Мой грубиян удостоил меня улыбки". А там, смотришь, пойдет изощряться в выражения неистовой ненависти; на долю же бедной матушки выпадала одна лишь ненависть: "Сегодня драконша занемогла: хоть бы господь прибрал ее!" Или: "Эта гадкая торговка с Биллингсгейтского рынка угостила меня своим отборнейшим жаргоном"; все эти комплименты, отчасти в переводе с итальянского и французского, я неукоснительно передавал миссис Барри, разжигая в ней ярость, и таким образом держал свою цепную собаку, как называл я мою родительницу, начеку. Переводчиком моим был все тот же Квин; хоть я и болтал немного по-французски, а по-немецки изъяснялся вполне свободно благодаря военной службе, но с итальянским был вовсе не знаком и радовался, что к моим услугам такой надежный и дешевый толмач.

Этот дешевый и надежный толмач, этот крестник и родич, которого я осыпал благодеяниями, так же как и всю его семью, пытался на деле меня обмануть и по меньшей мере несколько месяцев был в сговоре с моими врагами. Мне думается, дело у них так долго не двигалось с места единственно по недостатку великого двигателя всех измен — денег, в коих мое хозяйство во всех своих уголках испытывало прискорбную нужду; и все же им удалось раздобыть некоторую толику стараниями моего негодяя крестника, который хозяйничал у меня без всякого надзора; план побега был разработан под самым моим носом, заказана была почтовая карета,

сделаны все приготовления, а мне и невдомек.

Чистейшая случайность помогла мне вывести их на свежую воду. У одного моего угольщика была хорошенькая дочка, а у хорошенькой плутовки имелся "бобыль", как это зовется в ирландских деревнях, — парень, носивший письма в замок Линдон, и немало, видит бог, докучливых напоминаний от моих кредиторов перебивало в его сумке; так вот сей почтарь рассказал своей милой, что на днях привез из города кошель с деньгами для мастера Квина и что Тиму из почтовой конторы ведено, по его словам, доставить к определенному часу на тот берег почтовую карету. У мисс Руни не было от меня тайн, она выболтала мне все эти новости и спросила, что еще у меня на уме и какую несчастную девицу я собираюсь увезти в заказной карете и прельстить деньгами, доставленными из города?

Тут меня осенило, что человек, которого я пригрозил на груди, собирается предать меня. Сгоряча я вознамерился схватить беглецов, когда они будут переправляться на пароме, окунуть разок-другой в воду для острастки, а затем застрелить изменника на глазах у леди Линдон; однако одумался, сообразив, какой шум этот побег вызовет по всему графству и как переполошится проклятое судейское сословие, а тогда не миновать беды. Пришлось побороть справедливое возмущение и ограничиться тем, чтобы раздавить подлый заговор на корню.

Я вернулся домой, и не прошло и получаса, как, сраженная моими грозными взглядами, леди Линдон пала на колени, умоляя о прощении, винясь в своей измене, клятвенно заверяя, что никогда это не повторится, — она уже десятки раз хотела передо мной повиниться, да боялась, как бы мой гнев не обрушился на беднягу Квина, ее сообщника, ибо, разумеется, это он был зачинщиком и душою заговора. И хоть я понимал, что все это чистейшая ложь, однако сделал вид, будто верю, и попросил ее отписать своему кузену лорду Джорджу, — по ее признанию, это он снабдил ее деньгами и с ним был согласован план побега, и сообщить ему в нескольких словах, что она отменяет задуманную поездку ввиду пошатнувшегося здоровья ее дорогого мужа, за которым собирается ходить сама. Я добавил к ее письму сухой постскриптом, коим приглашал его милость посетить нас в замке Линдон; я-де мечтаю возобновить знакомство, доставившее мне в свое время огромное удовольствие, обещаю, со своей стороны, разыскать его при первой же возможности и заранее радуюсь этой встрече. Думается, лорд Джордж как нельзя лучше понял смысл моих слов, а именно, что я намерен при первом же случае его пробуровать.

Затем я призвал к ответу моего вероломного племянничка, однако юный изменник обнаружил такое мужество и присутствие духа, каких я не ожидал. Я упрекнул его в неблагодарности, но не тут-то было.

— Какой вы ищете благодарности? — накинулся он на меня. — Я работал на вас, как ни один человек не работал на другого, а вы не платили мне ни гроша. Сами же вы восстановили меня против себя, дав мне поручение, против которого возмущалась моя совесть, принудив шпионить за вашей несчастной женой, чье малодушие так же достойно презрения, как и ваше подлое обращение с ней. Сердце разрывается глядеть, как вы тираните бедную женщину. Я хотел вернуть ей свободу и при первой же возможности повторю эту попытку, так и знайте!

Когда же я пригрозил разmozжить ему череп, он отвечал:

— Что ж, убейте человека, который однажды спас жизнь вашему мальчику и старался охранить его от гибели и разорения, уготованных ему преступным отцом. Счастье, что вмешался всеблагодый промысл и вызволил его из гнездилища порока. Я давно сбежал бы отсюда без оглядки, кабы не надеялся спасти бедняжку графиню. Я поклялся в этом, когда вы впервые ударили ее при мне. Убейте же меня, подлый сутенер! Я знаю, вы были бы рады со мной расправиться, да руки коротки! Ваши собственные слуги привязаны ко мне больше, чем к вам. Лишь троньте меня, и они восстанут; вы еще угодите на виселицу, и по заслугам!

Я прервал этот взрыв красноречия, запустив графином в голову молодца, и, увидев, что он валяется без памяти, пошел к себе поразмыслить о том, что он наговорил. Это верно, что Квин спас жизнь маленькому Брайену и что наш мальчик до своего смертного часа был к нему привязан. "Не обижай Редмонда, папа", — были чуть ли не последние его слова, и я обещал бедняжке у его смертного одра, что не забуду этой просьбы. И так же верно, что дурное обращение с Квином пришлось бы не по нраву моей челяди, у которой он почему-то пользовался любовью; меня же, хоть я и выпивал с этой сволочью и был куда проще в обращении, чем позволяет мой ранг, — они почему-то не любили. Негодяи вечно роптали на меня.

Но я мог бы не тревожиться о судьбе Квина; молодой человек снял с меня эту заботу и сделал это очень просто: очнувшись, он промыл и завязал свою рану, вывел из конюшни коня, а так как он пользовался в имении и парке правами хозяина, никто его не задержал; оставив лошадь у перевоза, он укатил в той самой почтовой карете, что дожидалась леди Линдон. Некоторое время о нем ни слуху ни духу не было, а, поскольку он убрался из моего дома, я не считал его опасным.

Однако женщины так коварны и лукавы, что, кажется, нет человека,

будь то сам Макиавелли, который ускользнул бы из их сетей; и хоть у меня имелись непреложные доказательства коварного замысла графини, — вспомните описанный выше эпизод, когда только моя прозорливость рассеяла ее вероломные планы, вспомните признания, писанные ее собственной рукой, — а все же она сумела меня обмануть, несмотря на всю мою осторожность и на бдительность миссис Барри, охранявшей мои интересы. Если бы я последовал советам доброй матушки, нюхом чуявшей опасность, я не угодил бы в эту нехитрую, но тем более коварную западню.

Отношение ко мне леди Линдон носило странный характер; жизнь ее протекала словно в каком-то умопомешательстве, в вечных сменах ненависти и любви ко мне. Когда я бывал к ней снисходителен (что иногда случалось), она была на все готова, только бы продлить счастливые минуты; в любви эта нелепая, взбалмошная натура так же не знала удержу, как и в ненависти. Что ни говори, а женщины боготворят отнюдь не самых кротких и покладистых мужей, — говорю это по личному опыту. Женщине, на мой взгляд, даже нравится в муже известная грубость, и она ничуть не в обиде, когда он дает ей почувствовать свою власть. Я держал жену в постоянном страхе; бывало, улыбнусь — и она вся просияет, пальцем поману — прибежит и станет ластиться, как собачонка. Еще в школе, за мое короткое пребывание там, я заметил, что громче всех шуткам учителя смеются тусы и подлизы. То же самое в полку: если грубиян сержант расположен остричь, первыми угодливо регочут новобранцы. Так и разумный супруг должен держать жену в строгости. Я добился того, что моя высокородная супруга целовала мне руку, стаскивала с меня сапоги, была у меня на посылках, как служанка, и радовалась моему хорошему настроению, точно светлому празднику. Возможно, я переоценил прочность подобного вынужденного повиновения, а также упустил из виду, что кроющееся в нем лицемерие (все робкие люди лжецы по натуре) может принять и нежелательный характер, рассчитанный на то, чтобы меня обмануть.

После описанной неудачной попытки к бегству, давшей мне повод для бесконечных издевок, естественно было бы считать, что я настороже в отношении тайных намерений моей жены; однако она сумела меня провести поистине беспримерным притворством, полностью усыпив мою подозрительность в отношении ее дальнейших планов: так, однажды, когда я подтрунивал над ней, спрашивая, не угодно ли ей опять прокатиться на плоту и не нашла ли она себе нового любовника и так далее в том же роде, леди Линдон вдруг расплакалась и, схватив меня за руки, воскликнула с горячностью:

— Ах, Барри, ты прекрасно знаешь, я никого никогда не любила, кроме тебя! В каком бы я ни была отчаянии, достаточно твоего ласкового слова, чтобы я вновь узнала радость. Как бы ни сердилась, малейшая твоя попытка к примирению заставляет меня все забыть и простить. Разве я недостаточно доказала свою любовь, сложив к твоим ногам одно из богатейших состояний Англии? И разве я об этом когда пожалела или упрекнула тебя, увидев, как бессмысленно ты его расточаешь? Нет, я слишком тебя любила, любила горячо и преданно. С первой же встречи я безотчетно к тебе потянулась. Я видела твои недостатки, я трепетала перед твоей грубостью, но отказаться от тебя была не в силах. Я вышла за тебя наперекор рассудку и долгу, зная, что этим подписываю собственный приговор. Каких же еще жертв ты от меня требуешь? Я готова на что угодно, только люби меня, а если не можешь, хоть не оскорбляй.

Я был в тот день особенно благодушно настроен, и между нами состоялось нечто вроде примирения, хотя матушка, услышав эту речь и увидев, что я склонен размякнуть, самым серьезным образом остерегла меня, сказав:

— Попомни мое слово, эта хитрая шлюха снова что-то замышляет.

Старушка оказалась права. Я же проглотил наживку ее милости так же доверчиво, как пескарь заглатывает крючок.

В то время я вел переговоры с одним человеком относительно крайне необходимой мне суммы; однако миледи после нашей размолвки по вопросу о наследовании решительно отказывалась подписать какие-либо бумаги в мою пользу, а без ее подписи, как ни грустно, имя мое не пользовалось доверием в коммерческих кругах и я не мог получить ни единой гинеи от моих лондонских и дублинских заимодавцев. Напрасно уговаривал я этих ракалий прокатиться ко мне в замок Линдон: после злополучной истории с адвокатом Шарпом, у которого я забрал в долг все бывшие при нем деньги, и со стариком Залмоном (кто-то, едва он ступил за мой порог, отнял у него выданное мною заемное письмо <sup>[64]</sup>), никто из этой братии не решался довериться моему гостеприимству. Наши ренты были тоже в руках у судебных исполнителей, единственное, что мне удавалось выжать из негодяев, это деньги для расплаты с поставщиками вин. Английские наши владения, как я уже говорил, были также под секвестром, а стоило мне обратиться к моим управляющим и адвокатам, как эти алчные мошенники отвечали мне встречными требованиями денег, ссылаясь на какие-то несуществующие долги и другие свои претензии ко мне.

Нечего и говорить, как я обрадовался, получив сообщение от своего поверенного из Грейз-инна в Лондоне (в ответ на сто первое мое письмо),



что у него появилась возможность раздобыть для меня некоторую сумму: к его письму было приложено отношение весьма почтенной лондонской фирмы, связанной с горными компаниями; эти господа предлагали выкупить сравнительно небольшую задолженность по одному из наших имений при условии получения его в долгосрочную аренду. Однако они требовали, чтобы сделка была совершена за подписью графини и чтобы я представил им доказательства того, что согласие дано ею от чистого сердца. До них дошли слухи, будто графиня живет в постоянном страхе передо мной и подумывает о разводе, а в этом случае она может опротестовать любую свою сделку, заключенную под нажимом, что уже само по себе привело бы к разорительной для фирмы тяжбе с сомнительным исходом; а посему, до того как выдать хотя бы шиллинг аванса, они просят гарантий в том, что согласие графини было добровольным.

Эти господа так тщательно оговорили все условия, что я нимало не усомнился в серьезности их намерений; по счастью, графиня была настроена милостиво, и мне не стоило труда упросить ее написать им собственноручно, заверяя, что все слухи о каких-то недоразумениях между нами — злостная клевета, что мы живем в ладу и дружбе и она готова скрепить любую сделку, какую ее мужу благоугодно заключить.

Предложение пришлось как нельзя кстати и преисполнило меня надежд. Я не докучал читателям подробными рассказами о моих долгах и тяжбах, которые к тому времени так разрослись и усложнились и так на меня давили, что я уже сам в них путался и терял голову. Достаточно сказать, что у меня окончательно истощились деньги и кредит. Я жил безвыездно в замке Линдон, пробавляясь собственной бараниной и говядиной, потребляя хлеб, торф и картофель со своих угодий и полей; а тут еще приходилось следить за леди Линдон в стенах моего дома и за судебными приставами — вне его стен. За последние два года, с тех пор как я так неудачно съездил в Дублин за деньгами (и, к великому разочарованию моих кредиторов, продулся в пух), я и вовсе не решался туда показываться и только изредка навещивался в главный город графства, и то лишь потому, что знал там всех шерифов: я поклялся, что, если со мной что случится, виновнику не сносить головы. Надежда на изрядную сумму меня окрылила, я ухватился за нее, как утопающий за соломинку.

Спустя некоторое время от проклятых лондонских купцов пришел ответ, где говорилось, что, если леди Линдон подтвердит свое письменное заявление лично в их лондонской конторе на Берчин-лейн, они, ознакомившись с названной недвижимостью, очевидно, придут со мной к

соглашению; однако они решительно отклоняли мое предложение приехать для переговоров в замок Линдон: им известно, как там приняли столь уважаемых дублинских дельцов, как господина Шарп и Залмон. Это был явный выпад против меня. Но бывают положения, когда мы не можем диктовать свои условия, а меня так прищучили долги, что я подписал бы контракт с самим чертом, явись он искушать меня порядочной суммой.

Я решил ехать сам и взять с собой леди Линдон. Напрасно матушка молила и предостерегала меня.

— Верь мне, — говорила она, — тут какой-то подвох. Тебе не поздоровится в этом ужасном городе. Здесь ты можешь годы и годы жить в довольстве и холе, если не считать, что в погребке хоть шаром покати и в доме нет ни одного окна целого. Но стоит им залучить тебя в Лондон, и тебе, бедный невинный мой мальчик, несдобровать... Чует мое сердце, хлебнешь ты там горя.

— Зачем куда-то ехать? — спрашивала и жена. — Я и здесь счастлива, с тех пор как ты ко мне переменялся. Мы не можем явиться в Лондон, как нам подобает; небольшие деньги, которые ты получишь, уйдут туда же, куда ушли остальные. Давай лучше жить, как пастушок и пастушка, пасти наше стадо и довольствоваться малым! — И, взяв мою руку, она поцеловала ее. На что матушка только фыркнула:

— Знаем мы этих подлых антиресанок! Я уверена, тут без нее не обошлось!

Я обозвал жену дурой, а миссис Барри попросил не тревожиться. Мне не терпелось ехать, и я слышать не хотел никаких возражений. Встал вопрос о деньгах на дорогу, и добрая матушка, всегда вызволявшая меня в трудную минуту, достала из чулка шестьдесят гиней — то были все наличные деньги, какими Барри Линдон из замка Линдон, женившийся на двадцати тысячах годового дохода, теперь располагал; вот к какому падению привело меня мотовство (как я должен признать), главным же образом мое легкоеверие и людская подлость.

На сей раз, как нетрудно себе представить, мы обошлись без торжественных проводов: никому не сообщили о своем отъезде и не делали прощальных визитов. Знаменитый Барри Линдон и его сиятельная супруга отправились в Уотерфорд на почтовых под именем мистера и миссис Джонс, а оттуда морем в Бристоль, куда и прибыли без особых приключений. Нет легче и приятнее дороги, чем отправляться к черту! Мысль о предстоящем получении настраивала меня на приветливый лад, и миледи, склонив голову мне на плечо в почтовой карете, увозившей нас в Лондон, говорила, что это самое счастливое ее путешествие со дня нашей

свадьбы.

На одну ночь мы остановились в Рэдинге, откуда я отправил моему агенту в Грейз-инн записку, в коей сообщал, что завтра я к ним буду, и просил подыскать мне квартиру, а также ускорить получение задатка. Мы с женой решили ехать во Францию и там дожидаться лучших времен; в тот вечер за ужином мы строили планы наших будущих развлечений и разумной, расчетливой жизни. Нас можно было принять за воркующих влюбленных. О, женщины, женщины! Как сейчас помню манящие улыбки леди Линдон и ее заигрывания, — какой счастливой она казалась в тот вечер! Какой невинной доверчивостью дышало все ее существо, каких только нежных имен она мне не надавала! Нет, я пасую перед подобным лицемерием! Не удивительно, что такой бесхитростный человек, как я, оказался жертвой столь отъявленной обманщицы.

Мы прибыли в Лондон к трем часам, и наша карета уже за полчаса до условленного времени подкатила к Грейз-инну. Я без труда отыскал контору мистера Тейпуэлла, — мрачная это была берлога, и в злополучный час переступил я ее порог! Когда мы поднимались с черного хода по грязной лестнице, освещенной тусклой лампочкой и угрюмым лондонским предвечерним небом, странное волнение охватило леди Линдон; казалось, у нее подкашиваются ноги.

— Редмонд, — сказала она, едва мы подошли к порогу, — не заходи, я уверена, нам грозит опасность. Еще не поздно, давай вернемся в Ирландию, куда угодно! — И, став в одну из своих излюбленных театральные поз, она загородила дверь и схватила меня за руку.

Я только слегка отстранил ее плечом.

— Леди Линдон, вы старая дура! — говорю.

— Ах, вот как, я старая дура! — взвилась она. Да как подскочит к звонку и давай трезвонить. Нам сразу же открыл потасканного вида джентльмен в пудреном парике, она только крикнула ему на ходу: "Леди Линдон прибыла!" — и заковыляла по коридору, бормоча про себя: "Так, значит, я старая дура!" Ее задел эпитет "старая", все другое она спокойно бы снесла.

Мистер Тейпуэлл сидел в своей затхлой конуре, окруженный пергаментными свитками и жестяными коробками. Он с поклоном поднялся нам навстречу, попросил ее милость сесть и молча кивнул мне на кресло, куда я и опустился, весьма удивленный такой наглостью, вслед за чем он скрылся в боковую дверь, обещая тотчас же вернуться.

Он действительно тут же вернулся, ведя за собой — кого бы вы думали? еще одного стряпчего, шестерых констеблей в красных жилетах с

дубинками и пистолетами, милорда Джорджа Пойнингса и его тетку, леди Джейн Пековер.

Увидев свою старую пассию, леди Линдон с истерическим воплем кинулась ему на шею, называя его своим спасителем, своим благородным рыцарем и ангелом-хранителем; а затем, повернувшись ко мне, излила на меня такой поток брани, что я не мог прийти в себя от изумления.

— Хоть я и старая дура, — говорила она, — а провела самого прожженного и вероломного злодея на свете. Да, я была дурой, когда стала вашей женой, презрев ради вас другие, благородные, сердца; была дурой, когда, забыв свое имя и славный род, связала свою судьбу с ничтожным проходимцем; была дурой, когда безропотно сносила чудовищное тиранство, какого не знала ни одна женщина, терпела, когда имущество мое расхищалось, когда беспутные твари нашего звания и пошиба...

— Ради бога, успокойтесь, — воззвал к пей стряпчий и тут же отпрянул за спины констеблей, сраженный моим грозным взглядом, который, видимо, пришелся негодяю не по вкусу. Я и в самом деле растерзал бы его на части, если бы он отважился подойти ближе. Тем временем миледи, упиваясь бессмысленной яростью, продолжала осыпать проклятиями и меня, и особенно мою матушку, на чью голову она обрушила брань, достойную Биллингсгейтского рынка, неизменно начиная и кончая каждую фразу все тем же восклицанием "дура".

— Что же вы не договариваете, миледи? — огрызнулся я. — Я сказал: "Старая дура"!

— Не сомневаюсь, сэръ, — вмешался коротышка Пойнингс, — что вы говорили и делали все, что только способен сказать и сделать негодяй. Миледи теперь в безопасности, она под защитой своих родных и закона и может не бояться ваших бесстыдных преследований.

— Зато вы не в безопасности! — взревел я. — На сей раз вам не уйти живым — это так же верно, как то, что я человек чести и однажды уже отведал вашей крови!

— Заметьте себе его слова, констебли, — взвизгнул огрызок стряпчий, высунувшись из-за укрытия полицейских спин. — Вы подтвердите под присягой, что он угрожал убить милорда!

— Я не стану марать свою шпагу кровью такого негодяя! — воскликнул милорд, озираясь на тех же доблестных защитников. — Но предупреждаю: если этот каналья хотя бы на один лишний день задержится в Лондоне, он будет схвачен властями, как самый обыкновенный мошенник.

Эта угроза заставила меня внутренне поежиться; я знал, что в городе

гуляют десятки предписаний о моем аресте и что, раз угодив в тюрьму, я уже оттуда не выберусь.

— Кто это осмелится наложить на меня руку? — крикнул я, выхватив шпагу и став спиной к двери. — Пусть негодяй выступит вперед. Вот вы, вы, крикливый бахвал, выходите первым, если вы мужчина!

— Мы не собираемся вас арестовать! — сказал стряпчий; тут я заметил, что моя благоверная, ее тетушка и весь взвод судебных приставов, едва он заговорил, попятились назад. — Уважаемый сэр, мы не арестовать вас собираемся. Мы дадим вам приличное вознаграждение, только покиньте эту страну — оставьте миледи в покое!

— И освободите страну от злодея! — добавил милорд и тоже попятился к двери, пользуясь возможностью отодвинуться от меня на приличное расстояние; негодяй стряпчий ретировался за ним следом, оставив меня одного и отдав в полное распоряжение трех вооруженных до зубов барбосов. Мне было уже не двадцать лет, когда я со шпагой в руке бросился бы на этих скотов и, по крайней мере, с одним из них разделался бы по-свойски. Дух мой был сломлен, я угодил в форменную ловушку, доверившись, как дурак, этой обманщице. Может быть, она уже пожалела о своем поступке, когда, замешкавшись перед дверью, стала просить меня не входить. Может быть, у нее еще теплилось какое-то чувство ко мне? Впоследствии я именно так истолковал ее поведение. Ию сейчас у меня был один-единственный шанс. Итак, я сложил свою шпагу на стол стряпчего.

— Не бойтесь, джентльмены, — сказал я, — на сей раз дело обойдется без кровопролития: скажите мистеру Тейпуэллу, что я готов побеседовать с ним, как только у него найдется время! — Сказав это, я сел и спокойно скрестил руки на груди. Как это было непохоже на прежнего Барри Линдона! Когда-то в одной старой книге я прочитал о Ганнибале, карфагенском полководце, вторгшемся в Рим; его победоносные полки, не знавшие себе равных в мире и все сметавшие на своем пути, расположились на постой в каком-то городе, где они так погрязли в роскоши и наслаждениях, что в следующую же кампанию были побиты. То же самое было теперь со мной. Я чувствовал себя конченным человеком. Непроходимая пропасть отделяла меня от юного храбреца, который на шестнадцатом году жизни застрелил своего противника, а потом в течение шести лет побывал во множестве сражений. Сейчас, во Флитской тюрьме, где я пишу эти строки, мой сосед, плюгавый сморчок, не перестает надо мной издеваться и вечно лезет в драку, а я его пальцем тронуть не смею. Но я предвосхищаю события постыдной и мрачной повести моего унижения — лучше расскажу все по порядку.

Я устроился на ночлег в кофейне по соседству с Грейз-инном и, дав знать мистеру Тейпуэллу, где стою, с нетерпением ждал его прихода. Он явился ко мне с предложением от друзей леди Линдон закрепить за мной жалкую ренту в триста фунтов при условии, что я буду получать ее, живя за границей, за пределами трех королевств, и тотчас же потеряю при возвращении. Он также сообщил мне, — впрочем, я и сам это знал, — что, если я задержусь в Лондоне, мне неминуемо грозит тюрьма; что как в столице, так и в Западной Англии гуляет множество предписаний о моем аресте, а при моей репутации никто мне и шиллинга не доверит взаймы; изложив все это, он дал мне ночь на размышление, добавив, что, если я не соглашусь на эти условия, родственники леди Линдон возбудят против меня судебное дело; если же я их приму, четвертая часть условленной суммы будет мне выплачена в любом иностранном порту по моему выбору.

Что оставалось делать одинокому, несчастному, сломленному человеку? Я согласился на ренту и на следующей же неделе был объявлен вне закона изгнанником, без права возвращения на родину. Как я после узнал, погубил меня все тот же негодяй Квин. Это он придумал заманить меня в Лондон. У них с леди Линдон было условлено, какой печатью он скрепит письмо стряпчего; Квин с самого начала стоял за этот план, но леди Линдон, как натура романтическая, предпочла побег. Обо всем этом матушка написала мне в мое унылое изгнание, предлагая приехать и разделить его со мной; но я отклонил это предложение. Она покинула замок Линдон вскоре после меня, и тишина воцарилась в обширном зале, где я удивлял мир неслыханным гостеприимством и роскошью. Матушка уже не надеялась со мной увидеться и горько мне пеняла, что я ее забыл; но она ошибалась как в своей догадке, так и в дурном мнении обо мне. Она очень стара, но в эту самую минуту сидит подле меня в тюрьме и что-то шьет или вяжет. Миссис Барри сняла себе комнатку через дорогу на Флитском рынке, и на пятьдесят фунтов годовых, которые она с мудрой дальновидностью уберегла от расточения, мы кое-как влачим жалкое существование, недостойное знаменитого светского щеголя Барри Линдона.

На этом и заканчивается исповедь Барри Линдона; смерть оборвала труды нашего простодушного автора, так л не позволив ему после изложенных здесь событий продолжить свои записки; всего же он прожил во Флитской тюрьме девятнадцать лет и, судя по тюремной хронике,

умер от белой горячки. Матушка его достигла необычайно преклонных лет, и обитатели этих мест, еще заставшие ее, немало порасскажут вам о ежедневных стычках между матерью и сыном, не утихавших до тех пор,

пока последний, из-за неискоренимого пристрастия к вину, не впал в почти полное слабоумие; неугомонная старуха мать ходила за ним, как за малым ребенком, а он обливался слезами, когда не получал привычной порции коньяку.

У нас нет точных сведений о его жизни на континенте; очевидно, он вернулся к бывшей профессии игрока, однако без бывшего успеха.

Спустя некоторое время Барри негласно приехал в Англию. Здесь он пытался шантажировать лорда Джорджа Пойнинга, угрожая обнародовать его переписку с леди Линдон и этим сорвать помолвку милорда и мисс Драйвер, богатейшей невесты со строгими принципами и целой армией рабов в Вест-Индии. Только чудом спасся Барри от судебных приставов, коих натравил на него лорд Пойнинг. Не удовлетворись этим, лорд Джордж пожелал лишить Барри его пенсион; но леди Линд он воспротивилась этому акту справедливости и даже прервала все отношения с лордом Джорджем с того дня, как он женился на вест-индской богачке.

Дело в том, что пожилая графиня все еще верила в свои чары и не переставала любить мужа. Она жила в Бате, препоручив свое состояние бдительным заботам своих родичей Типтофов, к коим оно и должно было перейти за отсутствием прямых наследников; и так неотразимо было обаяние Барри и его власть над этой женщиной, что он чуть не уговорил ее к нему вернуться; но их общие планы были неожиданно расстроены появлением лица, которое долгие годы почиталось умершим.

То был не кто иной, как виконт Буллингдон, чье внезапное возвращение словно громом всех поразило и особенно озадачило его родственника из дома Типтофов. Юный лорд объявился в Бате вооруженный письмом мистера Барри к лорду Джорджу, в коем первый угрожал огласить связь леди Линдон со своим сиятельным кузеном — связь, ни в коей мере не порочившую ни одну из сторон, ибо выражалась она единственно в том, что ее милость имела обыкновение писать глупейшие письма, черта, свойственная многим дамам, да и джентльменам, и до нее. Мстя за бесчестие, нанесенное матери, лорд Буллингдон, повстречав своего отчима в галерее, где пьют минеральную воду, (последний проживал в Бате под именем мистера Джонса), набросился на него и отделал без всякого снисхождения.

История молодого лорда после его побега изобиловала романтическими приключениями, но не наше дело ее рассказывать. В Американскую войну он был ранен и оказался в списке убитых, на самом же деле попал в плен и бежал. Обещанные деньги так и не были ему высланы; подобное пренебрежение так ранило сердце впечатлительного и

гордого юноши, что он предпочел остаться мертвым для света и для отрекшейся от него матери. С трехлетним запозданием прочитал он где-то в канадских лесах случайно подвернувшуюся в "Журнале для джентльменов" заметку о смерти своего сводного брата под заглавием "Несчастный случай с лордом-виконтом Касл-Линдоном" и под впечатлением этой новости решил вернуться в Англию. Здесь он открылся родным, но лишь с величайшим трудом убедил лорда Типтофа в правомерности своих притязаний. Он собирался навестить графиню Линдон в Бате, когда наткнулся на мистера Барри Линдона и, сразу же узнав его, несмотря на скромное обличив знаменитого щеголя, выместил ему все свои обиды.

Услыхав об этой встрече, леди Линдон пришла в ярость; она отказалась видеть сына и готова была немедленно броситься в объятия возлюбленного Барри, но сей джентльмен был уже схвачен. Его таскали по тюрьмам, пока не отдали под надзор мистера Бендигго на Чансери-лейн, помощника мидлсекского шерифа, а уже от него переправили во Флитскую тюрьму. От шерифа и его помощника, от заключенного и даже от самой тюрьмы осталось ныне одно воспоминание.

Пока жива была леди Линдон, Барри получал свой пенсион и, возможно, был так же счастлив в заточении, как и в любую пору своей жизни; когда же ее милость скончалась, наследник, со свойственной ему суровостью, прекратил это баловство и обратил всю сумму на дела благотворения, заметив, что разумнее употребить деньги на добрые начинания, чем дарить отпетому негодяю. После гибели его милости в Испанскую кампанию в 1811 году все его достояние перешло к семейству Типтофов, и его графское достоинство померкло в сиянии их княжеского титула; но ниоткуда не видно, чтобы новый маркиз Типтоф (лорд

Джордж унаследовал титул старшего брата) возобновил мистеру Барри его ренту или чтобы он вслед за покойным лордом пожертвовал ее на дела благостыни. Под рачительным управлением маркиза в поместье Хактон водворился вождеденный порядок: деревьям Хэктонского парка минуло уже сорок лет; что же до его ирландских владений, то они раздроблены на мельчайшие участки и отданы в аренду местным крестьянам, которые и поныне занимают любознательных слушателей рассказами о смелой, бесшабашной и беспутной жизни Барри Линдриа и о его падении.



## Комментарии

Замысел "Барри Линдона" возник у Теккерея в 1841 году. Гости у одного из друзей в замке Стритлэм, на севере Англии, он вычитал в семейной хронике владельцев поместья историю типичного для XVIII века авантюриста, некоего лейтенанта Стони. Этот проходимец свел в могилу одну жену, выбранную за ее богатство, а вторую, леди Стратмор, так обирал и тиранил, что она бежала из дома и возбудила против него судебное дело. Последние двадцать лет жизни этот Стони провел в долговой тюрьме, где и умер так же, как герой Теккерея, которому он послужил прототипом.

Теккерей тогда же предложил издателю Фрэзеру написать "историю Барри Линна", "которая, я уверен, будет забавна". Однако обстоятельства помешали писателю сразу приняться за осуществление замысла. Роман "Карьера Барри Линдона" ("The Luck of Barry Lyndon" — так было озаглавлено в журнальном варианте это произведение, которому Теккерей позднее дал название "Записки Барри Линдона") был начат в октябре 1843 года и печатался в "Eraser's Magazine" ("Журнал Фрэзера") с января 1844 до конца года.

"Записки Барри Линдона" — первый роман Теккерея. Работая над ним, Теккерей испытывал чувство неуверенности. Отнюдь не робкий по своему литературному темпераменту, успевший закалиться во многих полемических схватках, писатель не был, однако, убежден в том, поймут ли читатели его иронию и оценят ли по достоинству сатирический подтекст его повествования. По сообщению его биографа Гордона Н. Рэя, Теккерей "оборвал" свой роман, "потому что боялся публики".

Только после успеха "Книги снобов" (1846–1847) и особенно "Ярмарки тщеславия" (1847–1848) "Барри Линдон" был извлечен из старого комплекта "Журнала Фрэзера" и издан отдельной книгой. Но это первое издание романа было осуществлено "пиратским" способом в США издателем Эпплтоном, не спросившим на то со

гласил автора и даже не уплатившим ему гонорара. Сам Теккерей вернулся к "Барри Линдону" только в 1856 году, включив его в третий том своих "Смешанных сочинений". Готовя это издание к печати, он внес некоторые изменения в первоначальный текст 1844 года: значительно сократил, в частности, свои "редакторские" комментарии к автобиографическому рассказу героя.

В "Записках Барри Линдона" Теккерей довольно близко следует своим первоисточникам — истории авантюриста Стони, мемуарам знаменитого Казаковы и европейским придворным хроникам, при помощи которых ему удалось воссоздать подлинную атмосферу той эпохи, к которой принадлежит герой. Барри Линдон родился на свет около 1742 года, участвовал в Семилетней войне (1756–1763) то под английскими, то под прусскими знаменами. Он блистал при европейских дворах под сомнительным титулом шевалье де Баллибарри, заседал в парламенте и, промотав не одно состояние, закончил свой век в долговой тюрьме уже во время наполеоновских войн.

Воскрешение минувшего не было ни единственной, ни главной задачей Теккерей. Изображаемая им эпоха интересует писателя скорее тем, что сближает ее с его временем. Раззолоченный лепной фасад феодально-аристократического строя гораздо менее занимает внимание художника, чем тот грибок буржуазного хищничества, который в темноте, незаметно, но безостановочно точит балки и стропила этого строя, превращая их в гниль и труху. Понятия дворянской чести, долга, верности династии еще в ходу, как стертая разменная монета, но ею пользуются для сделок совсем иного рода. Все продается — мундиры, титулы, места в парламенте. Солдатами торгуют, как товаром. Коронные драгоценности идут в заклад. Головокружительные метаморфозы Барри — рекрута, дезертира, лакея, прусского шпиона, шулера и шантажиста, который принят как ровня в кругу августейших особ и, женившись на леди Линдон, становится на время одним из признанных столпов английского общества, — типичны для этого мира.

Секрет успеха этого хищника объяснялся тем, что он в совершенстве постиг своекорыстную механику своей общественной среды и следовал ее законам. Мерзок не только сам Барри Линдон, мерзко то общество, где он делает свою карьеру.

В отличие от многих современных ему писателей, ставивших в центр своих романов положительных героев, которым читатели могли сочувствовать, Теккерей изобразил в лице Барри Линдона персонаж, который, пользуясь современным нам термином, можно назвать антигероем.

"Записки Барри Линдона" — убийственное саморазоблачение мерзавца, который, однако, столь твердо убежден в своем джентльменском достоинстве, что беззастенчиво хвастает самыми грязными аферами как чудесами остроумия, ловкости и отваги. Но суть романа не только в обличении Барри Линдона. Он лишь один из многих подобных ему

хищников. Так ли уж отличается его карьера, например, от карьеры его соперника, лорда Пойнингса, позднее маркиза Типтофа? Унаследовав родовое состояние леди Линдон после ее смерти, маркиз Типтоф привел в порядок имение, разоренное Барри. Но намного ли лучше живется крестьянам при новом, бережливом хозяине, который не тратит ни гроша на благотворительность и сдает им в аренду свои земли крошечными участками?

Именно на такой иронической ноте заканчиваются "Записки Барри Линдона". Теккерей, выступающий здесь в качестве комментатора "подлинных" воспоминаний своего героя, не упускает случая напоследок еще раз напомнить читателям, что мораль, вытекающая из рассказанной истории, отнюдь не так проста, как это кажется. В романе заключена своего рода притча. Обличая одного хищника, писатель ополчается против хищничества, ставшего своего рода нормой общественной жизни.

В "Записках Барри Линдона" есть несомненные признаки того, что формальные границы избранного жанра несколько стесняют писателя. Вынужденный сдерживать свое полемическое негодование, романист может дать ему выход только в саркастических примечаниях "от издателя" да в эпилоге, завершающем роман. В некоторых же случаях можно заметить, что, поддаваясь соблазну поделиться с читателем своими заветными мыслями, Теккерей жертвует цельностью характера героя и заставляет Барри предаваться философским размышлениям, которые не вяжутся с обликом этого беспринципного авантюриста. Гневное осуждение войны, раздумья о горькой участи бедняков — все это скорее принадлежи самому Теккерю, чем Барри Линдону.

"Записки Барри Линдона" предваряют шедевр Теккеря — "Ярмарку тщеславия", этот "роман без героя", как многозначительно назвал его в подзаголовке писатель. История Барри послужила для автора "Ярмарки тщеславия" превосходной школой реалистического мастерства. Работа над этим произведением позволила Теккерю составить суждение о сравнительных преимуществах двух способов изложения: документального, претендующего на полную "достоверность" рассказа от первого лица, и свободного широкого повествования с несколькими то сплетающимися, то расходящимися линиями сюжета, где автор непринужденно беседует с читателем, не только обсуждая действия своих персонажей, но и высказывая собственные взгляды на жизнь и искусство.

Позднее, в романе "История Генри Эсмонда" (1852), написанном в том же мемуарно-автобиографическом жанре, что и "Записки Барри Линдопа", Теккерей нашел более последовательное в художественном отношении

решение этого противоречия. Он поставил в центре повествования героя, во многом близкого ему самому по образу мыслей, складу характера и жизненной судьбе.

Уже первый роман Теккерея был яркой антибуржуазной сатирой. Посвященные событиям и людям минувших дней, "Записки Барри Линдона" были обращены и к будущему: в них воплотилось глубокое, страстное презрение Теккерея к буржуазному хищничеству и власти чистогана.

А. Елистратова

\*

Гвиллим Джон (1565–1621) — английский историк, автор работ по геральдике и генеалогии.

Д'Озье Пьер (1592–1660) — французский историк. Автор известного в свое время труда по генеалогии дворянских семейств.

Ричард II (1367–1400) — английский король в 1377–1400 гг. В 90-х годах XIV в. возглавлял военные походы в Ирландию и добился номинального подчинения вождей ирландских кланов. Фактически большая часть страны оставалась под властью ирландцев.

...который дал бы отпор кровавому насильнику Оливеру Кромвелю. Кромвель Оливер (1599–1658) — крупнейший деятель английской буржуазной революции XVII в. Борясь с феодальной реакцией, в то же время жестоко подавлял демократическое движение народных масс в Англии и национально-освободительную борьбу в Ирландии. В 1649 г. Кромвель высадился с десятитысячной армией в Ирландии, охваченной с 1641 г. восстанием против английского господства. Покорение Ирландии сопровождалось беспощадным истреблением населения и пленных. Восстание было подавлено только в 1652 г., после чего была проведена массовая конфискация земли у ирландцев.

...взял в жены дочь мюнстерского короля... — Мюнстер — провинция Ирландии; до английского завоевания делилась на два королевства: Северное и Южное.

...против кровавого пивовара. — Имеется в виду Оливер Кромвель, отец которого занимался пивоварением, а мать держала пивную лавку.

Георг II (1683–1760) — английский король с 1727 по 1760 г.

...участвуя в злополучном Шотландском восстании 45-го года. — Речь идет о вооруженном выступлении шотландских горцев в 1745–1746 гг.

Направленное в защиту низведенной с престола династии Стюартов, оно в то же время выражало протест против гнета со стороны господствующих классов Англии. Восстание окончилось неудачей.

...воспользовавшись законами доброго старого времени, присвоил себе права дяди Корнелия и отнял у него родовое имение. — По законам, введенным англичанами в Ирландии, ирландцы-католики были лишены всех гражданских и политических прав. Земли ирландцев конфисковывались и передавались англичанам, а также тем представителям ирландской знати, которые приняли веру завоевателей.

...на пустоши позади Монтегью-хауса. — В то время окраина Лондона, излюбленное место для поединков; теперь здесь находится Британский музей.

Он был завсегдаем "Уайта"... — Имеется в виду кондитерская (кофейня) Уайта в Лондоне на Сент-Джеймс-стрит, где собирались представители высшего света. В то время в Лондоне кофейни были центрами общественной жизни. Представители политических партий, приверженцы различных религиозных течений имели свои кофейни.

...как истая синяя нассаутка, она презирала приверженцев старой веры... — После перехода английского престола к Вильгельму Оранскому (Нассау-Оранскому) в результате государственного переворота 1688–1689 гг. католики Стюарты были лишены прав престолонаследия и государственной церковью стала англиканская. Нассаутка — здесь: сторонница англиканской церкви.

Джонсон Сэмюэл (1709–1784) — английский писатель, публицист и лексикограф. Автор известного "Словаря английского языка", который сыграл значительную роль в закреплении литературных норм английского языка.

Босуэлл (1740–1795) — английский писатель. Родился в Шотландии. Автор биографии Джонсона.

...мой соотечественник мистер Гольдсмит. — Гольдсмит Оливер (1728–1774) — английский писатель. Родился в Ирландии в семье английского пастора. Автор повести "Векфильдский священник", нескольких комедий, поэмы "Покинутая деревня".

Эпсом — город на юго-востоке Англии. Один из главных центров английского коннозаводства и традиционное место скачек.

Шеридан Ричард Бринсли (1751–1816) — английский драматург и политический деятель.

...назвал меня великим Стагиритом. — В городе Стагире родился древнегреческий философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.).

...когда-то служившего французскому королю при Фонтенуа. — При Фонтенуа (на территории Бельгии) в правление Людовика XV 11 мая 1745 г. произошло одно из сражений Войны за австрийское наследство (1741–1748). Французские войска под командованием Морица Саксонского нанесли поражение австрийской и английской армиям.

Ирландская бригада. — Ирландское соединение, участвовавшее в составе французской армии в Войне за австрийское наследство.

...была крещена доктором Свифтом, настоятелем собора св. Патрика в Дублине. — Свифт Джонатан (1667–1745) — выдающийся английский писатель-сатирик, автор "Путешествий Гулливера". Родился в Ирландии, в Дублине. Окончил Дублинский университет. С 1700 г. — приходский священник, а с 1714 г. — настоятель собора в Дублине. В своих знаменитых памфлетах выступал в защиту угнетенных народных масс Ирландии, призывал к борьбе против английского владычества.

Говорили, что Версаль держит руку Претендента. — Имеется в виду Иаков Стюарт (1688–1766), сын английского короля Иакова II, лишённого трона в 1688 г. в результате государственного переворота 1688–1689 гг. Иаков Стюарт при поддержке Франции и римского папы неоднократно пытался вернуть себе престол.

...чувствовавший в себе отвагу по меньшей мере герцога Камберлендского... — Герцог Камберлендский (1721–1765) — английский военный деятель, третий сын английского короля Георга II. Замечание об отваге герцога следует понимать скорее иронически, так как он больше известен поражениями, чем победами.

...о короле Фридрихе... — Речь идет о Фридрихе II (1712–1786), прусском короле с 1740 по 1786 г. Политика Фридриха II наряду с некоторыми реформами в духе просвещенного абсолютизма характеризовалась усилением крепостничества и повышением налогов, которые шли главным образом на увеличение и укрепление армии. Армия Фридриха II комплектовалась путем вербовки и принудительной поставки рекрутов. Примерно половину ее составляли наемники-иностранцы. Прусская армия, державшаяся на основе палочной дисциплины и жестокой муштры, стала при Фридрихе II одной из крупнейших и сильнейших в Европе. Фридрих II вел многочисленные захватнические войны.

Менорка — остров в Средиземном море в группе Балеарских островов, с 1802 г. принадлежит Испании. Во время европейских войн XVIII в. неоднократно переходил из рук в руки.

...не встречал ни, одного добропорядочного ирландского тори... — Тори английская политическая партия, возникшая в конце 70-х — начале

80-х годов XVII в.; выражала интересы крупных землевладельцев-аристократов и верхушки духовенства англиканской церкви. Название "тори", первоначально являвшееся кличкой ирландских католиков-роялистов, было дано партии ее политическими противниками, а потом за ней закрепилось.

...не прошло и десяти минут, как он вручил мне шиллинг его величества. — Имеется в виду вербовка, которая широко проводилась в европейских армиях в период описываемых событий. Вербовка обычно не была добровольной. Вербовщики прибегали к обману, угрозам и прямому насилию.

...женат на блондинке Бесс. — "Блондинка Бесс" — название старинного английского кремневого ружья.

Он... продает свой патент... — В Англии в 1711 г. была узаконена продажа патентов на военные чины. Высокие цены на патенты преграждали доступ к офицерским званиям выходцам из народа.

Семилетняя война (1756–1763) — война между Австрией, Францией, Россией, Швецией, Саксонией, Испанией с одной стороны, и Англией, Пруссией, Португалией — с другой. Война была вызвана обострением англо-французского колониально-торгового соперничества и противоречиями между проводившей агрессивную политику Пруссией и другими европейскими державами — Австрией, Францией и Россией. В результате Семилетней войны к Англии от Франции перешли Канада и Восточная Луизиана (Северная Америка) и было заложено основание Британской империи на Востоке. Пруссия закрепила за собой Силезию; роль Пруссии в Европе значительно возросла.

...привязанность его величества к своим ганноверским владениям сделала его непопулярным в Английском королевстве... — Речь идет об английском короле Георге II: как и другие английские короли Ганноверской династии, он являлся одновременно курфюрстом Ганновера.

...антигерманскую партию возглавлял мистер Питт. — Питт Уильям Старший, граф Чатам (1708–1778) — английский политический и государственный деятель. Решительно выступал против короля Георга II, стремившегося усилить влияние интересов Ганновера на английскую политику. Возглавлял министерство иностранных дел и военное министерство и, руководя политикой Великобритании, был наиболее последовательным и влиятельным сторонником продолжения Семилетней войны.

...после того как мы чуть было не объявили ему войну в союзе с австрийской императрицей. Неисповедимыми судьбами мы оказались на

стороне Фридриха, в то время как императрица австрийская, французы и русские заключили против нас союз. — В Войне за австрийское наследство Англия встала на сторону Австрии, стремясь ослабить Францию. В Семилетней войне Англия выступила в союзе с Фридрихом II, рассчитывая с помощью прусской армии разгромить свою главную соперницу Францию и нанести удар союзным с ней Австрии и России.

...и о католических войсках императора и французского короля. — Речь идет о великом герцоге Тосканском, супруге и соправителе императрицы Марии-Терезии, — который в 1745 г. под именем Франца I был избран императором "Священной Римской империи германской нации". Французский король — Людовик XV.

Битва при Миндене (на реке Везер, Германия, 1759 г.) — одно из сражений Семилетней войны; окончилась победой англичан.

Великий Могол. — Так в Европе называли феодальных правителей Индии (1526–1858). Могол — искаженное "монгол".

Гиллрей Джеймс (1757–1815) — английский художник-карикатурист.

...я видел Ирландское восстание... — Очевидно, имеется в виду восстание, поднятое против англичан ирландским обществом "Объединенные ирландцы" в мае — июне 1798 г., то есть значительно позже событий, описываемых в этой главе. Восстание было жестоко подавлено англичанами.

Пандуры (от местности Пандур в Венгрии) — пешее иррегулярное войско в XVIII в. Участвовало в нескольких европейских войнах, в том числе и в Семилетней войне.

Казанова Джованни Джакомо (1725–1798) — итальянский авантюрист. Автор "Мемуаров", опубликованных уже после его смерти.

Фокс Чарльз Джеймс (1749–1806) — английский политический деятель.

Философ из Сан-Суси. — Так официальные прусские историографы и английские почитатели именовали прусского короля Фридриха II. Резиденцией Фридриха II был дворец Сан-Суси в Потсдаме.

Дюбарри Мари (1746–1793) — фаворитка французского короля Людовика XV.

Parc aux Cerfs — дворец короля Людовика XV в Версале.

Георг III (1738–1820) — английский король с 1760 по 1820 г.

...в сочинении любовных эклог он соперничал с Хэнбери Уильямсом, а в остроумии с Джорджем Селенном. — Уильяме Хэнбери (1708–1732) — английский писатель. Селвин Джордж (1719–1791) — английский писатель-юморист.



Уолпол Хорас (1717–1797) — английский писатель, известен как основоположник жанра "романов ужасов и тайн" (так называемых готических романов).

Грей Томас (1716–1771) — английский поэт-сентименталист. В 1751 г. была напечатана его элегия "Сельское кладбище", принесшая поэту широкую известность.

Монтегью Мэри (1690–1762) — английская писательница. В своих произведениях высмеивала нравы аристократии. Ее "Письма из Турции" содержат интересный материал о быте этой страны.

"Белые ребята" — крестьянская организация в Ирландии, боровшаяся против гнета английских властей и местных лендлордов. "Белые ребята" чаще всего действовали ночью, надевая поверх одежды белые рубашки. Особенно широкий размах их борьба приняла во второй половине XVIII в.

Асквибо — ирландский коньяк.

Верк Эдмунд (1729–1797) — английский публицист и политический деятель.

...в те края, куда Орфей последовал за Эвридикой. — Орфей — в древнегреческой мифологии — поэт и певец, пение которого очаровывало людей и животных. Согласно мифу, он спустился за своей умершей женой Эвридикой в Аид, подземное царство мертвых.

Вместе с моим другом блаженной памяти мистером Уилксом... — Уилкс Чарльз (1727–1797) — английский политический деятель и публицист; в 1774 г. — лорд-мэр Лондона. Выдвигал проект радикальной парламентской реформы, выступал против войны Англии с ее североамериканскими колониями.

...с воротами, изукрашенными в том ужасном готическом вкусе, который приводит мистера Уолпола в такой неопиcуемый восторг. — В своих произведениях Хорас Уолпол выступал как апологет готического стиля в архитектуре.

Миссис Боннифейс. — Боннифейс — персонаж из комедии английского драматурга Джорджа Фаркуэра (1678–1707) "Хитрости щеголей" (1707).

...круглоголовый Линдон, — он унаследовал родовое поместье после брата, благороднейшего человека истинно кавалерственных вкусов и правил... — В период английской буржуазной революции XVII в. "круглоголовые" — сторонники парламента, "кавалеры" — приверженцы короля.

...времен королевы Бесс... — Речь идет об английской королеве Елизавете, правившей с 1558 по 1603 г.

...где ночевал Вильгельм после высадки в Торбэ. — Вильгельм Оранский правитель Нидерландов — по приглашению лидеров партий вигов и тори высадился в ноябре 1688 г. с войском в Англии, в порту Торбэ, и в 1689 г. был возведен на английский престол.

Буше Франсуа (1703–1770) — французский художник, крупнейший представитель живописи рококо. Для позднего Буше характерны эротика, изящная, но безжизненная декоративность.

Ванлоо Шарль-Андре (1705–1765) — французский художник, по происхождению нидерландец. Писал религиозные и мифологические композиции, портреты.

Виндзорский замок (в городе Виндзоре на реке Темзе, к западу от Лондона) — старинный, много раз перестраивавшийся замок, резиденция английских королей.

Темпл — несколько кварталов старинных зданий, расположенных у набережной Темзы, вокруг бывшего храма темплиеров, построенного в XIII в.

...описанному мистером Попом в его "Илиаде". — Поп Александр (1688–1744) — английский поэт, переводчик Гомера. Барри Линдон принимает перевод "Илиады", сделанный Попом, за его собственное произведение.

...мистеру Рейнольдсу я обязан, знакомством со всей их братией и ее великим вождем мистером Джонсоном. — Рейнольде Джошуа (1723–1792) английский художник. Создал свыше двух тысяч портретов политических и государственных деятелей. Был другом английского писателя С. Джонсона и написал его портрет. Основатель и первый президент (1768–1790) Лондонской академии художеств.

...мне не понятен весь этот недавний шум, все эти нарекания на Унию и проистекающие отсюда бедствия. — После подавления английскими войсками восстания 1798 г. в Ирландии была провозглашена уния Англии и Ирландии (1801 г.). Ирландский парламент, в котором в основном были представлены крупные землевладельцы, тесно связанные с Англией, одобрил билль об унии. Большую роль сыграл также подкуп депутатов ирландского парламента, на который английское правительство истратило свыше миллиона фунтов стерлингов, и раздача депутатам различных титулов. По условиям унии, ирландский парламент был объединен с английским. Ирландии было предоставлено право посылать сто депутатов в английскую палату общин и тридцать два лорда — в палату лордов. На Ирландию были распространены английские законы, и все пошлины на английские товары были уничтожены, что привело к гибели ирландской

промышленности. Католики, составлявшие подавляющее большинство населения Ирландии, были лишены политических и гражданских прав. В Ирландии развернулось широкое движение против унии, за независимость страны.

Соседи видели во мне опасного левеллера... — Левеллеры (от англ. "leveller" — буквально: "уравнитель") — мелкобуржуазная группировка, действовавшая в период английской буржуазной революции середины XVII в. Левеллеры, руководителем которых был Джон Лилберн, выступали за установление в Англии демократической республики с однопалатным парламентом, требовали свободы торговли, свободы религии, равенства граждан перед законом.

...устроил свои доходы, оттого что посылал в парламент трех-четырёх депутатов, а имея в своем распоряжении столько мест, пользовался влиянием на министров. — В XVIII в. и в начале XIX в. в Англии действовало избирательное право, сохранявшееся почти без изменений со времен средних веков. Многие крупные промышленные центры (Манчестер, Бирмингем и др.) вообще не имели представительства в парламенте. В то же время маленькие старинные города и местечки с небольшим населением посылали в парламент по несколько депутатов. Члены парламента здесь обычно назначались лендлордами, которые таким образом приобретали влияние в парламенте. Используя "своих" депутатов, лендлорды добивались для себя различных льгот, пособий, титулов.

Клайв Роберт (1725–1774) — один из первых английских завоевателей Индии. С помощью насилия и грабежа составил себе в Индии крупное состояние.

Я попал в парламент в 1776 году, как раз в начале войны с Америкой. Речь идет о Войне за независимость североамериканских колоний (1775–1783), начало которой в английской исторической литературе иногда датируют 1776 г.

Лексингтонская битва — одно из первых крупных сражений (1775 г.) Войны за независимость в Северной Америке; окончилось поражением англичан.

...о нашей "славной победе при Банкер-хилле" (как писали в те дни)... В сражении при Банкер-хилле (близ Бостона) американцы в 1775 г. одержали победу над английскими войсками.

Фриголдеры (от англ. "freehold" — "свободное держание") — владельцы свободных наследственных держаний в Англии. Часть фриголдеров (с доходом не менее сорока шиллингов) пользовалась в период, о котором идет речь, правом выборов в парламент в сельских

округах.

Бьют Джон (1713–1792) — английский государственный деятель.

Порт Фредерик, граф Гилфорд (1732–1792) — английский государственный деятель.

...во время Гордоновых беспорядков... — Гордон Джордж (1751–1793) английский аристократ. Один из главных организаторов антикатолических выступлений и погромов католиков в Лондоне в июне 1780 г.

...кровный сын и наследник, хотя бы и с поперечной чертой в левой стороне герба... — Речь идет о геральдическом обозначении побочного отпрыска знатного рода.

Флитская тюрьма — одна из древнейших лондонских тюрем, куда с XVII в. заключали только неисправных должников; была снесена в 1845 г.

Л. Зак

---

---

<b>notes</b>
--------------

## **Примечания**

\* Мы так и не нашли подтверждения тому, что мой пращур Фодриг был обвенчан со своей супругой, из чего я заключаю, что оный Линдон уничтожил брачный контракт и убил священника, равно как и свидетелей венчального обряда. — Б. Л.

2

От французского "borgne" — "кривой", "одноглазый".

\* В другом месте "Записок" мистер Барри называет свой родной дом одним из великолепнейших дворцов Европы, — такие противоречивые заявления не редкость у его соотечественников; что до ирландского поместья, на которое притязает мистер Барри, то известно, что дед его был стряпчим и жил своим трудом. (Прим. издателя.)



4

Перевод А. Голембы.

5

Твердой земле (лат.).

"О Гретхен, моя голубка, моя нежно любимая труба, моя пушка, моя литавра, мой мушкет"; "Принц Евгений, благородный рыцарь" (нем.).

Тирольские трели (нем.).

8

На войне как на войне (франц.).

Твердыня крепкая наш бог (нем.).

О господи, господи! (франц.)

**11**

Бессмысленный набор английских и латинских слов.



Курс наук (лат.).

Мы идем во Францию! (франц.)

Блеском (франц.).

**15**

Англичанина (нем.).

Связи (франц.).

Коротышка (нем.).

Знаем мы эти штучки! (франц.).

Боже! (франц.).



Болтун (франц.).

В страхе (лат.).

\* Заслуги, о коих упоминает мистер Барри, описаны им в весьма туманных выражениях, и, как мы полагаем, неспроста. Возможно, ему поручалось прислуживать за столом иностранцам, приезжающим в Берлин, а потом сообщать министру полиции сведения, которые могли бы интересовать правительство. Фридрих Великий никогда не принимал гостей без этих мер дальновидного гостеприимства. Что же до бесчисленных поединков мистера Барри, то да будет нам дозволено усомниться в справедливости его показаний. Нетрудно заметить, и "Записки" дают тому не один пример, что едва наш рассказчик попадет в трудное положение или совершит поступок, не слишком благовидный в глазах общества, как его выручает дуэль, из которой он выходит победителем, а отсюда читатель должен заключить, что перед ним человек чести. (Прим. издателя.)

Каретный сарай (франц.).

Название карточной игры. Точное значение — "адская игра" (франц.).

25

В узком кругу (франц.).

Танцовщице (франц.).

Стопка (франц.).



Простолюдину (франц.).

Пусть не выходит — желаю ему счастливого пути! (франц.).

Кислой капусты (нем.).

Парикмахер (франц.).

Замке (франц.).

Соответствует русскому "черт побери" (франц.).

Клубе (итал.).

Ей-ей (франц.).



Жалкая фигура (франц.).

Здравствуй, Максим, как поживаешь? (франц.)

Опасным сердцеедом (франц.).

Ваше высочество (франц.).

Халате (франц.).

**41**

Охотничий нож (франц.).

Незапятнанный Маньи (франц.).

На смертном одре (лат.).



Скандала (франц.).

Туфельки без задников (франц.).

\* По-видимому, это было написано в то время, когда тон лондонским щеголям задавал лорд Бруммель. (Прим. издателя.)

Блестящей собеседницей (франц.).

Учеными (франц.).

Дорогими безделушками (франц.).

Коляски с двумя расположенными друг против друга сиденьями (франц.).

Черт возьми! (франц.).



Пресъщен (франц.).

Учителя фехтования (франц.).

Любвных записок (франц.).

Отвратительным чудовищем (франц.).

Не вставая с места (франц.).

Хорош аббат! У него, прости господи, с дюжину ребятишек! (франц.).

Жирная свинья (франц.).

Чиновников по ведомству желудка (франц.).



Образ жизни (франц.).

\* Под это поместье, поклявшись честью, что оно не заложено, мистер Барри Линдон в 1786 году занял семнадцать тысяч фунтов у капитана Пиджона, сына коммерсанта из Сити, только что вступившего в права наследства. Что же до Полуэллского имения и рудника, которые стали для него "источником бесконечных тяжб", то наш герой действительно купил их, но уплатил только вступительный взнос в размере пяти тысяч фунтов. Отсюда и тяжбы, на которые он жалуется, а также слушавшееся в суде лорд-канцлера нашумевшее дело "Трекотик против Линдона", в каковом разбирательстве весьма отличился мистер Джон Скотт. (Прим. издателя.)

\*Из этих своеобразных признаний можно заключить, что мистер Линдон изводил свою супругу всеми возможными способами: держал взаперти; вымогал у нее имущество, заставляя подписывать каверзные бумаги, а потом расточал его в азартных играх и пирушках; что он открыто изменял ей, когда же она выражала недовольство, грозился отнять у нее детей. Но мистер Линдон, надо сказать, не единственный в своем роде: так поступает множество супругов, что не мешает им считаться славными, безобидными малыми. На свете много таких милых людей, и только потому, что никто еще не осудил их по справедливости, мы и решили выпустить в свет это жизнеописание. Если бы речь в нем шла о романтическом герое — одном из тех безупречных юношей, каких мы встречаем в романах Скотта или Джеймса, — не было бы смысла представлять читателю фигуру, столь многократно и увлекательно воспетую. Мистер Барри Линдон, повторяем, не герой этого знакомого нам покроя; но пусть читатель поглядит вокруг и спросит себя: разве в жизни негодяи преуспевают меньше, чем честные люди? Глупость меньше, чем талант? И разве несправедливо, чтобы исследователь человеческой природы описывал людей этого сорта так же, как и тех принцев из волшебной сказки, тех немыслимо благородных героев, коими так охотно занимают наши сочинители? Есть что-то наивное и недалекое в этих освященных традицией романах, в которых принц Красавчиков к концу своих приключений достигает вершин земного благополучия, равно как и с самого начала он был наделен всеми душевными и телесными совершенствами. Такому сочинителю кажется, будто для вящего торжества своего любимца он обязан произвести его в лорды. Но разве это не утлое представление о *sumum bonum*? Высшее благо отнюдь не в том, чтобы сделаться лордом, и, может быть, даже не в том, чтобы достичь житейского благополучия. Бедность, болезнь, уродство могут быть таким же воздаянием и таким же условием высшего блага, как и житейское благополучие, которое все мы бессознательно обожествляем. Впрочем, это — скорее тема для самостоятельного очерка, чем для беглой заметки на полях; дадим же опять слово мистеру Линдону, и пусть он возобновит свой откровенный и занимательный рассказ о собственных достоинствах и недостатках. (Прим. издателя.)

\* "Записки", как видно, писались в году 1814-м, в том тихом убежище, которое уготовала фортуна автору на закате дней. (Прим. издателя.)

\* О такого рода подвигах мистера Линдона "Записки" его, как правило, умалчивают. Очевидно, в обоих случаях он действовал по праву сильного. (Прим. издателя.)